

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ПУШКИН

29 января 1837 г.
10 февраля 1937 г.

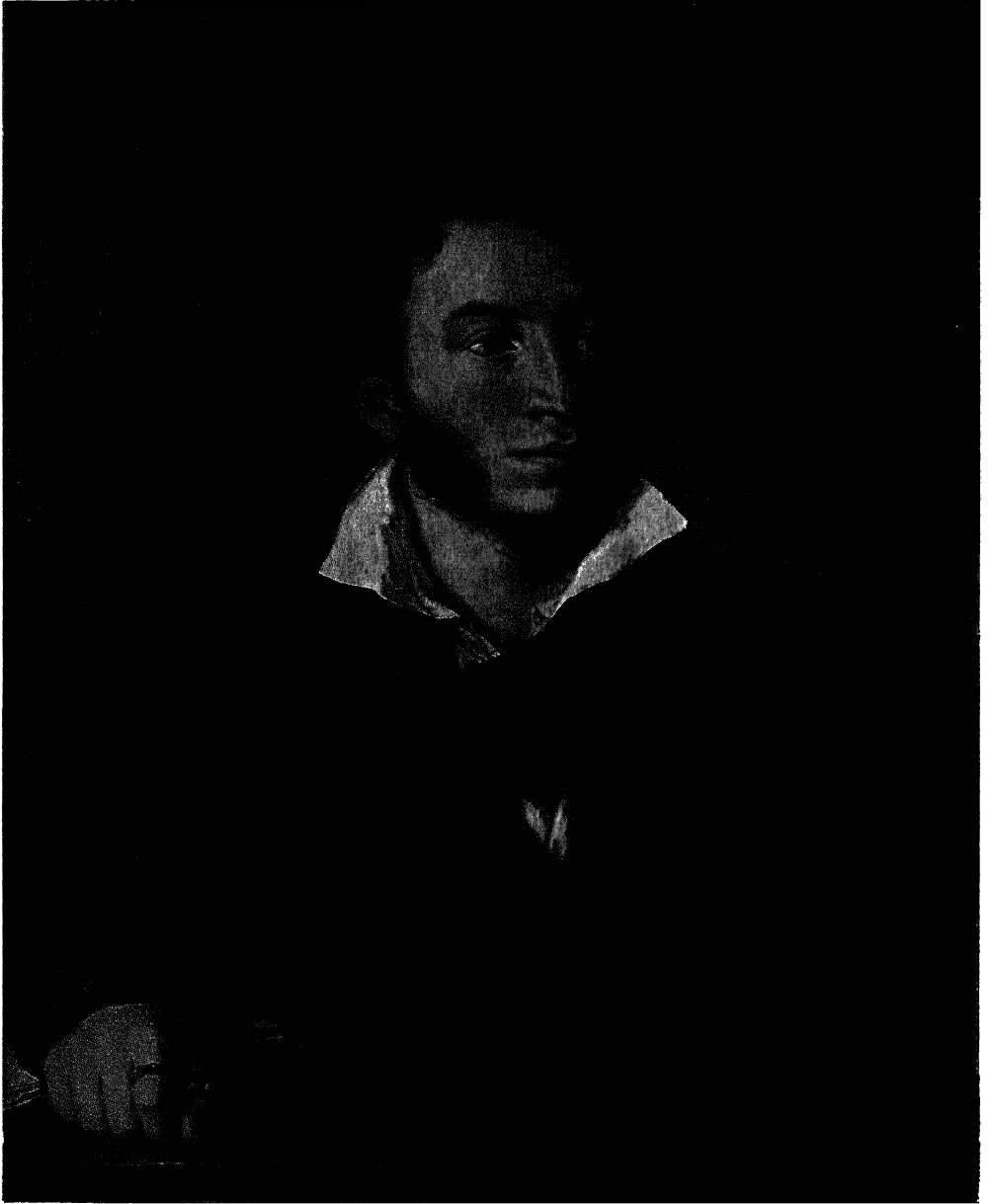
**ВЕСТНИК
АКАДЕМИИ НАУК
СССР**



1 8 3 7 - 1 9 3 7

2-3

**ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1937**



1. Character and conduct of the

Christian, as regards conduct of life

Domestic duties and relations
with family and society

Religion and its history — ^{its origin} its development
and its influence on the world of thought

The character of the good and the bad

Intellectual and moral progress

Character of the good and the bad

The character of the good and the bad

The character of the good and the bad

My religion and ^{its} ~~its~~ origin and history

The character of the good and the bad
The character of the good and the bad

The character of the good and the bad

The character of the good and the bad

The character of the good and the bad

The character of the good and the bad

The character of the good and the bad

The character of the good and the bad

1846

Apr. 21.

Rev. Mr. ...

В Е С Т Н И К АКАДЕМИИ НАУК СССР

Г О Д И З Д А Н И Я С Е Д Ь М О Й
1 9 3 7

№ 2-3

А. С. Бубнов

ГИГАНТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ¹

Сто лет тому назад наша страна, только-что вступившая на путь национального развития русская литература понесли утрату, тяжесть и трагизм которой в полной мере можем оценить только мы, люди сталинской эпохи, строители социалистического общества, рабочие, колхозники и трудовая интеллигенция великой страны победившего социализма.

Сто лет тому назад под Петербургом, в местности, называемой Черная речка, был убит на дуэли великий русский поэт, родоначальник новой русской литературы и создатель русского литературного языка Александр Сергеевич Пушкин.

Дворянин по происхождению, литератор по профессии, поэт по своему основному призванию и деятельности, Пушкин был одним из величайших деятелей своей эпохи, передовым мыслителем своего времени, гениальным преобразователем русской литературы и великим художником слова.

Его произведения обладают такой исключительной силой художественной выразительности, глубиной ума и чувства, что они по достоинству и всеобщему признанию могут быть названы бессмертными. Они живут и будут жить в веках в силу прежде всего того, что их блестящая художественная оправа наполнена высоким чувством гуманности, могучего утверждения жизни, непреклонным и ни-

¹ Речь на Торжественном Пушкинском заседании в Большом театре СССР 10 февраля 1937 г. («Известия ЦИК и ВЦИК» 11/II—1937 г.).

когда не угасающим оптимизмом, столь близким, столь родным и столь глубоко ценимым миллионами народных масс, поднявшихся на великую борьбу за освобождение человечества.

Непреложность этого факта со всей очевидностью обнаружилась уже в тех откликах, которые вызвала смерть великого народного поэта даже в те, ныне так бесконечно далеко от нас отстоящие темные годы николаевского самодержавно-крепостнического режима. Все передовое, все сохранившее в себе хотя бы искру протеста и даже просто человеческого достоинства при первой же весте о тяжелом ранении поэта поднялось с такой силой, что, казалось бы, всесильная николаевская власть и жандармерия забились в жалком перепуге и не нашли ничего более разумного, как с трусливой поспешностью под охраной войск и жандармов умчаты тело поэта — гордость, славу и честь страны — из столицы в глухую деревню.

В атмосфере этого возмущения другой великий поэт, продолжатель пушкинских традиций, через несколько лет уничтоженный деспотизмом, — Михаил Юрьевич Лермонтов бросил в лицо николаевскому дворянско-помещичьему самовластию обличительное стихотворение, собравшее в себе весь гнев, горечь, скорбь и возмущение подлым убийством «дивного гения» русской поэзии, совершенного по воле правящей клики.

Пушкин был человеком той исторической эпохи, которая брала свое начало с французской буржуазно-демократической революции конца XVIII века. Пушкин стоял на почве передовых философских и политических идей европейского просвещения XVIII столетия.

Белинский, заканчивая свои статьи 1844 года о «сочинениях Александра Пушкина», подчеркивал, что «к особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека, как человека».

Во всем этом Пушкин был глашатаем нового не только в первый период своей жизни, до дворянско-буржуазного восстания 14 декабря 1825 года, но и после него, в самую мрачную пору в истории царизма — в николаевское время.

Пришла пора, когда надо отмести реакционную легенду о том, что после разгрома восстания декабристов Пушкин пошел на полное примирение с николаевским правительством и чуть ли не сделался сторонником дворянского самодержавия.

Пушкин был политическим поэтом, творцом блестящих эпитграмм, которыми он беспощадно разил самовластных правителей, ханжей в поповских рясах, аристократическую чернь, сياتهьных мракобе-

сов, холопов и невежд всех мастей, он был другом декабристов. Политической заслугой Пушкина было то, что в период тяжелой реакции он сохранил основное в своих взглядах, сумел с промадным тактом и политическим достоинством вести себя на протяжении всех этих лет, до конца остался верен своей дружбе с декабристами, что он не без чувства законной гордости и сказал нам в словах, что «в мой жестокий век восславил я свободу».

В 1827 году Пушкин пишет послание к декабристам в Сибирь — «во глубине сибирских руд храните гордое терпенье», в том же году в стихотворении «Арион» он снова возвращается мысленно к своим друзьям-декабристам — «нас было много на челне», «погиб и кормщик, и пловец», а о себе замечает: «я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою».

В 1828 году над головой Пушкина собираются тучи: «снова тучи надо мною собралися в тишине», пишет он в стихотворении «Предчувствие». И здесь же перед лицом надвигающейся «беды» он восклицает: «Понесу-ль навстречу ей непреклонность и терпенье гордой юности моей?»

В 1830 году он пишет сожженную им десятую главу «Евгения Онегина», которого Белинский называл «Энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением». В этой десятой главе он набрасывает злую карикатуру на царя Александра I, вспоминает европейские революционные события 20-х годов — «Тряслися грозно Пиренеи, вулкан Неаполя пылал...» и снова обращается мыслью своей к декабристам. В 1830—31 году среди других повестей он набрасывает «Историю села Горюхина», при чтении которой невольно вспоминается «История одного города» великого сатирика и замечательного революционного писателя — М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В эти же примерно годы Пушкин подсказывает Гоголю темы и сюжеты его произведений: «Ревизора» и «Мертвых душ».

В эти же годы интерес Пушкина обращается к народным восстаниям, связанным с именами Степана Разина и Емельяна Пугачева.

В 1833 году он едет в Оренбург и в другие районы пугачевского крестьянского восстания, изучает на месте это народное движение. В 1834 году выходит «История Пугачева». В предисловии Пушкин пишет: «будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно, несовершенный, но добросовестный», а в «общих замечаниях» записывает: «весь черный народ был за Пугачева», «одно дворянство было открытым образом на стороне правительства».

В 1836 году Пушкин пишет свое замечательное стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

В письме к своему другу Чаадаеву, относящемся к 19 октября этого же года, он с негодованием пишет об условиях николаевского режима, «в котором общественного мнения не существует, где все равнодушны к понятиям о долге, справедливости, правде, где цинически презирают мысль и человеческое достоинство». И после этого могут находиться люди, которые осмеливаются утверждать, что в николаевское время Пушкин переменял фронт своих убеждений!

В день столетия со дня смерти поэта надо особо подчеркнуть, что он был глашатаем нового в эпоху крепостничества. И, будучи таким, он должен был поднять и поднял свой страстный голос политического протеста против «барства дикого», против мракобесия, против издевательств над человеческой личностью и всех гнусностей николаевского правления. И погиб в этой борьбе.

История его жизни — это история непрерывных гонений, травли и издевательств.

«Его травил Булгарин, — писал в свое время А. М. Горький, — искажала цензура, Бенкендорф преследовал выговорами... Наконец, против него была пущена в ход клевета и — вскоре его застрелили».

Тридцатые годы Герцен называл одной «из самых темных эпох», указывая, что «на поверхности официальной России... виднелись только одни потери, свирепая реакция, бесчеловечные преследования...».

В такой обстановке должен был жить и работать Пушкин. Бичуя, проклиная и клеймя это рабское время, Герцен писал: «одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос отдаленному будущему».

Но нечего говорить, что Пушкин был бессилён разорвать те тиски ненависти и лютой злобы, которые окружали, сжимали и душили его.

Судьбу Пушкина разделял целый ряд лучших людей его поколения. Недаром Герцен говорил, что история литературы того проклятого времени — это «...или мартиролог или регистр каторги».

«Бездонная пропасть, — восклицал он, — где гибнут лучшие пловцы, где величайшие напряжения, величайшие таланты, величайшие способности поглощаются раньше, чем получить в чем-либо успех».

Гибель великого гуманиста Пушкина в условиях средневекового деспотизма николаевского времени есть не только позорное клеймо на этом социально-политическом укладе, являющемся далеким прош-

лым для нашей страны, но эта трагическая дата обладает значительной долей злободневности. Наша мысль от могилы поэта, загубленного режимом средневековой империи, обращается к тем, кто ныне в варварских условиях фашизма переносит тяжчайшие гонения и издевательства и где не только «история литературы», но и любая отрасль культурной деятельности превратилась, по меткому выражению русского революционного публициста, «в мартиролог или регистр каторги». Капиталистическое рабство в отвратительном обличи фашизма в бессильной злобе топчет демократию и культуру, уничтожает все, чему отдали свою мысль и таланты лучшие умы человечества, пускает в ход ради достижения своих преступных целей самые варварские способы борьбы и истребления, не брезгуя услугами самых низких и развращенных подонков общества.

Пушкин был великим борцом на поприще литературы и критики.

Здесь в полной мере и в самой блестящей форме нашли свое выражение его могучий темперамент и гениальные творческие силы.

Свой славный путь развития к реализму он проделал в непрерывных боях, умея всегда занимать в борьбе именно те позиции, которые являлись отправными точками для дальнейшего подъема русской литературы.

Пушкин в этой области работал с особенной напряженностью, он обличал, учил и наставлял. Мы чтим его как родоначальника новой русской литературы и основоположника реализма.

Попытки изобразить дело литературного развития Пушкина так, что он якобы в последний период своей жизни встал на позиции так называемого «чистого» искусства, должны быть отнесены к той же категории либерально-обывательских вымыслов, которые должны быть отброшены, как совершенно несостоятельные.

Громадная преобразовательная работа Пушкина в области литературного языка общеизвестна.

Пушкин был вождем современной ему литературы, которую он сам создал и за развитие которой он боролся с присущей ему громадной силой.

Величайшая ответственность, которую он нес за литературу и за литературный язык, выражена им в следующем изречении: «только революционная голова, подобная М. Орлову и Пестелю, может любить Россию — так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке».

Пушкин величием и силой своего гения поднял русскую литературу на громадную высоту. Литературоведы, анализируя художественное наследство Пушкина, приходят к выводу, что в нем, как в ги-

гантском фокусе, собраны и из него исходят наиболее выдающиеся реалистические направления, связанные с величайшими именами нашей замечательной литературы.

Его реализм в области художественной литературы своими корнями уходил в основные принципы его мировоззрения, в котором имелись налицо материалистические тенденции, атеизм и та сумма идей, которые называются просветительной философией. Это была гигантская фигура.

Вокруг этого великого имени велась и до сих пор ведется ожесточенная литературно-политическая борьба.

Реакционер Катков писал в июне 1880 года, что Пушкин «принадлежал к русской партии». Об этом омерзительном деле не было бы никакой надобности говорить, если бы это глумление над великим поэтом не принимало в царской России довольно-таки широких размеров.

Это же по сути дела провозгласил на пушкинском юбилее в 1880 году и писатель Достоевский при поощрении мракобеса К. Победоносцева и реакционера А. Суворина.

Говоря о произведениях Пушкина, Достоевский в этой своей речи особо подчеркнул: «Тут уже подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду».

В письме к Победоносцеву (19 мая 1880 года) Достоевский писал: «Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих (наших, то-есть, осмелюсь так выразиться) убеждений...»

Когда А. Суворин приветствовал Достоевского за произнесенную им речь, то последний ответил: «А, каково? Наша взяла!»

Победоносцев писал, что Достоевскому удалось «отодвинуть назад безумную волну, которая готовилась захлестнуть памятник Пушкина», добавляя к этому — «радуюсь за вас и особенно за правое дело, которое вы выручили».

На этом же собрании с программной речью выступал И. С. Тургенев, истолковавший Пушкина в духе либерального направления.

Знаменательно то, что к толкованию Пушкина по образу и подобию Достоевского присоединились и либералы в тот период, когда они после революции 1905 года скатились к «вехам», о которых Ленин в свое время писал, что «Позорно-знаменитая книга «Вехи»,

имевшая громадный успех среди либерально-буржуазного общества, насквозь пропитанного ренегатскими стремлениями...»

Веховец Гершензон писал так: «Смиряться перед совершенством, созерцая его бескорыстно; тогда, бездействием умиления, ты хоть мимолетно вступаешь в покой совершенства. Пушкин трогательно любил это чувство, лелеял его в себе и с любовью изображал в других».

И далее, он договаривается до прямого глумления над Пушкиным, утверждая не более, не менее, что Пушкин «ненавидит просвещение и науку». Здесь уже либералы не только, как говорил Ленин, «применялись к подлости», но они «построили свою теорию подлости».

Тогда уже со всей силой своего мужественного таланта выступил революционный разночинец Г. И. Успенский, написавший в «Отечественных записках»: «Дело в том, что г. Достоевский к всевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества ухитрился присовокупить великое множество уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства... Такие заячьи прыжки дают автору возможность превратить мало-по-малу все свое «фантастическое делание» в самую ординарную проповедь полнейшего омертвения».

Либералы проповедывали, что Пушкин пошел на примирение с самодержавием, что он встал на позиции «чистого» искусства, подкрашивали его под свою собственную «заячью» породу.

Петушком попевали за ними и их подголоски из лагеря оппортунистов всех разновидностей, которые с оговорочками, но на деле скатывались к тем же либеральным истолковываниям Пушкина.

Около этих основных политических лагерей копошились декаденты разных толков, которые выискивали мистические начала в поэзии Пушкина и приписывали ему свое собственное упадочничество.

За Пушкина стояли революционные демократы во главе с Добролюбовым и Чернышевским. И это более чем понятно. Пушкин стоит на той магистрали умственного развития нашей страны, которая обозначена такими именами, как Радищев, декабристы, Белинский, Герцен...

С громадной любовью относился к Пушкину великий писатель рабочего класса А. М. Горький.

В 1907 году он писал, что «Пушкин для русской литературы такая же величина, как Леонардо для европейского искусства».

А в 1930 году в статье «О литературе» Горький писал: «Умники могут сказать, что старая литература «объединяет весь культурный мир», и сошлутся на влияние Достоевского, все более растущее в Европе. Я предпочел бы, чтоб «культурный мир» объединялся не

Достоевским, а Пушкиным, ибо колоссальный и универсальный талант Пушкина — талант психически здоровый и оздоравливающий».

Только великая страна победившего социализма по достоинству может оценить великого поэта А. С. Пушкина и воздать ему по его великой славе и гению.

Он принадлежит тем, кто борется, работает, строит и побеждает под великим знаменем Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. Он принадлежит тем, кто в жестоких битвах под руководством великих вождей Ленина и Сталина отстоял страну от буржуазно-помещичьей интервенции в годы гражданской войны, тому, кто вырвал страну из тисков послевоенной разрухи, кто поднял ее на громадную высоту страны победившего социализма, великой и несокрушимой дружбы народов, ее населяющих, кто могучей поступью ведет ее под непобедимым знаменем Ленина—Сталина к коммунизму.

Пушкин принадлежит народам Союза Советских Социалистических Республик. Пушкин — великий национальный поэт. И силой своего могучего гения он поднялся на такую высоту, что народы всего мира чтут его как великого интернационального поэта.

В торжественный день столетнего юбилея народные массы Союза Советских Социалистических Республик встречают своего великого поэта с чувством любви и гордости.

Откликов на юбилей сотни, тысячи, миллионы. Великий народ идет навстречу Пушкину.

«Произведения Александра Сергеевича Пушкина — неиссякаемый источник бодрости и мысли», — пишет мастер инструментального цеха завода «Динамо» имени Кирова. — «Он умел выражать в нескольких словах целые события», — отмечает ленинградский строительный рабочий.

«Он всегда говорил правду, не считаясь с лицами», — говорит одно из многочисленных писем с московских заводов.

«Писал он понятно для простого народа и открывал глаза на рабочее положение», — пишет колхозник из Мервского колхоза имени Молотова.

«Когда слушаешь сочинения Пушкина, то в душе у тебя такое настроение, как будто дожидаясь какого-то важного гостя или счастья», — пишет колхозник из Красноярского края.

«Проза Пушкина производит на меня впечатление монументально-чеканной работы», — говорит в своем письме скульптор из Крыма.

«Его гибель, — говорится в одном из писем из Киева, — я всегда переживал как личную обиду, как личное дело».

«Овеянные морозами, — пишет участник гражданской войны, —



Цензурные купюры на портрете Пушкина, напечатанном через несколько дней после смерти поэта

таежными ветрами и порохом, сибирские партизаны учились по Пушкину понимать подлинную красоту мира и жизни, любить жизнь и людей».

«Мы обращаемся к Пушкину тем чаще, — пишет красноармеец из Калинин, — чем счастливее становится наша жизнь».

«Изучая творчество Пушкина, лучше понимаешь и больше ценишь настоящее и представляешь себе нашу еще более радостную жизнь, к которой нас ведет большевистская партия и ее вождь, любимый друг и учитель товарищ Сталин», — пишет слесарь-механик из Витебска.

«Книги Пушкина, — пишет колхозница из Азово-Черноморского края, — научили нас, молодых колхозниц, еще горячее любить настоящее, которое завоевано кровью отцов, братьев, сестер, подруг. Завоевано право на прекрасную человеческую жизнь... Книги Пушкина накаляют любовь к родине, к великому Сталину».

Празднование столетнего пушкинского юбилея превратилось в громадное всенародное движение.

Правительство и партия проводят целую программу мероприятий, связанных с этой великой датой.

Размах пушкинских торжеств — показатель гигантского расцвета советской культуры, которая растет и мужает в эпоху великой Сталинской Конституции.

Мы умножим наши победы. Под руководством великого Сталина Союз Советских Социалистических Республик непоколебимо идет к коммунизму. (Бурные аплодисменты).

И. К. Луппол

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО А. С. ПУШКИНА ¹

С волнением необычайным выхожу я на эту торжественную трибуну. Говорить о Пушкине, о родном и близком для всех нас, стихи которого с детства запечатлелись в нашей памяти, — задача труднейшая, но и радостная. Говорить о Пушкине после Гоголя и Белинского, после Герцена и Чернышевского — задача тяжелейшая и вместе с тем безотлагательная.

Пушкин создал русский литературный язык, Пушкин был родоначальником новой русской литературы, Пушкин обогатил человечество бессмертными произведениями художественного слова. Это так! И это знали уже и великий сатирик Гоголь, и «неистовый Виссарион». Но мы не просто повторяем эти слова, мы вкладываем в них новое, более богатое содержание, ибо новое и более богатое содержание вложила в них история. Мы собрались сегодня, в день столетия гибели Пушкина, и мы собрались в год Сталинской Конституции Союза Советских Социалистических Республик. Созданный Пушкиным русский литературный язык в процессе Октябрьской социалистической революции стал близким, общепринятым у всех народов Советского Союза. Новая русская литература, родоначальником которой был Пушкин, стала советской литературой.

Обогащение человечества бессмертными пушкинскими произведениями приняло поистине грандиозный размах.

Мы собрались сегодня, чтобы отметить сотую годовщину смерти Пушкина. Почему же нам так радостно? Пушкинское торжество есть торжество ленинско-сталинской национальной политики, ибо Сталин, Сталинская Конституция вернули Пушкина его народу, его народам, о которых он так душевно говорил в «Памятнике».

Детство и юность Пушкина проходили в то время, когда

Метались смущенные народы;

И высились и падали цари;

¹ Доклад на Торжественном Пушкинском заседании в Большом Театре СССР 10 февраля 1937 г. («Правда» 11/II—1937 г.).

И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари,

то есть когда отгремели уже громы Французской буржуазной революции и Наполеон, «мятежной Вольности наследник», со своими армиями чистил «авгиевы конюшни» феодальной Германии.

Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,

И самовластие лишь север укрывал.

Самодержавно-крепостническая Россия стала оплотом европейской феодальной коалиции. Либеральные обещания начала царствования Александра I вылились в усиление крепостнического гнета. В стране вспыхивали крестьянские восстания. Среди армейского дворянства родилось революционное движение, которое привело к декабрьскому восстанию 1825 г.

Первые жизненные впечатления детства Пушкина составили, однако, не эти политические события (их восприятие пришло позже, в лице), а сказки няни Арины Родионовны и французские книги из библиотеки отца. Пушкин-ребенок пристрастился к галантной лирике французов: Парни, Грекура, Грессе, «Ванюши Лафонтена».

Немудрено, что ученические годы Пушкина-лицейста стали и ученическими годами Пушкина-поэта. Французская книжная литература на первых порах даже как будто одержала верх над сказками няни, — она была более созвучна миру отроческих восприятий и чувствований.

Любовь, дружба, вино — вместилище счастья — таковы мотивы первых лицейских опытов Пушкина.

Чуть позже вливается в ученическое творчество Пушкина новая, модная романтическая струя «унылых элегий».

Но неправильно было бы думать, что только этими мотивами исчерпывается ранняя муза Пушкина. Ведь и Ленский

...из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты.

Идеи Французской революции 1789 года, идеи революционной по тому времени буржуазии выражались в определенных философских и поэтических понятиях и образах. Так, борьба против тирании и фанатизма, против рабства и предрассудков означала борьбу против

абсолютистско-феодалного строя и религиозно-церковной идеологии. На их место хотели поставить свободу, равенство, законы, обосновывая их естественным правом, как высшим законом. В истории искали идеальные образцы и находили их в естественном состоянии первобытного человека и в республиканском Риме.

И вот у 16-летнего Пушкина уже встречаются такие мотивы:

Я рабство ненавижу...

Свободой Рим возрос, а рабством погублен.

Эти ранние мотивы гражданской лирики укреплялись у Пушкина в общении с Чаадаевым, и накануне окончания лицея у него уже была налицо сильнейшая оппозиция самодержавно-крепостническому строю. Он не хотел быть ни писарем, ни уланом, ни капитаном, ни ассессором, —

Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак.

Высокого, прямо революционного звучания эти мотивы достигают у Пушкина в оде «Вольность», написанной под впечатлением «Вольности» Радищева. Здесь налицо все поэтические элементы революционной традиции естественного права. Пушкин — против союза тирании и фанатизма («Власть в сгущенной мгле предрассуждений»), против рабства («езде бичи, везде железы, законов гибельный позор»). Пушкин требует свободы и законов («с Вольностью Святой законов мощных сочетанье») и обосновывает все это естественным правом:

Владыки! Вам венец и трон
Дает Закон — а не природа —
Стоите выше вы Народа,
Но вечный выше вас Закон.

Такого политического жанра русская литература еще не знала, а между тем он составлял у Пушкина нерв его поэтического творчества.

В один и тот же 1817 год Пушкин создает задушевно-лирическое, уже по-настоящему пушкинское — «Простите, верные дубравы» и революционную оду «Вольность». В одно и то же время Пушкин пишет скорбно-гневную «Деревню» и увлекательного «Руслана», в котором еще неуверенно поэтически прощупывает

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой

и вполне уверенно рвет со старой поэтической традицией.



Гравюра В. Фаворского, 1935 г. А. С. Пушкин.

Ясно, что против Пушкина выступили не только литературные шишковисты, но и далеко нелитературные жандармы, и в 1820 году Пушкин — это общеизвестно — оказался в ссылке на юге. Ссылка не сломила духа Пушкина. В эти годы он создает «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», начинает «Евгения Онегина», замышляет «Цыган». Его яacobинские настроения в эти годы не подлежат сомнению.

Но нет, мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся, —

пишет он В. Л. Давыдову. Именно потому, что вольнолюбивые желанья лишь крепили у Пушкина в южной ссылке, она оказалась в глазах правительственных кругов недостаточной, и уже в 1824 году поэт пишет Языкову:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнании,
Влачу закованные дни.

В селе Михайловском Пушкин создает свой шедевр — «Бориса Годунова», переходя, таким образом, от Байрона к системе «отца нашего Шекспира», что было естественным и закономерным этапом в творческом развитии Пушкина, подсказанным всеми его предшествовавшими творческими исканиями.

После поражения декабрьского восстания 1825 года Пушкин, отправленный с фельдъегерем в Москву, едет договариваться и улаживать с Николаем I относительно дальнейшего своего бытия. Но силы неравны — и поэт вынужден к уступкам, однако, отнюдь не к принципиальным.

«Стансы» 1827 года — не капитуляция, а условия, которые ставит Пушкин Николаю. Он выдвигает широкую программу: искренность правительственной политики, служение народной правде, развитие наук, просвещения, промышленности, возвращение декабристов. Одновременно Пушкин направляет декабристам, чтобы поддержать их дух, свое знаменитое стихотворение «В Сибирь». К тому же 1827 году относится и «Арион», в котором Пушкин осмысливает свою политическую судьбу и подчеркивает верность своим взглядам:



Рисунок Пушкина. Вольтер.

Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Нужно понять, что Пушкин в эти годы больше, чем когда-либо, был в плену, в когтях у царя, что в 1827 году против него было возбуждено дело в связи с отрывком из «Андрея Шенье», что в 1829 г. было поднято еще одно дело в связи с «Гавриилиадой», и тогда станет ясно душевное состояние Пушкина, вылившееся в такой шедевр, как «Бесы», — это образное и вдохновенное раскрытие темных сил николаевской России. Гнет самодержавия усугубился травлей литературных мещан — Булгарина, Греча и им подобных царских угодников и холопов. И вот могучий «Пророк» 1826 г. — пушкинский идеал поэта — с вещими зеницами, чтобы видеть людскую скверну, с жалом мудрой змеи, чтобы глаголом жечь сердца людей, через «Поэта» 1827 г., который «людской чуждается молвы», сменяется «Поэтом» 1830 г., не требующим награды за подвиг благородный и идущим дорогою свободной, куда влечет его свободный ум.

А свободный ум Пушкина влек его к художественному познанию глубин сердец и страстей человеческих, к образному выявлению вольнолюбивой народной души русской. В эти годы (1830—1835) Пушкин заканчивает бессмертного «Евгения Онегина», создает «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя», «Пир во время чумы». И в эти же годы Пушкин дает потомству «Повести Белкина», «Историю села Горюхина», цикл сказок с весьма недвусмысленным отношением к попам и царям. Проблема путей и судеб человеческих, народных, государственных поднимается на поистине недостижимую высоту в «Медном всаднике», и «Ужо тебе!» Евгения, брошенное им в лицо кумиру на бронзовом коне, звучит как объявление прав личности, как заявление о достоинстве индивида.

Нет, конечно, Пушкин был неудобен самодержавно-крепостническому режиму в целом, и было решено убрать его. И вот нашлись доброхотные инквизиторы, учинившие Пушкинцу невыносимые пытки, нашлись утонченные приемы великосветской облавы и травли, нашелся международный проходимец, — и не стало Пушкина, величайшего русского поэта.

Царизм мог физически убить Пушкина, но не был в состоянии лишнить народ пушкинского языка и пушкинской литературы, ибо пушкинский язык стал русским литературным языком и пушкинская литература — новой русской литературой.

Язык — существенное начало каждого народа, ибо без языка нет и народа, но язык — историческое явление, он изменяется во времени. Ко времени Пушкина уже чувствовалось несоответствие русского языка «образу мыслей и чувствований» русского же народа. Пушкин считал создание литературного языка важнейшим политическим делом: «только революционная голова, — писал он в 1822 году, — подобная... Пестелю, может любить Россию — так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке». Ломоносов уже сделал свое дело — «основал словесность своего отечества», но ко времени Пушкина ломоносовский язык явно устарел.

Нам трудно сейчас оценить все дело Пушкина, потому что он создал не новый язык для литературы, а новый русский литературный язык, наш язык, на котором мы говорим. Этот язык был создан Пушкиным единственно правильным и простым путем: при опоре на исторические формы языка в древних памятниках народной словесности и на живую, разговорную народную речь. Однако, по мысли Пушкина, литературный язык не должен полностью совпадать с языком разговорным. У самого Пушкина налицо и специфические литературные обороты, и простые общежитийские слова, и старописьменные элементы, но все это сливается в единый, чарующий слух, одновременно пластический и музыкальный язык Пушкина. Это очарование слияния разнородных языковых элементов и составляет тайну поэтической формы Пушкина.

Один язык еще не составляет литературу, слово само по себе мертво, жизнь ему дает мысль. Слово поэта, так сказать, не должно быть умнее, красивее заложенной в нем мысли. Отсюда требования Пушкина, которые привели его к реализму, к новой русской литературе. «Точность и краткость, — писал он, — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат». Пушкин был за просторечие, но отнюдь не за простомыслие.

Ясно, что при таких установках Пушкин не мог остановиться ни на классицизме, ни на романтизме.

Решительно нужно было искать для русской литературы иных, новых путей. «Утомленный вкус, — писал Пушкин в предисловии к «Борису Годунову», — требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой, народной поэзии». Истина искусства, таким образом, по Пушкину — не в условной схеме классицизма и не в преувеличенной односторонности романтизма, а в правдоподобию, «в истине страстей, правдоподобию чувств-

вований, в предполагаемых обстоятельствах», в «правдоподобии характеров и положений». Все эти черты и характеризуют его собственное творчество, да и как же иначе, когда целью трагедии, идеей высокого искусства должны быть по Пушкину «Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная». Художественному раскрытию этих идей служит и «Борис Годунов», и «Евгений Онегин», и «Дубровский», и «Медный всадник», и «Пророк», и «Памятник». Так пушкинский реализм положил начало новой русской литературе.

И если Пушкин впитал в себя и русскую народную словесность, и достижения мировой литературы, то он и оказался тем могучим древом русской литературы, на котором выросли Лермонтов и Гоголь, Некрасов и Щедрин, Толстой и Достоевский, Чехов и Горький, ибо Пушкин первый дал нам художественную энциклопедию русской жизни.

И если раньше загнанный на задворки культурной жизни, лишенный средств просвещения народ был отторгнут от своего поэта, то ныне, в эпоху Сталинской Конституции, он навсегда обрел своего певца.

В этот торжественный час нет ни одного завода, ни одного колхоза, ни одной красноармейской части, ни одной школы, где бы не звучало слово Пушкина и не отдавалось могучим эхом в наших сердцах.

Душа Пушкина в заветной лире пережила его прах и убежала тленья, ибо была народной душой, и к нерукотворному памятнику Пушкина нас привела народная тропа социализма.

Гордости человека, познанию им своего достоинства учил нас на заре нашей литературы великий Пушкин.

Чести, доблести, славе и героизму социалистического труда, в котором вся наша человеческая гордость и все наше человеческое достоинство, научил нас товарищ Сталин. (Продолжительные аплодисменты).

В. Я. Кирпотин

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПУШКИНА¹

Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина относятся к первой трети XIX столетия. Это было время, когда в главнейших странах Европы в сложном переплете исторических событий капитализм и его идеология восторжествовали над феодализмом и наиболее острыми проявлениями средневековой идеологии. В России же только начинали складываться силы, которые вели борьбу с самодержавием и крепостничеством.

Деятельность Пушкина относится к периоду, озаменованному деятельностью дворянских революционеров-декабристов. Как и декабристы, как и Герцен, как впоследствии в 60-е годы демократы-разночинцы, Пушкин, выражая зреющие потребности народного развития, много брал из передовой идеологии Запада, ушедшего тогда вперед по сравнению с Россией. В России началась критика самодержавно-крепостнического режима. Эта критика облегчалась влиянием передовых мыслителей западно-европейского просвещения. Пушкин, с детства владевший французским языком, жадно зачитывается произведениями мыслителей, подготовившими идеологическое вооружение французской революции конца XVIII в. На него оказывают влияние и философы и писатели просвещения.

В смысле и значении жадно впитываемой им идеологии Пушкин отдавал себе полный отчет. «Между тем дух исследования и порицания, — писал Пушкин в статье, озаглавленной «О русской литературе с очерком французской», — начинал проявляться во Франции. Философия XVIII в. «была направлена против господствующей религии... и любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная... Влияние Вольтера было неимоверно. Около великана копошились пигмеи, стараясь привлечь его внимание своими приношениями. Умы возвышенные следуют за

¹ Доклад на Торжественной Пушкинской сессии Академии Наук СССР 13 февраля 1937 г.

ним. Задумчивый Руссо провозглашает себя его учеником; пылкий Дидерот есть самый ревностный из его апостолов. Англия в лице Юма, Гиббона и Вальпола приветствует энциклопедию, Екатерина вступает с ним в дружескую переписку, Фридрих с ним ссорится и мирится; общество ему покорно. Европа едет в Ферней на поклонение. Наконец, Вольтер умирает, с восторгом благословляя внука Франклина и приветствуя новый свет словами, дотоле несслыханными.

Общество созрело для великого разрушения. Все еще спокойно, но уже голос молодого Мирабо, подобно отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается...

Смерть Вольтера не останавливает потока. Бомарше влечет на сцену, раздевает донага и терзает все, что еще почитается неприкосновенным.

Европа, оглушенная, очарованная славою французских писателей, преклоняет к ним подобострастное внимание. Германские профессора с высоты кафедры провозглашают правила французской критики. Англия следует за Франциею на поприще философии...» («Пушкин-критик», стр. 336).

Пушкин усвоил освободительный пафос просвещения XVIII в. Для него философия не была отвлеченной доктриной. Как и для великих мыслителей XVII и XVIII вв., философия для него была тесным образом связана с нравственностью и политикой. Она должна была помочь перестроить и общественную жизнь и быт на новых свободных началах.

Вот почему поэзия Пушкина всегда играла освободительную роль. Философия была для Пушкина не отвлеченным делом замкнутой школы, а живым интересом жизни, политики и литературы. Оттого-то мировоззрение Пушкина, передовое и глубокомысленное, так непринужденно и естественно наполняет атмосферу его стихов и его прозы. Пушкин никогда не упражнялся в дидактической и образовательной поэзии. Но дух просвещения в его творчестве выражен полнее и глубже, чем во многих и многих тяжеловесных трактатах.

С легкостью и изящностью гения, овладевшего предметом, он дает стихотворную формулировку теории познания века, уверенного во всемогуществе разума:

Как эта лампада бледнеет
 Пред ясным восходом зари,
 Так ложная мудрость мерцает и тлеет
 Пред солнцем бессмертным ума.
 Да здравствует солнце, да скроется тьма!



Рисунок Пушкина, 1826 г. Пестель.

Начиная с Декарта и Спинозы, рационалистическая философия восходящей буржуазии верит в аподиктичность истины, верит, что истинное познание одной силой своей наглядной достоверности и убедительности побеждает невежество, заблуждение, незнание. Всю суть долгого философского пути, прокладывавшегося в боях с церковью и с суеверием, Пушкин выразил в пяти стройных строках, причем так выразил, что ни один мыслитель не мог бы к ним придраться с точки зрения философской точности и последовательности того времени.

Как у всех рационалистов материалистического направления, вера во всемогущество разума соединяется у Пушкина с признанием силы опыта, индуктивно исследующего многообразие земного шара.

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт...

— писал он в одном незаконченном отрывке.

Для Пушкина мир был принципиально познаваем, ясен и открыт для ищущего, исследующего разума. Он знал, что на земле еще много непознанного, неоткрытого — но он также твердо знал, что в мире нет мистической изнанки, где копошатся какие-то будто бы таинственные силы, стоящие вне постижения человеческого разума. Внутреннее обнаруживается во внешнем, бога нет, мир материален и управляется не божьим произволом, а естественными законами. Пушкин высмеивает и преследует религиозное представление о мире.

Пушкину многое не нравилось в окружающем мире, но его мечты и желания сосредоточивались здесь, на земле, а не в мистических обетованиях церкви или идеалистической философии.

Когда Пушкин в порыве страсти обращается к усопшей возлюбленной, он обнаруживает материалистическую человечность[?] своих чувств. Он не стремится к усопшей тени, а, наоборот, он хотел бы умершую вновь вернуть к себе, в реальный мир:

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но тоскуя

Хочу сказать, что все люблю я,
 Что все я твой: сюда, сюда!

(«Заклинание»).

В смелых стихах «Гаврилиады» Пушкин превращает евангелие и христианство в смешное и глупое суеверие, достойное только осмеяния перед лицом разума. Рационалистическая смелость мыслителя, соединенная с вольностью эротической поэзии, пародийная торжественность в сочетании с реалистической трезвостью дают поразительный по силе эффект. Вот изображение обуреваемого земной любовью Саваофа:

И ты, господь! познал ее волнение,
 И ты пылал, о боже, как и мы,
 Создателю постыло все творенье,
 Наскучило небесное моление, —
 Он сочинял любовные псалмы
 И громко пел: «Люблю, люблю Марию,
 В унынии бессмертие влачу....
 Где крылья? К Марии полечу
 И на груди красавицы почую!...»
 И прочее... все, что придумать мог.
 Творец любил восточный пестрый слог.

И с пушкинской экономностью и ясностью, без назойливого подчеркивания, как бы мимоходом, поэма внедряет в сознание читателя свою основную мысль — результат долгой борьбы научного материалистического взгляда на мир с тысячелетиями религиозного суеверия. Влюбленный бог, вседержитель мира, забросил все дела:

Весь мир забыл, не правил он ничем —
 И без него все шло своим порядком.

Бог, религиозно-идеалистические взгляды о провидении, о промысле божием и т. д. — все это только невежественный и реакционный вымысел. Мир на деле идет своим порядком по законам природы, не имеющим ничего общего с религией.

Материалистические начала в мировоззрении Пушкина не были привеском к общему строю его мыслей и чувств. Они пронизывают все его творчество, они окрашивают и его задушевнейшие лирические стихи.

В стихотворении «Легенда» земная страстная любовь к мадонне противопоставляется Пушкиным аскетически-религиозному поклонению богоматери. Оно — дерзкий вызов учению церкви. Верность и

ностоянство поклонения рыцаря мадонне объясняется материалистическим, человеческим характером его чувства. Естественная человеческая любовь оправдана и превознесена над религиозной, которая тонко высмеяна — когда влюбленный рыцарь умер без причастья. бес хотел утащить его душу в преисподнюю:

Он-де богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Целый век-де волочился
Он за матушкой Христа.
Но пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

(«Легенда»).

Сюда, сюда — здесь, на земле, сосредоточивалось для Пушкина все богатство мира, жизни, человека. Потусторонний мир для него только фантом, только иллюзия непросвещенного невежественного воображения.

Материалистический и атеистический взгляд на мир с логической необходимостью исключал у Пушкина уозсть субъективизма, делающего и в теоретическом и практическом отношении мир только следствием мыслящего и чувствующего эгоиста. Пушкин вдосталь нагляделся на современного ему человека.

С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом!

(«Евгений Онегин»).

Себялюбие, эгоизм, превращение личности в маленького Наполеона, центр вселенной, шуп земли — всегда вызывало отвращение у Пушкина. Эгоистический субъективизм Пушкин клеймил многократно самым острым своим оружием — поэтическим словом и поэтическим образом. Алеко из «Цыган» осужден Пушкиным за то, что он для себя лишь хочет воли. Первая отрицательная черта Онегина, как рисует его Пушкин, это — эгоцентризм, неумение и нежелание понять, что он только момент в бесконечном бытии, только звено в бесконечной цепи других существ. Философский объективизм Пушкина объясняет нам и его отношение к Байрону, произведениями которого он увлекался во время своей южной ссылки.



Рисунок Пушкина. Евгений Онегин.

В своем противопоставлении личности и общества Байрон впадал в необузданный субъективизм. Его герои — гордые, надменные люди, эгоисты, презирающие остальных людей, чувствующие над ними свое превосходство. Байрон — пессимист. Он считал невозможным разрешить удовлетворительным образом столкновение между личностью и обществом, он считал невозможным достижение счастья на земле.

Пушкин усвоил протестующую сторону поэзии Байрона. Герои его южных поэм также одинокие разочарованные, гордые люди. Но между Пушкиным и Байроном есть чрезвычайно важное коренное различие в пользу Пушкина. Пушкин — оптимист, он протестует против гнета и несовершенства общественного строя во имя счастья всех людей и верит, что это счастье достижимо на земле. Себялюбие и эгоизм своих разочарованных героев он считает не положительным, а отрицательным качеством. Пушкин требует равенства во взаимоотношениях между людьми. Он осуждает счастье и благополучие одного, достигаемое за счет других людей, за счет превращения других людей в средство для целей одного. Пушкин как материалист по основным тенденциям своего мировоззрения признает независимое от сознания отдельной личности существование объективного мира; он понимает, что каждый человек занимает в нем только свое определенное место, что каждый человек может быть счастлив только среди других людей и вместе с другими людьми.

Пушкин сознает свою личность в связи с миром и другими людьми.

Пушкина не пугала вечность, смерть не ужасала его. Он не видел противоречия между конечностью человеческой жизни и бесконечностью природы. Смерть, если она приходит в конце радостной и удовлетворенной жизни, есть лишь завершающий беспробудный сон, встречаемый человеком со спокойным сознанием неизбежного.

Смерть одного есть скорбь, но она не останавливает жизни, не лишает других возможности радоваться и наслаждаться. В самой мысли о смерти видно, как Пушкин любит землю: светило дня, небесная завеса, немую ночь мглу, денницы сладкий час, знакомые холмы, ручья пустынный глас, безмолвие таинственного леса. Примирение с неизбежностью смерти у Пушкина не результат аскетического отрицания прелести земной жизни или искусственного и напряженного замалчивания имени умерших. Пушкин хочет жить в памяти друзей, ему приятно сознавать, что его возлюбленная вздохнет над его гробовой урной. Мужество перед лицом смерти он находит в мысли о вечности человеческого рода, об объективной, независимой от отдельного существования ценности других людей, других поколений.

Он рад молодой поросли, поднявшейся около знакомых ему трех сосен в Михайловском за время его десятилетнего отсутствия:

Здравствуй, племя,
 Младое, незнакомое! Не я
 Увижу твой могучий поздний возраст,
 Когда перерастешь моих знакомцев
 И старую главу их заслонишь
 От глаз прохожего. Но пусть мой внук
 Услышит ваш приветный шум, когда,
 С приятельской беседы возвращаясь,
 Веселых и приятных мыслей полон,
 Пройдет он мимо вас во мраке ночи
 И обо мне вспомянет.

(«Вновь я посетил»).

Человек умирает, мир, природа, люди остаются.

Материалистическое и атеистическое мировоззрение Пушкина почти полностью предохранило его от воздействия реакции, восторжествовавшей в Европе вместе со священным Союзом, а в России также победившей надолго после разгрома декабристов. Под конец жизни Пушкина, в результате травли, одиночества, безнадежности, в его поэзии проявляются религиозные мотивы. Но даже это обстоятельство, казалось бы находящееся в таком разительном противоречии с «Гавриилиадой», не может изменить общего тона творчества Пушкина — посюстороннего, земного, материалистического, реалистического. Мало того, если говорить о мировоззрении Пушкина в терминах историко-литературных, а не философских, то придется отметить, что реализм его творчества нарастал непрерывно вплоть до самой его гибели.

Пушкин относился отрицательно к немецкому классическому идеализму, ему претили идеализм и метафизика. «Ты пеняешь мне за «Московский вестник» и за немецкую метафизику, — писал он А. А. Дельвигу. — Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями...»

Относясь отрицательно к немецкому идеализму, не понимая всего значения зарождавшейся в идеалистической форме диалектики, Пушкин обладал настолько широкой философской головой, что все же разглядел положительное методологическое значение немецкой фило-

софии, разглядел в ней противоядие против все рассыпающего, все разъединяющего на отдельные частности эмпиризма. Пушкин ставил девятнадцатый век ниже чем XVIII столетие за его политическую и умственную реакцию, за идеализм и субъективизм. Однако, несмотря на это, Пушкин написал следующие слова в статье «Мнение Лобанова»:

«Мы не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века, но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и, хотя говорили они языком, мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно».

Отрицательное отношение Пушкина к идеализму и субъективизму, его сопротивление нарастающей реакции дают нам ключ к его пониманию романтизма, вызвавшему в обширной литературе о Пушкине большое количество разноречивых отзывов и толкований.

Под романтизмом Пушкин понимал свободу вдохновения — и только. Школа романтическая «есть отсутствие всяких правил», — писал он. Романтизм разрушал застывшие, враждебные естественности и правде, правила ложноклассицизма. Романтизм по сравнению с ложноклассицизмом был шагом вперед к реализму. Пушкин ценил романтизм за эти прогрессивные стороны его. Общепринятое же идеалистическое истолкование романтизма Пушкин отвергал. «Французские критики, — писал он, — имеют свое понятие о романтизме. Они относят к нему все произведения, носящие на себе печать унынья или мечтательности». А унынье и мечтательность, т. е. пессимизм и идеализм были для Пушкина неприемлемы. Не идеалистическую субъективность, а реалистическую верность действительности в противоположность условной неестественности классицизма искал Пушкин у романтиков.

Пушкин тщательно ограничивает романтизм формальной стороной, которая для него приемлема и важна. Идеалистически-субъективистский дух романтизма Пушкин отвергал. Отношение Пушкина к романтизму лишний раз доказывает, что поэт устоял перед идеологической реакцией послереволюционной Европы, Европы времен реставрации. Поэтому-то Пушкин и заявлял в такой категорической форме: «Я в душе уверен, что XIX век, в сравнении с XVIII, в грязи».

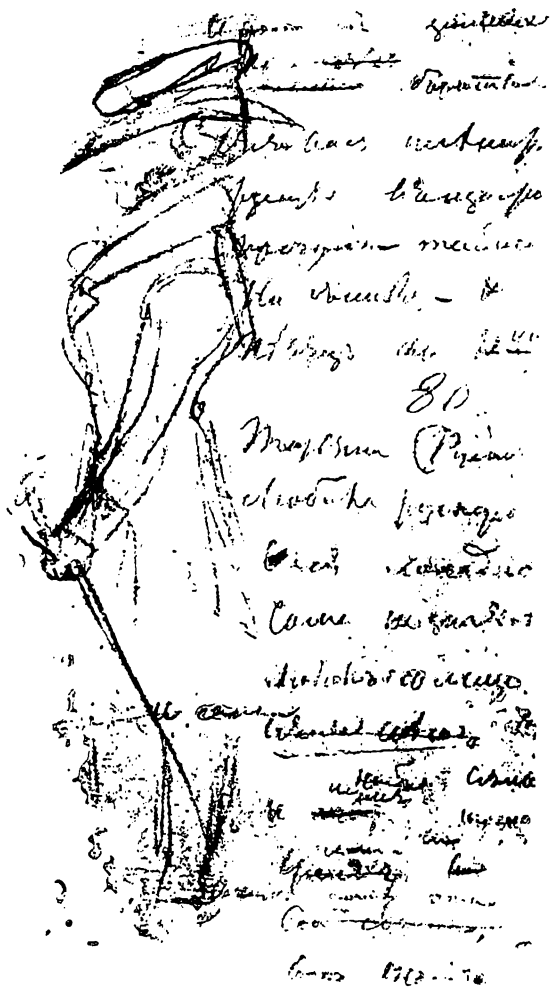


Рисунок Пушкина, 1826 г. Автопортрет

Опираясь на романтизм, Пушкин обогатил свое материалистическое и реалистическое мировоззрение историзмом, интересом к народным особенностям страны и пониманием диалектики человеческих характеров.

Круг исторических интересов Пушкина был обширен и разнообразен. Он понимал, что без знания прошлого невозможно понять настоящее и предвидеть будущее. Он интересовался и историей литературы и историей в общем смысле. Он изучал историю древнего мира и современных ему государств, историю стран, сословий и учреждений, историю России и историю других народов, входивших в состав Российской империи. История для Пушкина не была средством уйти от современности. Наоборот, современность он старался лучше понять через историю. Поэтому он от внимательного наблюдения современных ему крестьянских восстаний перешел к изучению истории восстания Пугачева. В движении Пугачева он открывал обобщающий смысл разрозненных крестьянских бунтов современности. В реформах Петра Великого Пушкин видел назидательный пример для Николая I. Изучение деятельности Петра имело для Пушкина не академический интерес, оно было продиктовано актуальнейшими вопросами современной политики. Точно так же и к Смутному времени Пушкин обратил свои взоры не случайно, не по капризу гения. У Пушкина жило сознание непрочности современных ему политических и социальных отношений. Он знал, что под ногами самодержавно-крепостнического общества бушует огненный пожар народного недовольства, едва прикрытый снаружи, вот-вот грозящий испепелить танцующих на вулкане. От этого сознания Пушкин, естественно, обращался к Смутному времени, одному из самых драматических, самых революционных периодов в прошлой нашей истории.

Тема «Бориса Годунова» — это тема власти и народа, и идея его — идея непрочности всякой власти, не опирающейся на общественное и народное мнение. Пушкин был истинно историчен. Он вовсе не искал в прошлом аллегорий, аналогий и схем всегда натянутых. Он стремился к «верному изображению лиц, времени, развития исторических характеров и событий». Реалистическое, непредвзятое изображение прошлого лучше помогает правильному уразумению современности, чем любая аллегория. Поэтому Пушкин мог без особых натяжек написать в набросках предисловия к «Борису Годунову»:

«Благодаря французам мы не понимаем, как драматический автор может совершенно отказаться от своего образа мыслей, дабы совершенно переселиться в век, им изображенный. Француз пишет свою

трагедию с *Constitutionnel* или с *Quotidienne* перед глазами, дабы шестистопными стихами заставить Суллу, Тиберия, Леонида высказать его мнение о Виллеле или о Кеннинге. От его затейливого способа на нынешней французской сцене слышно много красноречивых журнальных выходов, но трагедии истинной не существует. Заметьте, что в Корнеле вы применений не встречаете, что кроме Эсфири и Вероники нет их и у Расина. Летописец французского театра видел в Британнике смелый намек на увеселения двора Людовика XIV. Но вероятно ли, чтоб тонкий придворный Расин осмелился сделать столь ругательное применение Людовика к Нерону? Будучи истинным поэтом, Расин, написав свои прекрасные стихи, был исполнен Тацитом духом Рима; он изображал ветхий Рим и двор тирана, не думая о версальских балетах. Самая дерзость сего применения служит доказательством, что Расин о нем и не думал, как Юм или Вальполь (не помню кто) замечает о Шекспире в подобном же случае».

Конечно, Пушкин стремился из боязни преследований снять с себя ответственность за «применения», за попытки истолковать «Бориса Годунова» как иносказание о современности. Но против аллегоричности, против предвзятого схематизма, нарушающих историческую правду, Пушкин восставал совершенно искренне. «Драматический поэт, — писал Пушкин в заметках о «Марфе Посаднице» Погодина, — беспристрастный, как судьба, должен был изобразить столь же искренно отпор погибающей вольности, как глубоко обдуманый удар, утвердивший Россию на ее огромном основании. Он не должен был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, — но люди минувших дней, умы их, предрассудки. Не его дело оправдывать, обвинять и подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине».

Историзм выгодно укреплял и усиливал реалистическую объективность пушкинского мировоззрения в вопросах социальных. То же самое следует сказать и о требовании народности, которое Пушкин предъявлял к искусству. Стремление к народности увеличивало конкретную наполненность, реалистическую насыщенность пушкинского творчества. Известно, с каким вниманием изучал Пушкин русскую народную словесность, язык, нравы и обычаи русского народа.

В пушкинском понимании понятия «народность» опять-таки обнаруживаются широта и свобода его мировоззрения. Он высмеивал литераторов, которые понимали под народностью выбор предметов

из отечественной истории или употребление простонародных выражений. «Есть образ мыслей и чувствований, — объяснял он, — есть тьма обычаев, и поверий, и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более и менее отражается в зеркале поэзии».

Пушкина, по его мировоззрению, по его теоретическим взглядам нельзя, конечно, назвать диалектиком, но в творческой практике он гениальным пониманием художника-реалиста дал не один пример диалектической разработки своих тем. Где особенно проявлялись диалектические черты в понимании Пушкиным действительности — так это в трактовке человеческих характеров! Он никогда не подходил к человеческой психологии, как к чему-то однолинейно-упрощенному, схематическому. Шекспира, как художника характеров, он ставил неизмеримо выше, чем Байрона.

«...Что за человек этот Шекспир? — писал Пушкин Н. Н. Раевскому, — не могу притти в себя! Как Байрон-трагик мелок по сравнению с ним! Байрон, который постиг всего-навсего один характер (именно свой собственный)... разделил между своими героями те или другие черты своего собственного характера: одному дал свою гордость, другому — свою ненависть, третьему — свою меланхолию и т. д. и таким образом из одного характера, полного, мрачного и энергичного, создал несколько характеров незначительных, — это уже вовсе не трагедия. Каждый человек любит, ненавидит, печалится, радуется, но каждый на свой образец, — читайте Шекспира».

Пушкин чувствовал отвращение к однолинейным выпяченно-односторонним характерам:

«Чем больше думаю, тем сильнее чувствую, какой отвратительный предмет для художника в лице Мазепы! Ни одного доброго, благородного чувства! Ни одной утешительной черты! Соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, — вот что увлекло меня. «Полтаву» написал я в несколько дней; далее не мог бы ею заниматься и бросил бы все».

Реализм Пушкина не был просто результатом его гения. Реализм Пушкина находится в тесной зависимости от его мировоззрения. Реализм Пушкина вырос и окреп на основе любви и внимания к конкретной действительности, а эти свойства его были результатом материалистического по своему духу мировоззрения, признававшего ценность объективного мира, укрепленного изучением истории, народных особенностей и человеческих характеров.

Мировоззрение Пушкина было для своего времени передовым, прогрессивным. Гений Пушкина мужал и развивался не в уединении от общественных движений, а на гребне общественного подъема первой трети XIX в. Он питался живым еще тогда влиянием идеологических потоков, подготовивших французскую революцию, он рос на революционном подъеме 20-х годов в России и Европе. А после разгрома декабристов Пушкин вовсе не попадает в общее движение реакции, охватившее не только правительство, но и широкие общественные круги. Сложными и извилистыми путями он начинает отражать в своем творчестве самые первоначальные, молекулярные процессы нового революционного подъема, в зрелом виде ознаменованного уже деятельностью русских просветителей-шестидесятников.

Прогрессивность мировоззрения и творчества Пушкина объясняют нам общенациональное значение его гения, его гуманность, его уважение ко всякой человеческой личности, даже если это был тогда презираемый и третируемый крепостной мужик.

Пушкин резко выделялся из окружавшего его общества своим отношением к мужику. Для Пушкина крестьянин был не менее человеком, личностью, чем любой представитель господствовавших классов. Даже Пугачев, к тактике которого поэт относился отрицательно, как человек изображен положительными красками. Пугачев у Пушкина сметлив, смел, помнит добро, держит себя с огромным достоинством перед победившими его царскими военными. Господствующие классы изображали крестьянских революционеров обычно в виде каких-то потерявших человеческий облик диких зверей. Пушкин и в своих художественных произведениях, и в публицистических высказываниях объяснял эксцессы бунтовавших крестьян жестокостью помещиков.

Сочувствие низам было осознанной чертой пушкинского гения. Свое право на бессмертие поэт обосновал не только эстетической ценностью своего творчества, но и строками «Памятника»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Добрые чувства, о которых писал Пушкин, не следует понимать в узко-психологическом смысле. Они включали в себя поэтическую проповедь политического и социального раскрепощения.

Вера в объективную ценность мира и людей, демократические струи в мировоззрении и творчестве Пушкина наполняли его стихи

и прозу чувством доверия к будущему, чувством оптимизма. Пушкин — один из самых величайших жизнелюбцев, которых человечество знало за всю свою прошлую историю. Никакое исследование его жизни и творчества не будет полно, если в нем не будет подчеркнуто это свойство Пушкина — солнца русской поэзии. Оптимизм Пушкина не был следствием незнания и неопытности. Нет, он прошел через испытание политических преследований, через горестные предчувствия насильственной смерти, через опыт жизни в среде разволоченных холопов, среди торжествующих скотов, в стране, подавляющее и лучшее большинство населения которой было на положении рабов. И все же ни холодные наблюдения ума, ни горестные заметы сердца не могли искоренить пушкинского оптимизма. Пушкинский оптимизм — золотой мост, связывающий его надежды с нашей действительностью.

Напряженно всматривался он сквозь мглу столетий в будущее. Пушкин обладал трезвым умом. Гармоническое будущее не казалось ему слишком близким.

Рассуждая в лирическо-ироническом тоне о будущем русских дорог, Пушкин относил это будущее на пятьсот лет вперед от себя:

Когда благому просвещенью
 Отдвинем более границ,
 Современем (по расчисленью
 Философических таблиц,
 Лет чрез пятьсот) дороги верно
 У нас изменятся безмерно:
 Шоссе Россию, здесь и тут
 Соединив, пересекут,
 Мосты чугузные чрез воды
 Шагнут широкою дугой,
 Раздвинем горы, под водой
 Пророем дерзостные своды,
 И заведет крещеный мир
 На каждой станции трактир.
 («Евгений Онегин», гл. VII, строфа XXIII).

Успехи просвещения Пушкин связывает с промышленным и социальным прогрессом.

Через сто лет самые дерзостные мечты Пушкина исполнились более чем сторицей. Границы просвещения в нашей стране уже настолько широки, что девять десятых ее многонационального населения знают, ценят и любят Пушкина. Дороги у нас в самом деле измени-

лись безмерно. Горы раздвинуты, под водами прорыты дерзостные своды. Изменился и политический и социальный строй страны, которая живет и работает на основе завоеванной ею великой Конституции, которую народ единодушно наименовал Сталинской. Значит ли это, что оптимизм Пушкина был слаб, что он был маловером? Ни в коем случае! Это значит, что творческие силы победившей социалистической революции безмерны, это значит, что ее плодотворную силу до Маркса не мог предвидеть ни один ум человеческий, как бы он ни был велик.

Сегодня народы Советского Союза празднуют память Пушкина. В грандиозных размерах этого празднования, в его глубоконародном характере также виден и размах культурных успехов нашей родины. Сто лет тому назад Пушкин был затравлен и убит! Исчезли и развеялись в прах Александр и Николай, Бенкендорфы, Булгарины и Дантесы, исчезли и ликвидированы навсегда самодержавие, крепостничество, эксплуатация.

Но жив Пушкин, живо его слово, живо в сердцах людей, водрузивших знамя социализма, знамя Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина на шестой части земного шара. Скрылась тьма, взошло солнце, поэзия Пушкина стала всенародным достоянием.

П. И. Лебедев-Полянский

ПУШКИН В ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ¹

Обычно, когда писатель умирает и имя его уходит в глубь времен, какая-то доля его творчества тускнеет и даже совсем теряет для потомства свое значение. Но Пушкин — чем дальше мы от него во времени, тем ослепительнее его гениальность, тем больший смысл раскрывается в его произведениях, тем огромнее и величественнее его историческое значение. Этот гигант русской поэзии, этот глубочайший выразитель своего времени, его революционных тенденций, бессмертен. Пролетарская революция, низвергнув многие ложные авторитеты, восторженно чествует великого русского поэта, чествует не только как великое прошлое, но и как явление созвучное нашему времени.

Глубоко проникновенны слова другого великого человека — Белинского когда он писал о поэте: «Пушкин принадлежит к вечно движущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное и ни одна и никогда не выскажет всего».

Действительно, по словам Белинского, «Пушкин принадлежит к числу тех творческих гениев, тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, готовят будущее, и потому самому уже не могут принадлежать только одному прошедшему». Определить его значение «однажды навсегда, на основании чистого разума» просто невозможно; «решение должно быть результатом исторического движения общества», потому что «каждый новый день, каждый новый факт в жизни и литературе должны были изменять и образ воззрения на Пушкина». Так оно и есть. Каждая общественная группа, пытаясь присвоить себе идейное наследство поэта,

¹ Доклад на Торжественной Пушкинской сессии Академии Наук СССР 13 февраля 1937 г.

истолковывала его по-своему, каждое десятилетие так или иначе изменяло образ Пушкина. И только советская страна, страна социализма произнесет о великом поэте свое окончательное суждение. При жизни и после смерти поэта вокруг его творчества шла страстная борьба; поэт задевал за самое живое, — у одних он разбивал их кумиры, верования и традиции, другим он прокладывал путь в будущее, разрушая все старое, одряхлевшее, мешавшее движению вперед.

Первое свое признание, как великого национального, народного русского поэта, признание восторженное, проникновенное, всесторонне обоснованное, Пушкин получил в статьях Белинского. Естественно, в этих изумительных статьях на суждениях о поэте неизбежно отразилось как развитие общества, русского и западно-европейского, так и развитие самого критика; самые знания о поэте не были полны и достоверны, статьи писались почти сто лет тому назад. Не было надлежащей исторической перспективы, и временами текущая политическая борьба заменяла исторический анализ. Теперь пришло время, когда в суждения самого Белинского, суждения полные горячей мысли к нему, общественность нашей социалистической страны в силу исторической обусловленности должна внести свои дополнения и разъяснения, особенно в основное утверждение критика, что «Пушкин был по преимуществу поэт, художник».

Развивая свой взгляд на историю русской литературы, критик писал, что до Пушкина «у нас не было даже предчувствия того, что такое искусство, художество», «много было сделано для языка, стиха, кое-что было сделано и для поэзии; но поэзии, как поэзии, т. е. такой поэзии, которая... развивая то или иное мировоззрение, прежде всего была бы поэзией — такой поэзии еще не было! Пушкин был призван быть живым откровением ее тайны на Руси». «Его назначение было завоевать, усвоить навсегда русской земле поэзию, как и искусство, так, чтоб русская поэзия имела потом возможность быть выражением всякого направления, всякого созерцания, не боясь перестать быть поэзией».

Конечно, эти суждения критика нельзя понимать упрощенно, в том смысле, что Пушкин был поэтом так наз. чистого искусства. Белинский имел в виду другое, именно то, что «Непосредственно творческий элемент в Пушкине был несравненно сильнее мыслительного элемента, так что ошибки последнего, как бы без ведома самого поэта, поправлялись первым, и внутренняя логика, разумность глубокого поэтического созерцания торжествовала над неправильностью рефлексий поэта».

Иначе, там, где поэт мыслью не улавливал исторического хода событий, исторической объективности, там на помощь ему приходила проникновенность художника, и своим художественным чутьем он так глубоко проникал в тайники действительности, в сущность событий, в их связь, что его совершеннейшие по мастерству картины жизни стали вечны, полные великого исторического смысла.

Если Белинский, исходя из основного своего положения, что «у нас нет литературы, что литература до Пушкина — плод чужеземный, привозной, что Пушкин первый создал национальную народную литературу», с наибольшей силой подчеркнул и выдвинул на первое место поэтическое совершенство поэта, то наша современность выдвигает на первое место мировоззрение поэта, — то, чем было наполнено его могучее, сверкающее мастерство, давшее величайшие образцы органического единства формы и содержания, единства, в своей исключительной простоте поражающего своей гениальностью.

Мы не можем возражать Белинскому, что Пушкин «по преимуществу поэт-художник», но со всей силой выдвигаем и другое, — то, что он был одновременно великий, глубокий и трезвый мыслитель. мировоззрение которого складывалось последовательно и сознательно. Пушкин был высокообразованным человеком, как немногие из людей его времени. Он был глубоко конкретен и историчен. Он жил не только чувством страстным, но и глубокой мыслью.

Достаточно просмотреть дневник поэта, его письма, разные исторические замечания, его заметки о «Борисе Годунове», 1831 г., конспект записки о дворянстве, 1832 г., хотя бы статью об «Истории русского народа» Н. Полевого, записку «О народном воспитании» и ряд других материалов, чтобы не сомневаться в этом.

Величие поэта не только в том, что он добил классицизм и сентиментализм, своим творчеством нанес смертельный удар романтизму, — романтизму типа Жуковского с его мистицизмом, святостью, чертовщиной, неопределенностью, мечтою, уходом от действительности, романтизму демоническому, байронического типа, с его разочарованием, известной критикой жизни, тоской по лучшему, но в русских условиях неактуальному в борьбе за это лучшее. Величие поэта не только в том, что он, преодолев эти литературные направления, изжил их мировоззрения. Поэт велик другим. Этот крупнейший и гениальнейший мастер создал в литературе новое направление — реализм.

Если романтическая поэзия жила преимущественно мечтой и чувством и воспевала только возвышенное, то реализм потребовал жиз-

ненной правды, понимания действительности, глубины мысли. От возвышенного, от романтических, байронических эффектов поэт спустился к «заурядным», «неинтересным» героям, к «простому столичному гражданину», к «коллежскому регистратору», к «станционному смотрителю», которых много на Руси и которых никто не замечает, и, наконец, к мужику.

В то время, как общество жило еще мировоззрением романтизма, Пушкин осознал, что искусство должно являться единым органическим выражением гармонической связи природы, человека, жизни, истории, реальных идеалов. Своим принципиальным учителем он избрал Шекспира.

Величие поэта в том, что он положил основание тому реализму, продолжателем которого был Гоголь. Между Гоголем и Пушкиным нет принципиальной разницы, разница в их социальном возрасте. Гоголь шел той же дорогой, по которой в последние годы своей жизни шел Пушкин. Гоголь пошел дальше поэта, но от него, его путем и даже не без помощи поэта. Пушкин дал Гоголю сюжеты «Ревизора», «Мертвых душ», Гоголь всегда дорожил и прислушивался к критике поэта.

Как и Белинский, Пушкин был глубоко самокритичен. Уже в 1825 году для него «Руслан» — молокосос, «Пленник» — зелен, поскольку они отражают романтизм. Он доволен «Годуновым» за его реализм и за шекспировские принципы трагедии, но он знает, что «робкий вкус» русского общества не стерпит этого направления.

Как реалист, Пушкин устремляет свой взор на исторический дух эпохи, на национальный характер своих героев и событий. Встав на этот путь, Пушкин нашел, что русская действительность лишена всякого романтизма. Романтизм уступил место жизненности, правде, обыденности. Высмеяв в «Онегине» сентиментализм и романтизм, как пародию на действительность, поэт дает картину развития своего реализма. Говоря о национальности, народности, будничности жизни, поэт, как он выражается, вынужден «унижаться до смиренной прозы». Он обещает: «но просто вам перескажу преданья русского семейства, любви пленительные сны да нравы нашей старины». Он «завертывает на скотный двор», называя все это иронически «фламандской школы пестрым сором» и, наконец, заявляет, полемизируя со своими противниками и разоружая их упрощенностью формулировки:

Иные нужны мне картины;
Люблю песчаный косогор,

Перед избушкой две рябины,
 Калитку, сломанный забор...
 Теперь мила мне балалайка
 Да пьяный топот трепака
 Перед порогом кабака.
 Мой идеал теперь хозяйка,
 Да шей горшок, да сам большой...

Пушкин не только создал новое реалистическое направление; больше, он заставил и критику считаться не с отжившими эстетическими канонами, а с жизненной правдой произведения.

Величайшая заслуга поэта не только в области литературы, но и вообще русской культуры. Ни на минуту нельзя забывать, что самое художественное совершенство Пушкина было «следствием глубоко истинного содержания, всегда скрывающегося в произведениях» поэта. Почвою поэзии Пушкина была «всегда плодотворная идея». Его «Онегин» был богатырским шагом вперед, «актом созвания».

Все это и обязывает нашу современную общественность говорить о Пушкине не только как о созерцателе жизни, но как и о мыслителе, проникающем в глубины действительности.

Обобщая свой анализ творчества Пушкина, Белинский настойчиво подчеркивает, «что к особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека, как человека». Несмотря на генеалогические свои предрассудки, Пушкин по самой натуре своей был существом любящим, симпатичным, готовым от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человеком». В переводе на политический язык это означает, что поэт жил великим сочувствием к русскому народу, что он был непреклонным врагом крепостного права, ненавидел русское самодержавие, хотя и сознавал его историческую неизбежность.

Весь этот основной «пафос» творчества поэта — его реализм, гуманизм, ненависть к самодержавию и любовь к народу — был не только плодом художественной проникновенности, но и плодом глубокой, ясной мысли, хотя и не доходившей до конца.

Прав был Белинский, когда указывал, что «в мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идейками», потому что «Пушкин доступен только глубокому чувству действительности». Обычно прогрессивность Пушкина определяют в зависимости от того, насколько полно он выражал идеи декабризма. Этого недостаточно. Во-первых,

среди декабристов были борцы за демократическую республику и защитники ограниченной монархии; во-вторых, гуманизм поэта выходил за границы идеологии декабристов, и тем самым Пушкин выходил за пределы того класса, к которому он принадлежал, революционные стремления которого он поэтически отражал. Мы любим поэта, как гениального мастера, но еще более любим и будем любить его за его гуманизм, который так созвучен нашей эпохе, полностью выразившийся в великой Сталинской Конституции.

Прав был Герцен, когда в своей работе «О развитии революционных идей в России» писал: когда в мрачную пору николаевской реакции все было задушено и жило «глубокой страстью», «одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос отдаленному будущему». Это «отдаленное будущее» уже пришло, мы его завоевали, мы его укрепляем и строим. Как мастер-поэт — достояние истории, как гуманист он гражданин наших дней.

Отвечая тем, кто был разочарован поэмой «Цыганы», Белинский твердо подчеркнул, что это разочарование означает, что «поэт вдруг перерос свою публику и одним орлиным взмахом очутился на высоте, недоступной для большинства», что Пушкин «уже перестал быть выразителем нравственной настроенности современного ему общества и что отселе он явился уже воспитателем будущих поколений». Он был прав. Мы, конечно, очень далеко ушли от поэта, но голос его гуманизма громко слышен, он созвучен нашим дням.

Ставя так высоко поэзию Пушкина, Белинский недооценил отдельные произведения поэта, например, его сказки и «Повести Белкина».

Он думал, что повести были ниже таланта Пушкина, «ниже своего времени». Если даже согласиться, что «Барышня-крестьянка» является водевилем, представляющим помещичью жизнь с индивидуальной точки зрения, то нельзя не видеть, что «Станционный смотритель» не только не ниже своего времени, но выше, поскольку повесть поставила перед обществом новые вопросы о мелких людях, подняла проблемы, которые позже Гоголь разрабатывал в своих петербургских повестях, а Достоевский — в «Бедных людях».

Если критик поставил «Графа Нулина» рядом с «Мертвыми душами», его приговор о «Повестях Белкина» уже не является оправданным. Согласимся, что «Нулин» в смысле мастерства неизмеримо выше повестей, но повести неизмеримо выше «Нулина» в смысле содержания. Если «Граф Нулин» и «Домик в Коломне» со своим не-

значительным шутивным содержанием были произведениями, предшествующими «натуральной школе», и показывали, что в действительности самое обыденное имеет свое жизненное значение, то «Повести Белкина» эту функцию выполняли в большей мере, поскольку воздвигали социальные проблемы первостепенной важности.

Что же касается сказок, то теперь уже хорошо известно, что Пушкин понимал народность не как внешнее описание жизни народа, а как проникновение в его внутреннюю сущность, хотя бы задвленную и искалеченную самодержавием и помещиками-крепостниками. Теперь хорошо известно, как поэт внимательно наблюдал жизнь народа и как тщательно ее изучал.

Статьи о Пушкине Белинский писал в последний период своей литературной деятельности, в 1843—1846 гг., когда он был весь в «социальности», когда в нем, по его собственным словам, развилась «какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которая возможна только при обществе, основанном на праве и доблести», когда он начинал любить человечество по-маратовски и готов был ради этой любви действовать «огнем и мечом», когда он уже был знаком с философией Л. Фейербаха.

Естественно, страстный борец Белинский, переросший мировоззрение декабристов, в своей классовой борьбе и непримиримости, поскольку Пушкин не мог подняться на ту высоту социальной мысли, на которой стоял сам критик и которая с наибольшей яркостью и силой сказала в знаменитом письме к Гоголю, он подчеркнул в Пушкине в первую очередь его мастерство, а в Гоголе и Лермонтове — их социальный протест, поскольку у этих писателей он был выражен с большей горячностью и гневностью.

Белинский был «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении» (Ленин, XVII, 341). Признав, что общий идеал поэзии Пушкина, — «внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность», не может быть осуществлен в самодержавно-крепостной действительности, революционный демократ Белинский требовал от литературы сугубо реалистического показа жизни, беспощадной ее критики, гневного протеста против ее ужасов и призывал к непримиримой кровавой борьбе. Поскольку поэт всего этого не выразил так, как хотелось критику, он недооценил критику поэтом дворянской действительности, заявив, что Пушкин «в душе был больше помещиком и дворянином, нежели сколько можно ожидать этого от поэта».

Во времена борьбы за раскрепощение крестьянства такая заост-

ренная формулировка была понятна. Критик не хотел, чтобы русское общество хотя бы каплями впитывало в себя идею примирения помещика с крестьянином. «Неистовый Виссарион» доводил классовую непримиримость до самой последней степени ненависти и всякую художественную строчку, проникнутую лиризмом, смягчающим остроту классовой борьбы, уже считал пафосом помещицкого принципа.

Хотя Белинский и увлекался в Гоголе тем, что он «ничего не смягчает, не украшает», он признал и доказал, что уже в первые поэмы Пушкина, несмотря на их идеальный характер, «вошли элементы жизни действительной», а в «Онегине» идеалы еще более уступили место действительности,... что поэма эта должна по справедливости считаться произведением, положившим начало поэзии нашего времени. Тут уже и натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное воспроизведение действительности со всем ее добром и злом, со всеми ее житейскими дрязгами». Это был роман исторический, хотя в нем и не было исторических лиц, эта была энциклопедия русской жизни того времени, это был одновременно «акт сознания».

Несколько раньше, в начале 1840 г., Белинский очень верно определил, что «миросозерцание Пушкина трепещет в каждом стихе, в каждом стихе слышно рыдание мирового страдания, а обилие нравственных идей у него бесконечно».

Мысль, что Пушкин не столько мыслитель, сколько художник, в последующие годы выросла в нелепую легенду, что Пушкин после декабрьского восстания стал поэтом так называемого чистого искусства. Политическая борьба 60-х годов, борьба революционной демократии с либералами, выдвинув на первое место Гоголя, помешала разоблачить эту легенду. Это задача наших дней.

В шестидесятые годы, как известно, развернулась борьба между пушкинским и гоголевским направлениями в литературе. Эта литературная борьба имела свой откровенный политический смысл. Либералы отстаивали пушкинское направление, ложно трактуя его как направление чисто эстетическое и потому чуждое общественной борьбы, политики. Революционная крестьянская демократия отстаивала гоголевское направление, поскольку в нем с наибольшей силой выражены общественно-сатирическо-критические тенденции. Спор шел, конечно, не о том, чей талант выше — пушкинский или гоголевский. Это примитивная постановка вопроса. Революционная демократия утверждала, что Пушкин свою историческую миссию закончил, передав ее Гоголю, что вместе с этим литература из художественного созерцания превратилась в активную политическую силу. Но это

не помешало Чернышевскому признать гениальность Пушкина и даже в некоторых случаях быть справедливее Белинского. Он считал, что «смешно было бы думать», что за последние годы «талант Пушкина начинал ослабевать», что во время написания «Онегина» и «Годунова» он достиг «возможной высоты своего развития» и что «с этого времени относительное достоинство поэтических его произведений не возрастает неуклонно с каждым годом, зависит не от более позднего года, как прежде, а просто от изменившихся обстоятельств свободного вдохновения». Чернышевский не раскрыл нам, что он подразумевал под «изменяющимися обстоятельствами», но с достаточной долей вероятности можно утверждать, что он имел в виду политические обстоятельства и положение поэта, как пленника самодержавия, когда Пушкин не только не мог свободно говорить, но в течение двух лет не мог написать ни одной поэтической строки.

Чернышевский находил, что на ряду с «Горе от ума», как произведением сатирическим, «важно было влияние Пушкина, как сатирического писателя, каким он являлся преимущественно в «Онегине». Что было слабо видно Белинскому, как современнику поэта, то стало ясно через несколько лет такому прозорливому и последовательному демократу, как Чернышевский. Сам Пушкин не считал своего романа сатирическим, но из его замечания «у меня бы затрещала набережная, если б я коснулся сатиры», совершенно очевидно, что в сатирическом жанре поэт дал бы настоящую критику современного ему русского общества не менее сильную, чем в «Ревизоре» и «Мертвых душах». Это была бы та сатира, которая, как писал Белинский о юморе Гоголя, «кусается до крови, впивается в тело до костей, рубит со всего плеча, хлещет направо и налево своим бичом, свитым из шипящих змей».

Чернышевский признал, что «в истории русской образованности Пушкин занимает такое же место, как и в истории русской поэзии», что он был человек громадной образованности даже для 60-х годов, что «каждый стих, каждая строка беглых заметок Пушкина затрагивали, возбуждали мысль, если читатель мог пробудиться к мысли».

Самое характерное то, что Чернышевский, выступая против пушкинского направления, считая, что Пушкин уступил место Гоголю, одновременно писал, что только еще «придут времена, когда его произведения останутся только памятником эпохи, в которую он жил; но когда придет это время, мы не знаем». Сегодня мы можем заявить, что оно еще не пришло. Поэт в гробу, но он жив, в то время

как некоторые живые — мертвы. Поэт в представлении Чернышевского служил «Музам и Разуму».

Чернышевский очень чтит память Пушкина и клеймил всех, кто пытался снизить его значение. Он писал: «не успело еще взойти в свои берега взволнованное утратою поэта чувство общества, как подняла свое жужжание и шипение на страдальческую тень великого поэта злопамятная посредственность. Она начала прямо и косвенно толковать о поэтических заслугах Пушкина, стараясь унижить их»... «Веселое скакание водовозных существ на могиле льва возмущает душу как зрелище неприличное и отвратительное, а наглое бесстыдство низости имеет свойство выводить из терпения».

Добролюбов считал Пушкина первым поэтом, вырвавшимся из рутины державинского и карамзинского творчества. Его увлекало то, что поэт «долго возбуждал негодование своей смелостью находить поэзию не в воображаемом идеале, а в самом предмете, как он есть». Усиленно подчеркивая прогрессивный характер произведений поэта, Добролюбов указывает, что под давлением самодержавия, после разгрома движения декабристов, муза поэта не раз исторгала неверные ноты, но не в силу «естественных потребностей души поэта, а по слабости характера». Когда Добролюбов рисовал идеал современного ему поэта, он писал: «нам нужен был бы теперь поэт, который бы с красотой Пушкина, с силою Лермонтова умел продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова».

Революционные демократы не видели в прошлом поэта, который отражал бы их интересы, их поэтами были Некрасов и Шевченко; недаром на похоронах Некрасова, во время речи Достоевского, разгорелся спор, кто выше — Некрасов или Пушкин. Это была неправильная постановка вопроса, внеисторическая, но она показательна в смысле социальной характеристики Пушкина.

Ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лермонтов, ни Кольцов не удовлетворяли их. Голос Некрасова заглушал в те дни голос Пушкина. Помните, как горячо приветствовал его из Сибири великий демократ, революционер Чернышевский.

Белинский, Чернышевский и Добролюбов в своих статьях не раз называют Пушкина поэтом-дворянином. Да, он был дворянин, но не просто дворянин, а дворянин — певец декабризма, поэтическое выражение идей дворян-революционеров; его поэзия не служила тому «доблестному» дворянству, из рядов которого вышли Бенкендорф, Воронцов, Пуришкевич и другие охранители царского престола. Класс естественно, оказывал влияние на поэта, но в нем просыпался не класс, а народ, нация, историческая судьба; в нем сказалось еще

нераскрытое эмоционально-идейное содержание размаха общечеловеческой значимости.

В пылу ожесточенной классовой борьбы, в своей озорной, хотя и не бессмысленной, попытке разрушения эстетики, Писарев заявил, что «Онегин» — яркая и блестящая апофеоза самого бессмысленного *status quo*; что «кому Пушкин безвреден, тот не станет его читать; а кому он понравится, того он испортит в умственном и нравственном отношении». Писарев, конечно, был передовой человек 60-х годов, но, как всем очевидно, договорился до невероятных нелепостей.

Пушкин в разрешении социальной проблемы, в поисках общественной силы и положительного героя изучал революционное движение Пугачева, стараясь проникнуть в социальную психологию крестьянской массы и находя там положительное, видя в Пугачеве не зверя, как рисовали его буржуазные историки, а человека доброго.

С новой силой разгорелись прения вокруг Пушкина в 1880 г., во время открытия поэту памятника в Москве на бывш. Тверском бульваре. Бурю вызвала речь писателя Ф. М. Достоевского. Подчеркивая русскую самобытность творчества поэта, считая его полнейшим и совершеннейшим воплощением души русского народа, он подошел к нему как к пророку, указывающему исторический путь русского народа среди человечества. С одной стороны, он нашел у Пушкина тип извечного скитальца, неудовлетворенного действительностью, ищущего правды. Этот тип не исчезнет из русской жизни, потому что его поиски высшей правды может удовлетворить только всечеловеческое счастье, на меньшем он не мирится. С другой стороны, противопоставив этому ищущему скитальцу Татьяну, писатель бросил лозунг: «Смирись, гордый человек!» Речь Достоевского была одновременно и выражением взглядов мракобеса Победоносцева, она выражала самые реакционные взгляды, что Пушкин в своих художественных образах, как писали «Московские ведомости», дал «те высокие идеалы православной веры, преданности царю и горячей любви к родине, которые всегда являлись спасительными для России и которые и впредь сохранят ее для будущего ее великого мирового подвига. Ибо мы твердо веруем, — писала газета, — что Россия призвана будет просветить человечество теми вечными, духовными истинами, которые составляют сокровище ее народной души и которые нам впервые открыл и осветил, провозгласил путем художественного творчества великий просветитель нашего национального идеала — Александр Сергеевич Пушкин». Г. И. Успенский сначала было увлекся этими рассуждениями о стремлении русского скитальца к всечеловеческому счастью, но «на второй день» он уже увидел, что

«все скитальчески-человеческие народные черты — черты отрицательные». «Всечеловек» — «былинка, носимая ветром», «фантазер без почвы». «Смирись, гордый человек!» — призывал Достоевский, указывая, что путь русскому народу указывает Татьяна, которая прогнав всечеловека, поскольку он без почвы, жертвует собой во имя любви к всечеловеку, отдав себя «на съедение старику генералу».

Речь Достоевского была искусной попыткой сделать Пушкина знаменем мракобесия. Эта попытка, однако, не удалась. Поэт, как был, так и остался «символом пробуждения русской жизни». Очень характерно письмо Чаадаева к Пушкину от 18 сентября 1831 г. «О, как бы я хотел суметь вызвать сразу все могущество твоего поэтического духа! О, как хотел бы я в эту минуту извлечь из него все то, что — я знаю — скрыто у тебя на дне твоей поэтической души. И тогда, в один прекрасный день мы услышали бы одну из тех песен, которых так требует наш век». А каких песен ждал Чаадаев, об этом можно судить по его знаменитому философическому письму, за которое он был объявлен сумасшедшим и о котором Герцен писал: «Строгий и холодный автор требует отчета у России о всех страданиях, которыми она наделяет всякого, кто осмелился бы выйти из состояния скотины. Он хочет знать, что мы этою ценою покупаем, чем мы заслужили такое положение: он анализирует с неумолимым, приводящим в отчаяние глубокомыслием и, покончив с этим живосечением, с ужасом отворачивается, проклиная свою страну в ее прошлом, настоящем и будущем. Да, этот мрачный голос послышался только для того, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собою «лишь пробел в человеческом разуме, лишь поучительный пример для Европы».

Поэт не оставил нам этой песни, она не написана поэтом, но народ нашей страны, без различия национальностей, — «тунгуз и друг степей калмык» и «всяк сущий в ней язык» — внутренним чутьем и изучением творчества поэта почувствовали и нашли мотивы этой песни, нашли мотивы ненависти к поработителям народов, мотивы безграничной любви к человеку, мотивы стремления к светлой, солнечной многогранной творческой жизни, революционный оптимизм и умение поэтически воспринимать жизнь. Поэт стал в доподлинном смысле народным.

Гордый человек нашей страны не смирился, как звал Достоевский, а, создав счастливую, радостную жизнь своей страны, идет, руководимый партией Ленина—Сталина, под знаменем международной пролетарской революции к всечеловеческому счастью.

Этот человек провозглашает: Пушкин — наш!

А. Еголин

ВЕЛИКИЙ НАРОДНЫЙ ПОЭТ

Впервые за всю свою столетнюю историю творчество величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина обрело в сенародную славу. Великая страна победившего социализма чтит А. С. Пушкина, как создателя русского литературного языка и родоначальника новой русской литературы.

Только в Сталинскую эпоху небывалого подъема материального и культурного уровня советского общества возможно такое счастливое и глубоко радостное явление, как превращение юбилея поэта во всенародное событие. Пушкинские дни стали фактом исключительного культурного значения: одновременно с грандиозными мероприятиями советского правительства (миллионные тиражи сочинений Пушкина, памятники Пушкину и т. д.) ведется широчайшая популяризаторская работа художественного творчества в колхозах, на заводах, в школах, охватывая отдаленнейшие уголки нашей необъятной родины. Можно смело сказать, что Пушкин стал «любезен» всем народам многонационального Советского Союза.

С каким чувством восторга мы сегодня можем отметить, что сбываются, вернее — сбылись уже, великие слова Ленина об отношении народа к своим писателям (сказанные в связи со смертью Л. Толстого):

«Голстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот» (В. И. Ленин, 3-е изд., т. XIV, стр. 400).

Скорбная дата трагической смерти великого русского поэта А. С. Пушкина навсегда останется в памяти человечества, как позорное клеймо дворянско-крепостнического строя. Самый великий и самый любимый народный певец, «поэт в поэтах первый», был убит на дуэли, — как писал А. И. Герцен, — «одним из тех иностранных драчунов-забияк, которые, как средневековые наемники или швейцарцы наших дней, отдают свою шпагу за деньги к услугам всякого деспотизма. Он пал в полном расцвете сил, не окончив своих песен, не досказав того, что имел сказать» (А. И. Герцен, т. VI, под ред. Лемке, стр. 358).

Затравленный великосветской придворной чернью и убитый физически агентом дворянской реакции, А. С. Пушкин, перешагнув столетие, живет в социалистическом обществе, в сердцах миллионов освобожденного советского народа.

Народы Советского Союза хранят творения Пушкина, как величайшее достижение прошлого великого русского народа, как классическое наследство своего гениального певца. Массовый характер изучения поэзии Пушкина в СССР оказывает благотворное влияние и на научно-исследовательскую работу советских литературоведов. Социальная слепота некоторых ученых, сохранивших узко цеховой подход исследователей дореволюционного пушкиноведения, встречает решительный отпор нашей печати, выражающей голос миллионов советских читателей.

Успешному освоению лучших достижений литературы прошлого, пониманию принципов творческой практики великих русских писателей мешает вульгарный социологизм, получивший у части литературоведов большое распространение. Безмерная социологизация литературных явлений ведет к распылению художественного наследства. Великий писатель пролетариата М. Горький метко сказал по поводу подобных «проработок» классиков литературы: «Посмотрите, как долго мы помним, что Пушкин писал льстивые стихи Николаю I, Некрасов играл в карты, Лесков — автор романа «На ножах» и т. д. Это — злая память маленьких людей, которым приятно отметить проступок или недостаток большого человека, чтобы тем принизить его до себя» («Литературная газета», 1936 г., № 38).

Величие русской литературы многократно отмечали вожди мирового пролетариата. Ф. Энгельс указывал на «превосходные романы» русских писателей. В. И. Ленин, говоря о национальных задачах русской социал-демократии и роли передовой теории, замечает: «А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-

демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том в мировом значении, которое приобретает теперь русская литература» (В. И. Ленин, 3 изд., т. IV, стр. 381; разрядка моя — А. Е.).

Лишь стоя на точке зрения марксизма-ленинизма, можно понять могучую силу и величайшее значение русской литературы. С этой точки зрения только и раскрываются вся глубина и чарующая красота творчества великого русского поэта А. С. Пушкина.

Великая страна победившего социализма нашла в наследстве гениального поэта близкие революционному духу советского народа лучшие национальные черты. Пушкин, обогативший человечество своими дивными художественными творениями, бесконечно дорог нам, занятым гигантской работой по созданию культуры и литературы социалистического общества.

Пушкин писал: «Только революционная голова, подобная Марату и Пестелю, может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык».

Пушкина мы называем создателем русского литературного языка, ибо он первый из великих поэтов обратился к языку народа и понял, что художественная литература — национальное дело. Пушкин являлся в глазах народа гениальным поэтом, воспевающим в пленительных стихах жизнь страны, изобразившим народные характеры и показавшим неисчерпаемые богатства русского языка.

По справедливому определению М. Горького, «Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу, не искажая — в угоду государственной идее «народности» — лицемерным тенденциям придворных поэтов — он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу» («Литературная учеба», 1936 г., № 8, стр. 21).

Пушкина мы считаем родоначальником новой русской литературы, ибо его творчество обогатило нашу культуру произведениями величайшей художественной силы, отобразившими мысли и чувства передовых людей русского народа.

В эпоху крепостничества Пушкин отстаивал свободу личности, показывая в художественных образах крепостного крестьянина человеком, как и его барина. Пушкин был великим гуманистом в самом лучшем смысле этого слова, так как его поэзия исполнена — по замечательному определению В. Г. Белинского — «бесконечным уважением к человеку, как к человеку».

Пушкин — вдохновенный певец революционных идей декабризма, бросивший призыв к борьбе:

Тираны мира, трепещите!
А вы, мужайтесь и внимайте,
Восстаньте, падшие рабы!

В России, представлявшей тюрьму народов, в мрачайшую пору николаевской реакции, Пушкин мечтал о братстве народов. В стихотворении 1834 г., вспоминая о прошлой близости с польским поэтом Мицкевичем, Пушкин пишет:

Он между нами жил
Средь племени ему чужого, злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали его.

С теплотой и искренностью Пушкин описывал жизнь цыган, их быт и нравы.

В «Капитанской дочке» поэт рисует с большим вниманием черты характера уральского казачества и башкир. Пушкин одним из первых в литературе отметил поэтические особенности народа Грузии, «храбрость и умственные способности грузин».

Великий поэт сознавал себя певцом многонациональной страны и с изумительной проницательностью предсказывал:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Эти желания поэта реализовались полностью только теперь, в эпоху Великой пролетарской революции.

Роль Пушкина, как родоначальника новой русской литературы, отчетливее выступает при сравнении его творчества с литературой, ему предшествовавшей. По определению гениального критика Белинского,

Державин дал «намеки на поэзию», лишь «проблески ее»; Жуковский указал источники европейской поэзии; Батюшков дал «элемент чисто художественный...». «Муза Пушкина приняла... в себя, как свое законное достояние, творения предшествовавших поэтов» и «возвратила их миру в новом, преображенном виде».

Замечательную характеристику еще при жизни поэта, выражающую конкретно-исторические черты творчества Пушкина, дал Н. В. Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине» («Арабески»):

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

*

**

С лицейских лет Пушкин усваивает идеи политической свободы. «Кипит в груди свобода; во мне не дремлет дух великого народа» (стихотворение «Лицинию», 1815 г.).

«Пушкин дебютировал революционными стихами большой красоты», заметил А. И. Герцен (цитированное сочинение, т. VI, стр. 35). Оды «Вольность», «Деревня», многочисленные стихотворения и эпиграммы послелицейского периода красноречиво говорят об идеалах Пушкина, как передового человека своего века. Творчество Пушкина органически связано с развитием революционных идей, подготовивших декабрьское восстание 1825 г. Оно отразило просветительные идеи философов XVIII в., влияние буржуазной французской революции, освободительных национальных движений в Европе. Доминирующим мотивом произведений Пушкина является воспевание идеала свободы.

Романтические поэмы Пушкина характерны противопоставлением свободной жизни — светской, скованной условностями дворянского общества.

В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты
И неприязни двуязычной,

И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С весельем призраком свободы.

(«Кавказский пленник», 1820—21).

В поэме нарисован образ социально одинокого человека, устремленного к природе, рвущегося из «неволи душных городов». О характере пленника Пушкин писал: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодости XIX века».

В романтизме Пушкин искал новую форму, новые средства к разрушению правил классицизма. Пушкина подкупали в романтической поэтике простота и свобода в обращении с материалом. К моментам идеалистического и субъективного мировоззрения романтиков Пушкин оставался равнодушен. О «Братьях-разбойниках» Пушкин писал летом 1823 г. Бестужеву: «Разбойников я сжег, и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского; если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его».

Одновременно с мотивами байроновской поэзии легко заметить в поэме тон и приемы народной песни. О форме поэмы Пушкин был высокого мнения: «Как слог я ничего лучшего не написал», — заявлял поэт Вяземскому.

Уже в годы южной ссылки Пушкин начинает преодолевать байронизм.

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель,
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт, —
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом?

(«Евгений Онегин», гл. I, строфа 56).

Работая над «Борисом Годуновым», Пушкин ставит реалистическую задачу: «воскресить один из минувших веков во всей его истине». Поэт действительно «воскресил» в богатых образах продажность царедворцев, тщеславие, интриганство и т. д., показал кризис власти, роль народа в политической борьбе конца XVI в. Пушкин дал широкое изображение характеров. «Я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира», — говорил Пушкин о принципах построения своей драмы. Пушкин подчеркивал особенности явно реалистического подхода к обрисовке типов «Бориса Годунова»: «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях».

Роман «Евгений Онегин» — произведение, знаменующее расцвет пушкинского реализма. По определению В. Г. Белинского, «Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни». И действительно, анализ основных образов романа, изображения общества поместного и светского дворянства, художественных особенностей этого произведения — полностью подтверждает меткое определение гениального критика. Пушкин в «Онегине» дал поэтическое отражение целой исторической полосы русской жизни прошлого века.

М. Горький писал: «Онегин как тип только что сложился в 20-х годах, но поэт тотчас же усмотрел эту психику, изучил ее, понял и написал первый русский реалистический роман, — роман, который помимо неуядаемой его красоты имеет для нас цену исторического документа, более точно и правдиво рисующего эпоху, чем до сего дня воспроизводят десятки толстых книг» («Литературная учеба», 1936 г., № 8, стр. 11).

Недаром ведь Маркс и Энгельс до такой степени интересовались романом Пушкина, что составляли построчные словари к «Онегину», чтобы иметь возможность читать это реалистическое произведение в подлиннике.

Пушкин работал над романом в период наибольшей художественной зрелости таланта. И в отношении формы поэт достиг исключительных высот: роман в стихах, написанный особой «онегинской строфой», близкой к сонету, очаровывает читателя легкостью и простотой стиха.

Белинский писал о «Евгении Онегине»:

«Онегин» есть самое душевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такой полнотой, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь

вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение значит — оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое общественное значение». (Белинский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 572).

Роман «Евгений Онегин» писался в течение почти 8 лет — с 1823 по 1831 г. В 1825 г. движение декабристов после неудачного восстания было жестоко подавлено. «Первые годы, следовавшие за 1825, были ужасающие. Только лет через десять общество могло очнуться в атмосфере порабощения и преследований. Им овладела глубокая безнадежность, общий упадок сил. Высшее же общество с подлым и низким рвением поспешило отречься от всех гуманных чувств, от всех цивилизованных мыслей» (А. И. Герцен, Цитиров. соч., т. VI, стр. 364).

Добролюбов отмечал, что пушкинская «лирика полна грусти» (Н. А. Добролюбов, Полное собр. сочинений, т. I, стр. 115). Наибольшей силы эта грусть достигает в романе «Евгений Онегин».

Пушкин изображает разбитую жизнь «бедной Тани», преисполненную «немых ее страданий», гибель Ленского, «одиночество жестокое» Онегина.

В последних главах романа «Евгений Онегин» чувствуется сожаление автора о разбитых надеждах, горечь утраты. Какой тоской веет от последней заключительной строфы романа:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьянин милый идеал...

О, много, много рок отъял!

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Тон глубокой обреченности, ноты элегизма, безысходности чувствуется в последних строках любимого произведения, ибо для Пушкина

вместе с крахом декабризма терпели крушение дорогие ему мечты и идеалы.

Но грусть Пушкина не имела ничего общего с тем «отречением от всех гуманных чувств», которым было охвачено высшее дворянское общество в обстановке реакции конца 20-х и в 30-е годы. Наоборот, Пушкин в «Евгении Онегине» и последующих своих произведениях является личностью гуманной. Пушкин, — как правильно пишет Белинский, — «душой и телом принадлежит к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 637).

В 30-е годы Пушкин уже не призывает к мятежу, как это делал он до восстания декабристов. В условиях наступившей черной реакции, когда не было организованной силы, способной на отпор самодержавию, Пушкин считал бунт «бессмысленным».

Пушкин в своем творчестве освещает существенные стороны действительности, без чего, как говорил Ленин, оценивая творчество Л. Толстого, не может быть подлинно великих художественных произведений. Мысль Пушкина прикована к важнейшей проблеме эпохи: к взаимоотношениям помещика и крепостного крестьянина. Пушкин с исключительной остротой рисует картины народных восстаний, бунт крестьянства против рабовладельцев («Капитанская дочка», «История Пугачева», «Дубровский»). Правда, Пушкин в оценке крепостнической действительности не перешел на сторону другого класса. Ни крестьянство, ни буржуазия в ту пору не в состоянии были проявить себя силой, способной успешно бороться с дворянско-самодержавной Россией Николая I. Как правильно пишет В. Я. Кирпотин, «Пушкин осудил александровско-аракчеевскую и николаевскую действительность, но он не нашел опирающегося на созревшую историческую силу антагониста осужденной действительности» («Октябрь», 1936 г., книга 10, стр. 170).

Отвергая историческую прогрессивность стихийных крестьянских восстаний, Пушкин признавал, тем не менее, их закономерность. Пушкин доходил даже до морального оправдания бунтов, отмечая факты несправедливого отношения помещиков к крестьянам. И не уясняя причин народного движения, Пушкин возвысился до правдивого воспроизведения многих черт вождя крестьянства Пугачева. Пушкин с большой долей наблюдательности подчеркнул классовость интересов борющихся сторон. «Весь черный народ был за Пугачева... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пу-

гачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны» («Общие замечания» к «Истории Пугачева»). По характеристике Пушкина, Пугачев крепко связан с народом, человек умный, сметливый, исполненный чувства собственного достоинства.

Творчество Пушкина в последний период пронизано идеями гуманизма, отражает идеи просвещения, преисполнено верой в победу человеческого разума. В условиях реакции, наступившей после декабрьского восстания, одни дрогнули, стали раболепствовать перед престолом, другие — впали в скептицизм и пессимизм, отражая тем самым свое бессилие и одиночество.

Пушкин в 30-е годы был верен просветительным идеям философии XVIII в., он никогда не изменял своего «уважения к человеку, как к человеку» (Белинский).

Историческое место Пушкина, нам кажется, правильное всего определил А. И. Герцен, сказав о великом поэте:

«Одни думали, что ни к чему не придешь, если оставить Россию на бушуре Европы; они полагали свои надежды не на будущее, а на возврат к прошедшему. Другие видели в будущем только несчастье и разорение. Они проклинали убогую цивилизацию и апатичный народ. Душой всех мыслящих людей овладела глубокая грусть.

Одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос отдаленному будущему. Поэзия Пушкина была залогом будущего и утешением» (А. И. Герцен, Цитир. сочин., т. VI, стр. 365).

*

**

Пушкин — народный поэт в самом широком и глубоком смысле этого слова. Его творчество выражает прогрессивные стремления эпохи, мысли и думы передового общества. Белинский определял творчество Пушкина, как «с о в е р ш е н н о е в ы р а ж е н и е» своего времени.

Белинский говорил, что публика «видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности» (В. Г. Белинский, Литературно-критические статьи, 1936 г., стр. 274). Подлинно народными критик считал тех писателей, которые являются «великими вождями» своей страны «на пути сознания, развития, прогресса».

Оценивая субъективность Лермонтова, выраженную в его стихах, как проявление народности, Белинский говорит, что в грусти поэта

каждый узнает свою грусть. Тенденцию отрицательного отношения Лермонтова к крепостнической действительности критик воспринимает как черту народной поэзии.

Творчество Пушкина отразило дух свободолюбия и протеста, оно несло идеи просвещения, гуманизма, прославления разума. Идеи разума и поэзии органически объединены в представлении Пушкина:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

К вопросу о народности писателя надо подходить конкретно-исторически. Совершенно очевидно, что народность Пушкина или Гоголя иная, чем, скажем, народность Щедрина или Некрасова. Пушкин страстно любил свою родину, болел за ее недуги. Однако, в пушкинской народности дворянство не исключалось и не противопоставлялось народу, как это было несомненно в народности революционно-демократических писателей Щедрина и Некрасова.

В «Исторических заметках» 1822 г. Пушкин писал, что «существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян». «Просвещенное дворянство», по мнению Пушкина, является выразителем интересов народа, а народная свобода представляет «неминуемое следствие просвещения». Проблема судьбы «просвещенного дворянства» рассматривалась Пушкиным как проблема страны и народа в целом: «Желание лучшего содиняет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы».

В эпоху 20—30-х годов передовой слой дворянства выступал против самодержавия — за освобождение крестьянства от крепостного права, за прогрессивное развитие своей страны.

Белинский, характеризуя творчество Пушкина, убедительно доказал, что Пушкин — сын своего времени, выросший в определенной среде и условиях. И в то же время Пушкин — великий народный поэт, ибо его творчество выражало передовые тенденции эпохи и тем самым было поставлено на службу народа.

Творчество А. С. Пушкина характеризуется высшим уровнем современного поэту идейного развития и художественной культуры. Среди критиков Пушкина много было любителей поговорить о дворянской ограниченности, о классовых предрассудках поэта и т. д., но при этом не учитывались конкретно-исторические особенности эпохи.

Говоря о роли сословий и классов в освободительном движении России, Ленин писал:

«Эпоха крепостная (1827—1846 гг.) — полное преобладание дворянства. Это — эпоха от декабристов до Герцена. Крепостная Рос-

сия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли разбудить народ» (В. И. Ленин, Собр. соч., 3-е изд., т. XVI, стр. 575). Пушкин принадлежит к тем «лучшим людям» из дворянской среды, которые содействовали пробуждению широких слоев русского народа.

Здесь именно заключается объяснение того, почему Пушкин в одно и то же время и писатель, связанный с дворянской культурой, и народный, поскольку его творчество помогало народу успешнее идти вперед по пути своего освобождения.

Реализм Пушкина передает действительный смысл изображаемого, располагая явления в правильной исторической перспективе. Этому принципу Пушкин следовал не только в обрисовке крупных черт характерного, но и в каждом отдельном штрихе. Интересный факт можно привести из «Капитанской дочки». В «Пропущенной главе» говорится, что Гринев встречает плот, плывущий по Волге, с тройной виселицей, на которой повешены старый чуваш, заводской рабочий и крепостной крестьянин. «Только в наши дни, как правильно замечает Д. Д. Благой, исследователи с изумлением распознали, что в этом, как будто бы случайном, образе Пушкин пластично показал массовых союзников Пугачева — основные движущие силы крестьянской революции XVIII в.» («Литературная учеба», 1935 г., № 1, стр. 36).

Впервые верное представление основных черт художественного наследия Пушкина дали критики революционно-демократического направления: Белинский, Герцен, Чернышевский.

Чернышевский определил настолько ярко и верно историческую роль Пушкина, что его характеристика не устарела и к дням столетней годовщины великого поэта.

«Через него разлилось литературное образование на десятки тысяч людей, между тем как до него литературные интересы занимали немногих. Он первый возвел у нас литературу в достоинство национального дела, между тем как прежде она была, по удачному заглавию одного из старинных журналов, «приятным и полезным препровождением времени» для тесного кружка дилетантов. Он был первым поэтом, который стал в глазах всей русской публики на то высокое место, какое должен занимать в своей стране великий писатель. Вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще готовится Пушкиным» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. 1906 г., стр. 290—291).

Поколение революционеров-демократов связано уже с иной эпохой, чем та, в которой жил Пушкин. О шестидесятниках, по сравнению с дворянскими революционерами, Ленин говорил: «Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом» (В. И. Ленин, 3-е изд., т. XV, стр. 468).

Появление нового направления в русской поэзии, главой которого является Некрасов, было обусловлено выходом на историческую арену новых общественных групп, появлением новых читателей, с иными требованиями к литературе.

При этом новый поэт, удовлетворяющий запросы изменившегося читателя, пришел не вдруг. Был период «безвластия» в литературе, чутко подмеченный Некрасовым:

Тогда все глухо и мертво
 В литературе нашей было:
 Скончался Пушкин; без него
 Любовь к ней в публике остыла...
 В бореньи пошлых мелочей
 Она погрязнув поглупела...
 До общества, до жизни ей
 Как будто не было и дела.
 В то время, как в родном краю
 Открыто зло торжествовало,
 Ему лишь «баюшки-баю»
 Литература распевала.

Некрасов противопоставляет великого Пушкина поэтам 40-х годов. Дворянская поэзия оставалась в русле традиционной литературы, никогда не возвышалась до величия поэзии Пушкина.

Некрасов воспринимает Пушкина, как предшественника, как гуманиста, как своего учителя. О Пушкине, авторе «Вольности», Некрасов говорит:

Хотите знать, что я читал? Есть ода
 У Пушкина. Названье ей: «Свобода».

Именно Некрасов в русской поэзии явился продолжателем и наследником Пушкина, а не Фет, не А. Майков, которым в эпоху, когда «в родном краю открыто зло торжествовало», «до общества, до жизни» «не было и дела».

*

**

Наследство Пушкина оказывается живым и на сегодняшний день. Борьба с рабством, с средневековьем, явившимся в эпоху 20-го века

в виде фашизма, — за идеи гуманности, за свободу составляет первоочередную задачу современного передового человечества. Пушкин — знамя борьбы с темными силами прошлого.

Пушкин был бессилён перед всемогущим николаевским деспотизмом. Поэтому судьба его была трагична: он погиб в этой неравной схватке. Но его творчество, насыщенное идеалами гуманности, независимости человеческой личности, живет. Пушкин оказался ранним провозвестником многих идеалов последующих поколений. Радостная и жизнеутверждающая поэзия Пушкина в наше время становится средством воспитания подлинной человечности.

Любовь миллионов социалистической страны к Пушкину является тем величественным «нерукотворным» памятником, о котором мечтал гениальный народный поэт.

А. Ю. Эйдук

МАРКС — ЭНГЕЛЬС О ПУШКИНЕ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Гениальные вожди пролетариата, политики, экономисты и философы Карл Маркс и Фридрих Энгельс были, как известно, глубоко образованными и чрезвычайно многознающими людьми.

В частности, они очень хорошо знали художественную литературу. Эрудиция Маркса и Энгельса в области мировой литературы, хотя она и не была никогда предметом их специальных занятий, такова, что до сих пор может служить идеалом для любого историка литературы.

Желание охватить весь мир идей, неутомимая жажда знаний находят свое выражение в одном из юношеских стихотворений Маркса:

*Alles möcht ich erringen,
Jede schönste Göttergunst,
Und im Wissen wagem dringen,
Und erfassen Sang und Kunst.*

Круг интересов Маркса и Энгельса действительно очень велик. Из художественной литературы уже со школьной скамьи их интересуют не только античная и немецкая литературы, которые они знали отлично, но и литературы французская и английская. Круг их интересов в области художественной литературы позднее все расширяется и охватывает буквально всю мировую литературу. Помимо античной, немецкой, английской и французской, Маркс и Энгельс были весьма компетентными знатоками итальянской, испанской, персидской, датской, норвежской, русской и др. литератур.

Весьма любопытно, что Энгельс и Маркс проявили большой интерес к русскому языку и русской литературе еще тогда, когда русская литература на Западе почти-что не была известна.

Насколько можно судить по письму Энгельса (от 29 января 1851 г.) Марксу, к изучению русского языка он приступил еще в 1850 г. Систематическими эти занятия становятся с апреля 1852 г., когда Энгельс начинает брать уроки у русского эмигранта Эдуарда Пиндара.

20 апреля 1852 г. Энгельс сообщает Марксу, что к нему приехал Пиндар. «Желаю доказать ему свое хорошее расположение, — присовокупляет Энгельс, — я стал брать у него уроки русского языка».

В сентябре 1852 г. Пиндар переселяется в Париж, но Энгельс не бросает своих языковых занятий. «Бегство Пиндара сохраняет мне время, — отмечает он в письме Марксу от 7 сентября 1852 г., — я занимаюсь теперь русским языком *con amore, sine ira et studio* (с любовью и основательно) и уже кой-чему научился». (Соч., т. XXI, стр. 403).

Среди рукописей Энгельса сохранилось несколько тетрадей с упражнениями по русскому языку. Это — выписки из русских классиков. На первом месте среди них А. С. Пушкин и его «Евгений Онегин». «Евгения Онегина» Фр. Энгельс проработал с самого начала, с вступления.

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Переводя «Евгения Онегина», Энгельс в левом столбце страницы выписывал непонятные русские слова и их значение на немецком языке, а в правом — полный прозаический перевод.

Из цитированного вступления Энгельс почти каллиграфически вы-

писал, отмечая ударения, следующие слова: мысль, гордый, свет, забавить, дружба, хотеть, тебе, представить, залог, достойный, душа, прекрасный, исполненный, мечта, живой, ясный, дума, простота, но, так, пристрастный, принять, собранье, пестрый, глава, полусмешной, полупечальный, простонародный, небрежный, плод, забава, бессонниц, легкий, вдохновение, незрелый, увядший, лето, ум, холодный, наблюдение, сердце, горестный и замет.

Стало быть, из почти 60 слов, в нем имеющих, выписаны 43. Перевод сделан чрезвычайно тщательно. Несмотря на то, что стихотворение это трудно переводимо и познания Энгельса в русском языке в этот период еще не велики,— он успешно справляется со своей задачей.

Подобным же образом, как отмечает Ф. П. Шиллер¹, проработан «Медный всадник» Пушкина.

К этому же времени, повидимому, относится знакомство Энгельса с другими русскими классиками — Державиным, Грибоедовым и др. Первый из них цитируется в передовой Маркса—Энгельса, помещенной в «New-York Daily Tribune» от 25 июля 1854 г.

Эта статья, в которой речь идет о неудачах царской армии и об осаде Силистрии, начинается следующими словами: «Около 80 лет тому назад, когда победоносные армии Екатерины II отрывали от Турции одну провинцию за другой, превращенные тогда в то, что теперь называется Новороссией, в одном из стихотворений поэта Державина, выражающем лирический восторг, с которым он обычно превозносит если не добродетели, то славу этой императрицы, мы встречаем заслуживающую внимания фразу, которая и сейчас выражает высокопарную смелость и самоуверенность царской политики:

На что тебе союз? — о Росс!

Шагни — и вся твоя вселенна.

Это и сегодня было бы верно, если бы только русский мог продвигаться вперед; этому движению, однако, довольно энергично поставлен барьер». (Соч., т. X, стр. 108).

Известно, что Энгельс знал в оригинале произведения Чернышевского и Салтыкова-Щедрина. Указывается, что Энгельс читал роман «Что делать?».

Изучение русского языка Марксом началось значительно позднее. П. Лафарг вспоминает, что Маркс взялся за изучение русского языка в 50-летнем возрасте. Указание это представляется верным: в ноябре

¹ Ф. Шиллер. «Энгельс, как литературный критик», стр. 196, 1933.

1868 г., когда Марксу потребовались материалы о распаде прежних аграрных отношений в России, соответствующие переводы из русской литературы для него производил Боркгейм (см. письмо Маркса Энгельсу от 7 ноября 1868 г.), в то время как в конце 1869 г. он сам начинает уже читать в подлиннике книгу Флеровского «Положение рабочего класса в России».

В январе 1870 г. в одном из своих писем к Энгельсу жена Маркса отмечает, что по возвращении из Германии (в октябре 1869 г.) Маркс «с пылом и жаром» начал изучать русский язык.

Свою радость по поводу того, что Маркс засел за русский язык, Энгельс выражает в письме от 19 января 1870 г.: «Поздравляю тебя с успехами в русском языке. Ты приведешь в восхищение Боркгейма, да это и хорошо; мои познания в русском языке уже снова почти испарились, а когда твои испарятся, я смогу начать сначала» (Соч., т. XXIV, стр. 280).

«Неужели ты думаешь, что я за a few weeks (несколько недель), — отзывается Маркс 22 янв. 1870 г., — изучил русский язык настолько и знаю хотя бы не то, что ты позабыл, но столько, сколько у тебя осталось бы, если бы ты позабыл в три раза больше. Я ведь только еще начинающий».

Что Маркс здесь сильно преуменьшает свои познания русского языка, показывает хотя бы сообщение в том же письме, что он только-что закончил чтение главы «Тюрьмы и ссылки» Герцена.

Три недели спустя (11 февраля 1870 г.) Маркс сообщает Энгельсу, что прочел первые 150 страниц из книги Флеровского.

«Это — первое произведение, в котором сообщается правда об экономическом положении России, — оценивает Маркс книгу Флеровского. — Человек этот — решительный враг так называемого «русского оптимизма». У меня никогда не было радужных представлений об этом коммунистическом Эльдorado, но Фл[еровский] превосходит все ожидания. Поистине удивительно и во всяком случае показателем какого-то перелома является то, что подобная вещь могла быть напечатана в Петербурге.

«У нас пролетариев мало, но зато масса нашего рабочего класса состоит из работников, которых участь хуже, чем участь всякого пролетария» (эта фраза написана Марксом по-русски. — Я. Э.).

Способ изложения весьма оригинален, больше всего напоминает в некоторых местах Монтейя. Видно, что человек этот всюду разъезжал и наблюдал все лично. Жгучая ненависть к помещикам, капиталистам и чиновникам. Никакой социалистической доктрины, никакого аграрного мистицизма (хотя он и сторонник общинной собствен-

ности), никакой нигилистической утрировки. Кое-где имеется небольшая доза благодушной чепухи, которая вполне соответствует, однако, уровню развития тех людей, для которых предназначается эта книга. Во всяком случае это — самая значительная книга, какая только появилась после твоего произведения о «Положении рабочего класса в Англии». (Соч., т. XXIV, стр. 287).

Книга Флеровского очень заинтересовала также и Энгельса. Он просит сообщить русское название книги, так как собирается ее приобрести.

«Прочитанная фраза из Флеровского, — присовокупляет он, — первая русская фраза, которую я в полне понимаю без словаря».

Книга Флеровского и преследование ее автора в России еще долго являются предметом обмена мнений между Марксом и Энгельсом.

Наряду с экономическими, политическими и публицистическими книгами Маркс читает в подлиннике также и русских классиков. Уже в следующем (1871) году в одном из своих писем к русскому экономисту, народнику Н. Даниэльсону (Николаю—ону), он отмечает, что работы Добролюбова ему известны, и пишет: «я его, как писателя, сравниваю с Лессингом и Дидро».

В 1871 г. тому же адресату Маркс пишет, что значительная часть произведений Н. Чернышевского ему известна, а в послесловии к 2-му изд. «Капитала» (которое написано 24 янв. 1873 г.) называет Чернышевского «великим русским ученым и критиком».

П. Лафарг в своих воспоминаниях¹ рассказывает, что Маркс в течение каких-нибудь шести месяцев настолько овладел русским языком, «что мог с удовольствием читать русских поэтов и прозаиков, из которых особенно ценил Пушкина, Гоголя и Щедрина».

Из русских книг, имевшихся в библиотеках Маркса и Энгельса, сохранились, к сожалению, лишь немногие. Однако и среди них имеются книги художественного содержания — произведения Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

«Книги Салтыкова, — отмечает Б. Николаевский в своей статье «Русские книги в библиотеках Маркса и Энгельса» («Архив Маркса и Энгельса», т. IV, 1929), — прочитаны с большим вниманием и интересом. Об этом свидетельствуют отметки и подчеркивания Маркса на страницах книг «Господа Ташкентцы» (1873) и «Убежище Монрепо» (1880) Щедрина. Сохранились также бывшие в библиотеке Маркса «Дневник провинциала в Петербурге» (1876) и «За рубежом».

¹ П. Лафарг. «Воспоминания о Марксе», 1933, стр. 7—8.

В понимании Маркса и Энгельса художественная литература является одним из специфических средств познания реальной действительности и одним из сильнейших орудий классовой борьбы. Маркс зачастую прибегает к художественной литературе, когда ему нужно какую-нибудь свою мысль особенно подчеркнуть или иллюстрировать.

Для этих целей он пользуется мировой литературой, в том числе и русской.

В книге «К критике политической экономии» (глава «Теория средств обращения и денег») Маркс в сноске приводит иллюстрацию из «Евгения Онегина»: «В поэме Пушкина отец героя никак не может понять, что товар — деньги. Но что деньги представляют собою товар, это русские поняли уже давно, что доказывается не только ввозом хлеба в Англию в 1837—1842 гг., но и всей историей их торговли»¹.

Любопытно отметить, что Пушкиным интересовались не только Маркс и Энгельс, но, надо полагать, по совету Маркса, также и его друг — революционный поэт Фердинанд Фрейлиграт. Он, правда, не знал русского языка, но в его библиотеке имелись избранные стихи Пушкина в немецком переводе.

Маркс знал из русских классиков также и Гоголя, однако ближе всего ему, повидимому, был Пушкин. В его лице для Маркса воплощалась как бы вся русская литература.

Энгельс знал «Евгения Онегина» столь хорошо, что мог указать своим русским корреспондентам на такие положения у Пушкина, которые они, возможно, упустили из виду.

В письме к Николаю—оному от 29 окт. 1891 г. Энгельс отмечает: «Очень интересны ваши заметки по поводу того кажущегося противоречия, что у вас хорошая жатва не всегда означает необходимым образом понижения хлебных цен. Когда мы изучаем таким образом реальные экономические отношения в различных странах и на различных ступенях цивилизации, то какими странно ошибочными и недостаточными кажутся нам рационалистические обобщения XVIII века, хотя бы, например, доброго старого Адама Смита, который принял условия, господствовавшие в Эдинбурге и окрестных шотландских графствах, за нормальные для целой вселенной! Ваш Пушкин уже знал это, как и то,

...почему

Не нужно золота ему,

¹ К. Маркс. «К критике политической экономии». Партиздат, стр. 168, 1935.

Когда простой продукт имеет.
 Отец понять его не мог
 И земли отдавал в залог¹.

Маркс и Энгельс являются одними из первых на Западе, которые серьезно изучали и интересовались русской литературой и русским языком. Это лишний раз подчеркивает их глубокую и всестороннюю эрудицию в области мировой литературы.

Все виднейшие русские писатели, поэты и критики — Державин, Грибоедов, Гоголь, Пушкин, Щедрин, Некрасов, Герцен, Добролюбов и Чернышевский — находились в поле зрения Маркса и Энгельса. Если еще принять во внимание, что они были знакомы и с виднейшими русскими публицистами, экономистами и политиками, если еще отметить, что Энгельс до конца своей жизни не переставал следить за новейшей русской литературой (см. его письмо П. Эрнсту), — то без преувеличения можно сказать, что Маркс и Энгельс во второй половине XIX в. являются лучшими и наиболее глубокими знатоками русской литературы и общественно-политической жизни России на Западе.

А. С. Пушкина — родоначальника русской литературы и языка, обогатившего русский народ поэтическими произведениями, в которых с огромной художественной силой выражаются мысли, чувства и чаяния лучших людей России, — с полным правом можно присоединить к тем великим писателям мировой литературы, которых особенно любили и ценили основоположники научного коммунизма.

¹ Письмо К. Маркса и Ф. Энгельса к Николаю — ону, стр. 63, СПб, 1908.

С. Д. Балухатый

А. М. ГОРЬКИЙ О ПУШКИНЕ

Огромное очарование поэзии Пушкина, образ кипучей жизнерадостной природы поэта, исключительное значение его для истории русской литературы и литературного языка — непрерывно освещались Горьким в бесчисленных его статьях, мемуарных высказываниях, письмах и даже художественных произведениях.

Еще двенадцатилетним подростком Горький познакомился с произведениями Пушкина, а затем и его биографией, — и с этого времени светлая, радостная поэзия Пушкина, ее глубокое содержание и простота ее форм воспринимались Горьким как непревзойденный образец.

О первом знакомстве с поэзией Пушкина Горький, как известно, говорит в десятой главе своей автобиографической повести «В людях», где он образно описывает чтение поэм Пушкина. О своем впечатлении от поэзии Пушкина Горький говорит здесь такими словами:

«Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напомнил мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой...»

Горький-подросток заучивает наизусть стихи Пушкина и заводит тетрадку, куда записывает любимое. Среди записанного — «Руслан и Людмила».

Горький-юноша пробует писать стихи, — и мерилом качества настоящей поэзии для него явилась прежде всего поэзия Пушкина.

И в дальнейшем, до последних дней своей жизни, Горький пронес имя Пушкина через огромный ряд своих художественных и мемуарных произведений, обсуждая в них отдельные особенности творчества и личности поэта.

Общие оценки Горьким Пушкина необычайно высоки: «Пушкин и Толстой — нет ничего величественнее и дороже нам» (1919 г.), Пушкин «величайший в мире художник» (1925 г.), «колоossalнейший поэт наш», «гигант» (1934 г.); «несравненный ни с кем, человек совершенно изумительного таланта» (1929 г.). Или в других определениях: «Пушкин у нас — начало всех начал» (1911 г.), «гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России» (1917 г.).

Говоря о наиболее примечательных сторонах поэзии Пушкина, Горький прежде всего отметил исключительную, необычайную даже для крупных поэтов, широту его художественного гения: «Посмотрите, как широк диапазон его интереса к жизни, как много он охватил на земле, ему равно доступны и русская сказка и «Скупой рыцарь», «Борис Годунов» и «Работник Балда» — вот как нужно брать жизнь» (1914 г.). Горький говорит об исключительно широком образовании Пушкина и о том глубоком усвоении им явлений мировой культуры, которое позволило Горькому назвать его «европейцем».

Горький ценил также в Пушкине прекрасное знание темных сторон русской действительности. Горький вспоминает о вопле отчаяния Пушкина, влюбленного в свою родину и в то же время назвавшего Русь «проклятой», о горьком сетовании его на современные социально-бытовые условия жизни: «Даже гибкий, как меч каленой стали, Пушкин, один из славнейших великомучеников русских, и тот восплакал с тоски и обиды: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» (1912 г.). Горький особо отмечает то обстоятельство, что Пушкин, зная широко жизнь своей страны, сохранил трезвое к ней отношение: «Пушкин знает прошлое своей страны, но не оравлен им».

Поразительные, разносторонние знания и острота чувствований Пушкина позволили Горькому назвать его «всеведавшим», а глубина его мыслей, облакаемых в изумительно изящную художественно образную форму, была им определена одним словом — «мудрый». Горький говорил: «В томике стихов Пушкина или в романе Флобера я нахожу больше мудрости и живой красоты, чем в холодном мерцании звезд или в ритмическом прибое океанов, в шопоте леса или в молчании пустыни» (1925 г.).

Для Горького Пушкин — с его живым умом, с его упорной волей к жизни, со здоровой психической натурой, с жадным всесторонним восприятием текущей действительности и неиссякаемыми творческими возможностями — явился образом совершенного человека, что он и выразил такими словами: «Для меня человек по природе его — вели-

комученик, у которого нет желания сделаться святым и, погрузясь в дела мира сего, он стал просто великим человеком. Де Фоэ, Ломоносов, Руссо, Пушкин, Байрон, Менделеев, Лессепс и сотни подобных — вот что есть человек по природе своей. Надеюсь, я никого не обижу, напомнив, что некоторые из названных мною гениальных людей были людьми весьма «сомнительной нравственности» (1927 г.).

Историко-литературную характеристику творчества Пушкина Горький дал в ряде своих статей, оценив в них наиболее примечательные стороны многообразной деятельности поэта. Так, Горький прежде всего отметил, что Пушкин — один из первых русских писателей, обративший внимание на народное творчество, крайне богатое драматическим материалом, и использовавший в своем творчестве материал наших сказок. При этом Горький установил принципиальную разницу между восприятием народного материала поэтами-романтиками начала XIX в., пользовавшимися в своем творчестве по преимуществу мотивами «чудесного», «сверхчувственного», и «трезвым» реализмом Пушкина, не искажавшим подлинного смысла сказов.

На народной же основе Пушкин создал русский литературный язык. Об этом Горький говорил так: «Уместно будет напомнить, что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и — обработанный мастерами. Первый, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надо обрабатывать его» (1928 г.). Роль личного почина Пушкина в истории литературного русского языка Горький еще раз подчеркнул такими словами: «Начиная с Пушкина, наши классики отобрали из речевого хаоса наиболее точные, яркие, веские слова и создали тот «великий прекрасный язык», служить дальнейшему развитию которого Тургенев умолял Льва Толстого». И вот почему Горький еще в начале своей критической деятельности, в 1900 г., анализируя произведения наших классиков, решительно сказал: «Будущий историк литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов».

Огромное значение художественной деятельности Пушкина, по мнению Горького, в том, что он, подобно другим величайшим художникам слова, будучи опытным и поразительно даровитым писателем, обладая профессионально-изоощренным умением наблюдать, дал острую критику современной ему действительности; с исключительной зоркостью, с огрошной искренностью и суровостью вскрыл отвратительный порядок жизни, основанный на угнетении человека. Горький сказал: «Свифт, Рабле, Вольтер, Лессаж, Байрон, Теккерей, Гейне, Вер-

хари, Анатоль Франс и немало других — все это были безукоризненно правдивые и суровые обличители пороков командующего класса; у нас; в прошлом,—Грибоедов, Гоголь, Лев Толстой, Салтыков-Щедрин и несравненный ни с кем Александр Пушкин, человек совершенно изумительного таланта» (1929 г.).

Пушкин, по определению Горького, дал замечательные образцы искусства, — искусства не просто наблюдательного, не мелко-реалистического, но художественно-обобщенного, образно-систетического. Горький говорил, что Пушкин в совершенстве владел «выдумкой» и даром типизации, которые позволили ему в словесном искусстве изображения явлений жизни придать наибольшую убедительность художественным образам, углубили их смысл, показали их социальную обоснованность и неизбежность и привели к созданию таких произведений, как «Скупой рыцарь» и «Евгений Онегин».

Оценивая разнообразное и предельно выразительное, богатое индивидуальным содержанием творчество поэта, Горький, однако, предупредил, что оно не является результатом личного почина, индивидуальных усилий одной личности, но представляет из себя итог работы коллектива, сосредоточившего в одном лице свой огромный опыт. Литература, по мысли Горького, никогда не личное дело писателя. Вот почему, изучая типы, образы, созданные художниками слова и, в частности, Пушкиным, Горький советует подчеркивать преемственность идей и образов и не пренебрегать связями русской литературы с литературами иностранными. Он говорит: «Нужно знать также историю иностранной литературы, потому что литературное творчество, в сущности своей, одинаково во всех странах, у всех народов. Тут дело не только в формальной внешней связи, но в том, что Пушкин взял эту тему, вероятно, у английского писателя Стерна, из книги «Сентиментальное путешествие»... Важно убедиться в том, что издавна, всюду плелась и всюду плетется сеть «для уловления человеческой души», что всегда, всюду были, везде есть люди, которые ставили и ставят целью работы своей освободить человека от суеверий, предрассудков, предубеждений» (1928 г.).

Помимо характеристик, оценок, попутных замечаний о творчестве Пушкина, разбросанных Горьким в многочисленных критических и публицистических своих статьях, мы найдем ряд суждений о Пушкине, включенных Горьким в ткань своих художественных произведений. Обычно устами персонажей своих рассказов и повестей Горький говорит о личности великого поэта, о популярности его произведений, цитирует отдельные его стихи, использует тот или иной образ, — или через оценку героями своих рассказов личности и твор-

чества Пушкина характеризует их собственные взгляды. Эти упоминания мы найдем в рассказах и повестях «Проходимец», «Книга», «Рассказ о безответной любви», «Рассказ о герое», «Репетиция», «Дело Артамоновых», «О тараканах», «Жизнь Клима Самгина» и др.

Высказывания о Пушкине Горький записал и в своих мемуарных статьях — о Л. Андрееве, о Л. Толстом, о Л. Красине, — вспоминая в них, что говорили о Пушкине встречаемые Горьким лица.

Оценка Горьким творчества Пушкина не ограничивается приведенными, как бы мимоходом сказанными словами, рассыпанными в статьях и художественных произведениях писателя на всем протяжении его сорокапятилетнего литературного пути.

Примечательно, что однажды Горький особо внимательно продумал для себя творчество Пушкина в целом, в основных его чертах, и своими наблюдениями поделился с читателями-пролетариями. Это случилось в 1909 г., когда Горький в каприйской партийной школе читал для рабочих курс лекций по истории русской литературы. В этом курсе Горький дал большую развернутую главу о творчестве Пушкина, в которой прежде всего говорит о том, что такое исключительное явление в истории русской литературы, как Пушкин, возникло не сразу. Оно было подготовлено всем предшествующим ходом развития русской литературы. Но этим указанием Горький не отрицает личных исключительно высоких качеств Пушкина. Далее он говорит: «Пушкин шире, умнее, талантливее Жуковского, — он талантливее именно потому, что шире, он умнее и талантливее именно потому, что насыщен большим количеством знаний, он мастер стиха, превосходящий в технике своих предшественников, он таков именно потому, что у него были предшественники, отработавшие технику, каждый на свой лад, а Пушкин — мог и сумел объединить в себе всю ее новизну и гибкость».

Переходя к характеристике общественных позиций Пушкина, Горький устанавливает факт высокого самосознания и самоопределения Пушкиным себя как личности, гражданина и поэта. Пушкин — дворянин, но в его стихотворении «Моя родословная» звучит, по определению Горького, нечто новое по тем временам — именно «уверенность человека в его праве «читать самого себя» не только по заслугам предков, но за свои личные заслуги перед обществом». В понятие «дворянство» Пушкин, в условиях отдаления Александром I от себя русских, заменяемых им немцами, вкладывал «чувство собственного достоинства, сознание своей человеческой ценности и внутренней свободы».

Если, по словам Горького, до Пушкина литература расценивалась обществом, как светская забава, а литератор как мелкий чиновник, или в лучшем случае — как придворный, то «Пушкин первый почувствовал, что литература — национальное дело первостепенной важности, что она выше работы в канцеляриях и службы во дворце, он первый поднял звание литератора на высоту до него недостижимую: в его глазах поэт выразитель всех чувств и дум народа, он призван понять и изобразить все явления жизни».

Горький останавливается на оппозиционном отношении Пушкина к правительству, к Николаю I, к придворной аристократии его времени, говоря, что «по отношению к правительству Пушкин вел себя совершенно открыто», а к сильным представителям высшего общества — презрительно и насмешливо.

Особое внимание Горький уделит вопросу о презрительном отношении Пушкина к «черни». Известно, что в силу этого отношения реакционеры зачисляли Пушкина в свои ряды, а радикалы, вроде критика Писарева, отрицали за поэтом всякое значение. Горький показал, что презрительное отношение к «черни», к народу, было свойственно всем романтикам, утверждавшим, что поэт — существо высшего порядка, абсолютно свободное, не зависящее ни от государства, ни от народа. Романтики, поэты до Пушкина, не знали народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нем. Совсем иное отношение к народу было у Пушкина. Правда, он, подобно поэтам-романтикам, в ряде своих стихов определяет независимость позиции поэта от «суда глупцов и смеха толпы холодной», он даже дает исключительно резкое суждение о «черни», но в восприятии Пушкина, — по категорическому утверждению Горького, — под «черню» нельзя разуметь народ, русское крестьянство. Горький говорит: «Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу», «он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу». «Возьмите «Сказку о попе и работнике Балде», о золотом петушке, о царе Салтане и т. д., — во всех этих сказках насмешливое, отрицательное отношение народа к попам и царям Пушкин не скрыл, не затушевал, а напротив, оттенил еще более резко». Пушкин перевел с сербского ряд народных сказаний, записывал во время своих путешествий сказки и песни, собирал песни о Степане Разине, изучал народную жизнь и народную речь, описал жизнь деревни в «Истории села Горюхина». Горький напоминает, что «Пушкин учится русскому языку у Крылова, еще больше у своей няньки и всегда у ямщиков, торговков, в трактирах, на постоялых дворах, у солдат», что

нередко «он бросает жизнь столицы и едет в деревню насладиться простотой речей и ума и народною игрою». И Горький заключает: «Этот человек не мог под именем «черни» подразумевать народ — его он уважал и о силе его догадывался чутьем».

«Кто же та чернь, о которой поэт говорит с таким отвращением?» — спрашивает Горький, и здесь же дает ответ: «Несомненно, что под именем черни он подразумевал то светское, столичное общество, в котором жил». И Горький прослеживает по произведениям Пушкина резко отрицательное отношение его к светскому обществу, а по биографии поэта — враждебное отношение к нему светского общества, приведшее в конце концов к гибели поэта. Горький говорит: «Его судьба совершенно совпадает с судьбою всякого крупного человека, волей истории поставленного в необходимость жить среди людей мелких, пошлых и своекорыстных, — вспомните Леонардо да Винчи и Микель Анджело».

Общая характеристика Пушкина дана такими словами Горького: «Он не оставил ни одной стороны жизни, не осветив ее своим талантом, круг его интересов, широта знаний до сей поры остается непревзойденной. Он дал образцы всех форм литературного творчества: драму, роман, поэму, сказку, сонет и т. д.». «Пушкин для русской литературы такая же величина, как Леонардо да Винчи для европейского искусства».

Замыкается глава о творчестве Пушкина характеристикой Горьким значения творчества Пушкина для читателя-пролетария. Горький говорит: «Мы должны уметь отделить от него то, что в нем случайно, то, что объясняется условиями времени и личными, унаследованными качествами; все дворянское, все временное — это не наше, это чуждо и не нужно нам. Но именно тогда, когда мы откинем все это в сторону, — именно тогда пред нами и встанет великий русский народный поэт, создатель чарующих красотой и умом сказок, автор первого реалистического романа «Евгений Онегин», автор лучшей нашей исторической драмы «Борис Годунов», поэт, до сего дня никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы».

Значение творчества Пушкина для пролетариата, по утверждению Горького, в следующем: «На примере его творчества мы видим, что писатель, богатый знанием жизни, в своих художественных обобщениях выходит из рамок классовой психики, возвышается над тенденциями класса и объективирует нам этот класс... Несомненно, что Пушкин — дворянин, но нам важно знать, что уже в юности своей он почувствовал тесноту и духоту дворянских традиций, понял интеллек-

туальную нищету своего класса, его культурную слабость и — отразил все это, всю жизнь дворянства, все его пороки и слабости с поразительной верностью... ..В примере Пушкина мы имеем писателя, который будучи переполнен впечатлениями бытия, стремился отразить их в стихе и прозе с наибольшей правдивостью, с наибольшим реализмом, чего и достигал с гениальным умением. Его произведения драгоценное свидетельство умного, знающего и правдивого человека о нравах, обычаях, понятиях известной эпохи, — все они суть гениальные иллюстрации к русской истории».

Помимо специальной главы о Пушкине в курсе лекций Горького есть значительное число отдельных замечаний о великом поэте, включенных в главы о других русских писателях. В этих замечаниях Горький неоднократно говорит об эстетическом значении поэзии Пушкина, о его замечательной способности к широкому образному обобщению наблюдаемых жизненных явлений, о радостном восприятии им жизни, о широте знаний и универсальности литературного гения Пушкина, об историческом его чутье, о простоте и музыке его стиха. Как высоко положительный факт в высказываниях Пушкина, свидетельствующих о подлинном его «европеизме», Горький отметил его тягу к западной культуре, его отказ присоединиться к протесту против иноземщины, что имело место у предшественников Пушкина — Фонвизина, Новикова — и его современников (Грибоедов). Горький сказал: «Пушкин ясно понимал слепоту этого протеста нищих против богатых людей, предлагавших им свой драгоценный опыт». Горький утверждает, что родоначальником русского реализма является Пушкин, что «Гоголя-реалиста сделал Пушкин», дав ему темы «Ревизора» и «Мертвых душ». В одной из своих статей 1913 г. Горький писал: «Гоголь только тогда здоров и деятелен, когда его волю и воображение направляет европеец Пушкин». Горький вносит следующую радикально новую поправку в известную формулу Достоевского: «Достоевский, говоря о сострадании, как основной ноте русской литературы, сказал: «Вся русская литература вышла из «Шинели», рассказа Гоголя. Это несомненное преувеличение, мы с большим правом можем сказать, что реализм в русской литературе начат Пушкиным, именно его «Станционным смотрителем» и вообще им, и что основы гуманитарного отношения к униженным и оскорбленным людям заложены еще до Пушкина». Говоря о поэзии Лермонтова, Горький особо отметил, что «Лермонтов действительно понял Пушкина, понял его значение и один он проводил гроб поэта криком злости, тоски и мести».

Наибольшее число попутных, но в то же время принципиальных

высказываний Горького о Пушкине падает на советские годы, когда Горький в ряде своих статей и писем счел нужным вновь выделить и конкретно определить наиболее характерные особенности поэтического гения Пушкина и огромное познавательное значение его реализма.

В этих высказываниях Горький обычно воспринимает Пушкина в свете тех огромных задач, которые стоят перед советской общественностью и советским искусством. Горький предрекал нарождение в новых социалистических условиях «новых Пушкиных» и потому пылливо присматривался к молодым дарованиям: «Пишу со скрытой целью повлиять и на ваше отношение к «литературным младенцам». Уверенно ожидая появления в нашем мире крупнейших и даже гениальных художников, я не забываю, что Пушкин и Толстой были младенцами» (1928 г.). В докладе на съезде советских писателей в 1934 г. Горький говорил о том, что нельзя игнорировать литературное творчество национальных меньшинств только потому, что русских больше: «Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в прошлом — гигант Пушкин, отсюда еще не значит, что армяне, грузины, татары, украинцы и пр. племена не способны дать величайших мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества».

В своих статьях и письмах Горький часто горячо восставал против ложных ценителей Пушкина, против узкого или мещанско-обывательского подхода к Пушкину, против скороспелых отрицательных оценок его личности и творчества. Он гневно говорил о «литературных будочниках», «кои, якобы охраняя заветы истинной поэзии, традиции Пушкина и прочие хорошие вещи, опошленные их прикосновением, — плюют во все стороны пахучей желчью своей бездарности» (1900 г.). И в другом месте: «Посмотрите, как долго мы помним, что Пушкин писал лестные стихи Николаю I... Это — злая память маленьких людей, которым приятно отметить проступок или недостаток большого человека, чтобы тем принизить его до себя» (1912 г.).

Горький неустанно советовал читать Пушкина внимательно и чаще: «Читайте почаще Пушкина, это — основоположник поэзии нашей и всем нам всегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин устарел, не верьте, — стареет форма, дух же поэзии Пушкина нетленен». Горький завещал любить «простую и глубокую поэзию гениального поэта», а по поводу увлечения западной буржуазии творчеством Достоевского сказал: «Я предпочел бы, чтоб культурный мир объединился не Достоевским, а Пушкиным, ибо колоссальный и универсальный талант Пушкина — талант психически здоровый и оздоравливающий» (1931 г.).

Здоровое и радостное творчество Пушкина, вобравшего в себя исторический опыт народа-великана, Горький еще раз определил такими словами: «Каждый духовно здоровый человек являет собой как бы туго свернутую хартию, написанную впечатлениями исторического бытия его племени, его предков. В счастливых условиях эта хартия, развертываясь, обогащает нас такими радостными явлениями, как Шевченко, Пушкин, Мицкевич, — люди, воплощающие дух народа с наибольшей красотой, силой и полнотой» (1912 г.).

В высказываниях Горького о личности и творчестве Пушкина изумляет большая правда, сказанная им о поэте. В них замечательно то, что в свете социалистического восприятия огромного, сложного и разнообразного литературного наследия Пушкина Горький—великий пролетарский писатель, талантливейший сын трудового народа — углубленно вскрыл и необычайно простыми, яркими и точными словами определил объективное значение величайшего поэта нового времени в русской и мировой культуре. Горький со страстной убежденностью революционера и с огромным чутьем художника, беззаветно влюбленного в искусство слова, четко показал нам — какие стороны богатейшей поэзии Пушкина и исключительные качества его несравненной личности всегда будут дороги пролетариату.

Акад. А. С. Орлов

ПУШКИН — СОЗДАТЕЛЬ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Со времени выхода России из замкнутости средневековья, по мере охвата передовых групп русского общества XVIII в. «европейским мышлением», усилилась работа по реорганизации русского языка применительно к новым потребностям эпохи. Первыми аналитиками состава литературного языка и теоретиками новых его норм были Ломоносов и современные ему корифеи литературы Тредьяковский и Сумароков. Анализ этот лишь намечал отдельные элементы языка: славянский и русский, иначе — книжный и речевой, а синтез предлагал модификацию их согласно существовавшим тогда литературным формам. Находясь под преимущественным влиянием торжественных, декоративных жанров западного классицизма, первые наши теоретики переоценивали значение для языка парадной славянской стихии церковных книг. На практике, однако, они все обнаруживали и влияние западно-европейского языкового строя.

В конце XVIII в. в России возобладало влияние французского языка. Его тщательно выработанный строй был у нас признан наиболее подходящим к общей организации литературного языка. Главную роль в этом направлении явился Карамзин, использовавший для этой цели французский синтаксис и лексику, переводивший ее и приспособлявший к русскому словообразованию. Реформа Карамзина, основанная на языке французских предреволюционных салонов и на их изящной литературе, отличалась аристократизмом, аристократической отборностью языка и односторонней ограниченностью. Она вызвала протест со стороны консервативных литераторов, видевших в карамзинских новшествах уклонение от славянизма, как исконного элемента русской речи, который, так сказать, по праву мог быть основой формирования русского языка.

Во главе этих консерваторов стоял Шишков, придававший церковно-славянскому языку и религиозное и «патриотическое» значение. Свой протест против карамзинской реформы Шишков доводил до абсурда, но на практике не мог противопоставить литераторам «западникам» ни одного произведения своей манеры, которое оправдало бы его теоретические предложения. Кроме того, свои рассуждения он писал не без влияния языка карамзинистов. Тем временем карамзинская школа не прекращала своих литературных опытов и оправдала себя появлением настоящих поэтов, таких, как Жуковский и Батюшков. Но и эти поэты не вполне преодолели аристократическую ограниченность карамзинской реформы и, сверх того, в их произведениях даны образцы не всех литературных жанров. Явившись по преимуществу «гармонизаторами» языка, Жуковский и Батюшков не использовали его богатства в других отношениях.

Только Пушкин сумел внести в организацию русского литературного языка то соотношение элементов, которое сделало язык поистине национальным выражением сложившейся русской культуры. Пушкин вывел язык из узкоклассовых норм и подчинил русскому национальному началу вошедшие в него элементы западного происхождения. Уже в отроческих произведениях Пушкина сказались и чуткость в различении роли пестрых языкообразующих элементов и смелость в пользовании ими. Его не пугали ни славянизмы, которым он отвел в общей структуре соответствующее место, ни обиходное или крестьянское просторечие, оживлявшее искусственность книжного языка. Так, в одном из самых ранних своих стихотворений («Городок», 1814 г.) Пушкин не постеснялся передать вестн, собранные угодившей его старушкой, в таких выражениях:

Фома свою хозяйку
Не-за́-что наказал,
Антошка балалайку,
Играя, разломал...

Наивысшим выражением работы Пушкина над языком в юношескую пору является поэма «Руслан и Людмила» (1814—1820 гг.). Для современников Пушкина в ней оказалось совершенно неожиданное соединение литературной речи карамзинистов с разговорной речью авторского круга, с речью простонародья и даже со славянизмами. Большинство современных литераторов не помирилось с пестрым и противоречивым составом языка поэмы и встретило ее оживленной критикой, особенно нападая на фамильярные вульгаризмы.



*Portrait of Thomas Paine
(1794)*

1794
1794

1794

1794

По мнению «Вестника Европы» 1820 г., «Поэт и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику, например:

«...Шутите вы со мною —
 Всех у да в лю вас бородою!..»
 «Объехал голову кругом
 И стал пред носом молчаливо;
 Щекотит ноздри копием...»
 «Я еду, еду не свищу,
 А как наеду, не спущу».

Подобная критика сопутствовала Пушкину в течение всей его жизни. С начала 20-х годов против него выступали дворянские пуристы карамзинской школы, а позднее представители буржуазного смешанного стиля. Но Пушкин шел неуклонно своей дорогой и, продолжая гармонизировать язык в своих байронических поэмах, в одной из них выступил, как рассказчик из простонародья, что ему дало право использовать простонародные и фольклорные руссизмы. Мы имеем здесь в виду поэму «Братья-разбойники» (1821—1822 гг.), начинающуюся отрицательным сравнением русских песен: «Не стая воронов слеталась». Простонародные бытовые термины и выражения этой поэмы снова вызвали в критике целую бурю.

Замечательно то, что Пушкин не только творил язык в своих произведениях, как поэт, но и обсуждал методы языкотворчества, как ученый аналитик. Эти свои рассуждения он помещал в критико-публицистических статьях, начиная с 20-х годов. Главной темой рассуждений Пушкина была «народность», которую он находил и у корифеев западных литератур, понимая ее как отражение национальной «физиономии» в зеркале поэзии. «Не решу, какой словесности (из западно-европейских) отдать предпочтение, но у нас есть свой язык: смелее! — обычай, история, песни, сказки и проч». Для «своего» нового языка Пушкин собирал все богатство прошлого и настоящего, книжного и разговорного и особенно отстаивал простонародную стихию в ее обыденном и устно-поэтическом употреблении.

Задумав создать русскую романтическую драму, свободную от узких рамок классицизма, Пушкин остановился на исторической теме, для чего избрал трагический эпизод «Смутного времени», т. е. эпохи народных волнений и династических перемен. Задумав «Бориса Годунова», Пушкин добросовестно изучал и романтические схемы западной литературы (Шекспир) и материалы русской средневековой книжности. Руководясь для общего исторического фона карамзинской «Историей государства Российского», Пушкин вчитывался и



Пушкин. Автопортрет

в сырые материалы средневековья, чтобы извлечь оттуда языковые элементы, характерные для времени и подходящие для речевого разнообразия персонажей драмы. Пушкин ввел славянизмы в декламационную речь бояр и в бытовые выступления церковных типов. Но не одним этим достигнута была жизненность речи русского средневековья. Для русских простецов разного чина Пушкин использовал и подслушанное им русское просторечие, подкрепив его исторической пословицей и старинной песней или замечательными им подобиями. Чтобы оценить иллюзию языка пушкинской исторической драмы, достаточно указать на то, что ее приемы легли в основу старорусских драм Островского и Толстого и даже отразились на позднейших стихотворных переводах исторических хроник Шекспира.

Требовательная, не допускавшая отклонений от темы работа над «Борисом Годуновым» шла у Пушкина параллельно с «Евгением Онегиным», романом в стихах, где Пушкину не надо было «рыться в хронологической пыли», где он мог говорить своим собственным языком, непринужденной живой речью, лишь необходимо гармонизованной стиховой формой и поэтическим лиризмом. Здесь Пушкин показал характерность разных диалектов современного общества, от большого света до помещичьего уезда и деревни включительно. Роман писался с 1823 по 1831 г., так что по нему можно было бы проследить движение пушкинского языкового творчества. Этот творческий процесс не отличался включением новых элементов языка, но состоял в подчинении знакомых уже нам элементов национальной стихии и в стремлении к «нагой простоте» речи, без перифраз и традиционных метафор. Уже в «Евгении Онегине» формировалась фразеология пушкинской прозы. Обратим внимание еще на то, что здесь Пушкиным была дана идеальная норма языка русской женщины, в противовес изысканной речи салонной дамы, прославленной Карамзиным. Девичье письмо Татьяны с его простодушной откровенностью и прямоотой поразило современников, и никто из них не поверил автору, что он будто бы перевел его с французского. «Евгений Онегин» — это наилучшая композиция национального языка во всех его социальных диалектах.

С особым вниманием Пушкин изучал простонародную речь в ее поэтическом оформлении. Он перечел печатные сборники песен, собранных в XVIII в. (песенники Чулкова, Новикова, Прача и т. д.) и восходящих частью к средневековой старине (сборник Кириши Данилова), записывал и сам прямо из уст крестьян. Пушкин достиг такой полноты усвоения стиля народной поэзии, что его записи почти не отличимы от собственных подражаний им. Но причиной такой



Пушкин. Автопортрет. (Из рукописи «Евгений Онегин»)

совершенной иллюзии было не только усвоение формы. Пушкин заметил, что поэтический язык фольклора точно соответствует реальным чертам жизни и характерным представлениям простонародья. И это наблюдение позволило Пушкину создать свой фольклор, свои знаменитые сказки (1825—1833 гг.): «Жених», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Начало сказки» (о медведихе).

В песенке о начале весны, когда «Только что на проталинах весенних показались ранние цветочки...», Пушкин не только воспользовался образами устной поэзии (ср. «Ты воспой, воспой, жавороночек, сидючи на весенней проталинке»), но и пополнил их своими образами, достойными фольклора: первая пчелка вылетела поразведать «Скоро-ль у кудрявой березы распустятся клейкие листочки». Эти «клейкие» листочки забыть не мог Достоевский.

Что касается народной гармонизации языка в подражаниях Пушкина, то наиболее замечательна игра неполных рифм песен «О Стеньке Разине», например:

Стал Стенька Разин
Думати думу:
Добро, воевода.
Возьми себе шубу,
Возьми себе шубу,
Да не было б шуму.

С юных лет Пушкин постоянно говорит о простоте, как высшем качестве литературного языка. Ко второй половине своего творчества Пушкин довел поэтический язык до прозаической свободы, до разговорного строя, примером чего можно привести лексику «Рыцаря бедного»:

С той поры стальной решетки
Он с лица не подымал
И себе на шею четки
Вместо шарфа навязал...

Таким языком Пушкин облакал и другие свои произведения с западноевропейскими сюжетами, только модифицируя свои руссизмы соответственно теме («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и т. д.). Иллюзия чужой национальности до-

стигалась здесь не лексическими и фразеологическими идиомами Запада, а общепоэтическим пушкинским языком, который создавал иллюзию национальности соответствием речевой семантики национальным типам и положениям, быту и эпохе.

Прозаический язык Пушкин считал наивысшим выражением мыслей и уже со второй половины 20-х годов задумал посвятить себя созданию русской прозы. И он создал эту художественную прозу. В ней он еще более демократизировал язык, уточнил его, снабдил его лаконизмом и прозрачной простотой синтаксиса. Эти свойства сказываются не только в новеллах и повестях, но и в письмах Пушкина, в его исторических трудах и критико-публицистических рассуждениях.

Начав свое художественное повествование «Арапом Петра Великого» и «Повестями Белкина», Пушкин возвысился до «Дубровского», «Капитанской дочки» и «Пиковой дамы», достигнув в этих произведениях доньше непревзойденного мастерства. Правда языка соблюдена здесь в совершенстве, и если местами бытовая речь некоторых персонажей отзывается книжностью, то это отражает жизнь — так и было в офранцузенном обществе, к которому принадлежали выведенные лица. Любовь к национальному просторечию особенно сказалась в «Капитанской дочке», где над каждой главой стоят эпиграфы из народных песен.

Если говорят «пушкинский стих», то необходимо и созданную Пушкиным прозу назвать пушкинской. Ее язык — результат применения методов, выработанных Пушкиным в течение всей его жизни поэта, результат всех строгих требований, которым он неустанно подчинял свое творчество.

Основав свой литературный язык на всей широте «европейского мышления» и на всем богатстве диалектов русской речи Пушкин избежал узкоклассового назначения созданного им языка. Назначая свой язык для широчайших слоев русского общества, Пушкин творил его не только для своей эпохи, но и для будущего. Вот почему пушкинский язык доньше сохранил все свое великое значение в нашем социалистическом обществе.

В. В. Виноградов

ПУШКИН И РУССКИЙ ЯЗЫК

I

В языке Пушкина вся предшествующая культура русского художественного слова не только достигла своего высшего расцвета, но и нашла решительное преобразование. Язык Пушкина, отразив прямо или косвенно всю историю русского литературного языка, начиная с XVII в. до конца 30-х годов XIX в., вместе с тем определил во многих направлениях пути последующего развития русской литературной речи и продолжает служить живым источником и непревзойденным образцом художественного слова для современного читателя.

Стремясь к концентрации живых сил русской национальной культуры речи, Пушкин, прежде всего, произвел новый, оригинальный синтез тех разных социально-языковых стихий, из которых исторически складывается система русской литературной речи и которые вступали в противоречивые отношения в разнообразных диалектологических и стилистических столкновениях и смешениях до начала XIX в. Это были: 1) церковно-славянизмы, являвшиеся не только пережитком феодального языка, но и приспособившиеся к выражению сложных явлений и понятий в разных стилях современной Пушкину литературной (в том числе и поэтической) речи; 2) европеизмы (преимущественно во французском обличьи) и 3) элементы живой русской национально-бытовой речи, широким потоком хлынувшие в стиль Пушкина с середины 20-х годов. Правда, Пушкин несколько ограничил литературные права русского просторечия и простонародного языка, в особенности разных областных говоров и наречий, а также профессиональных диалектов и жаргонов, рассматривая их с точки зрения глубоко и своеобразно понимаемой им «исторической характерности» и «народности», подчинив их идеальному представлению об общепонятном языке «хорошего общества»¹. Однако «хорошее

¹ Подробнее см. в моей книге «Язык Пушкина», Изд. «Academia», 1935.

общество», по мнению Пушкина, не пугается ни «живой странности» простонародного слога, восходящего главным образом к крестьянскому языку, ни «нагой простоты» выражения, свободного от всякого «щегольства», от мещанской чопорности и провинциального жеманства.

Пушкин стремился к созданию демократического национально-литературного языка на основе синтеза дворянской культуры литературного слова с живой русской речью, с формами народно-поэтического творчества. С этой точки зрения представляет глубокий социально-исторический интерес оценка Пушкиным басенного языка Крылова, признанного в передовой критике 20—30-х годов XIX в. квинт-эссенцией русской народности, но с острым мелкобуржуазным и народно-поэтическим, фольклорным привкусом. Когда кн. Вяземский с аристократических позиций отрицал национальное представительство Крылова, Пушкин возражал Вяземскому, сочетая в своем письме каламбурный стиль Вяземского с языком Крылова: «Ты уморительно критикуешь Крылова, молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем духа русского народа — не ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял. В старину народ назывался смерд» (Соч. Пушкина, изд. Академии Наук, Переписка, I, 301).

Здесь Пушкин с необыкновенным остроумием и с политической свободой от узко-дворянской догмы применил к Крылову образ бесхвостой крысы из крыловской басни «Совет мышей». Известно, что в этой басне мыши, вздумавшие себя прославить, решили составить совет из одних длиннохвостых мышей.

Примета у мышей, что тот, чей хвост длиннее,
Всегда умнее
И расторопнее везде.
Умно ли то, теперь мы спрашивать не будем;
Притом же об уме мы сами часто судим
По платью иль по бороде.

Но на совете мышей оказалась среди длиннохвостых мышей и крыса без хвоста. Мышонок молодой возмущен ее обществом и говорит:

Какой судьбой
Бесхвостая здесь с нами заседает?
И где же делся наш закон?..
И можно ль, чтоб она полезна нам была,
Когда и своего хвоста не сберегла?
Она не только нас, подполицу всю сгубит.

А мышь в ответ: — Молчи! Все знаю я сама,
Да эта крыса мне кума.

Так Пушкин объявил Крылова бесхвостой «кумой» своего стиля и тем самым демонстрировал свой выход за пределы узко-классовой, аристократической культуры дворянского слова. Это было свободное признание демократических основ новой системы русского литературного языка. Народная поэзия стала для Пушкина наиболее ярким выражением «духа» русского языка, его основных свойств. «Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка», — писал Пушкин¹. «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка»².

Обращение «к свежим вымыслам народным и к странному просторечию», по мысли Пушкина, является одним из наиболее существенных признаков «зрелой словесности». Период «зрелости» русской литературы открывается творчеством Пушкина в 20—30-е годы XIX в.

II

Осуществляя своеобразный синтез основных стихий русской речи, Пушкин освобождал русский литературный язык от абстрактной, условной и неподвижной «классической» системы трех стилей, в пределах которой в эпоху Пушкина вращалась полемика между враждующими лагерями «европейцев» (школа Карамзина) и «славянофилов» (старое поколение последователей Шишкова и молодое поколение националистов-либералов типа Катенина, Кюхельбекера, Грибоедова и др.), от схематического прикрепления литературных жанров к рационалистически ограниченным и замкнутым категориям высокого, среднего и низкого слога.

Пушкин утверждает сперва романтическое, а затем — к 30-м годам и реалистическое многообразие стилей, многообразие стилистических контекстов, спаянных и обусловленных темой и содержанием. В пределах одной художественной композиции у него сталкивались и смешивались, образуя новое единство, экспрессивно и стилистически разнородные элементы (особенно в пушкинском языке с середины 20-х годов). В поэтическом слове Пушкина пришли в равновесие все основные стихии русской речи.

¹ Poleмические и грамматические заметки, связанные с рецензиями на «Евгения Онегина».

² Ответ на статью в «Атлане» об «Евгении Онегине».

«У Пушкина впервые легко и непринужденно сошлись в одну речь и церковно-славянская форма и народное речение, и речение этимологически чуждое, но усвоенное мыслию, как ее собственное, ни одному языку исключительно не принадлежащее и всеми языками равно признанное выражение»¹.

Границы между традиционными тремя стилями русского литературного языка XVII и XVIII вв. были окончательно стерты Пушкиным. Вследствие этого открылась возможность бесконечного индивидуально-художественного варьирования литературных стилей. Пушкин наметил основные приемы и принципы стилистических смещений в сфере лексики и синтаксиса, предопределивших поразительное разнообразие художественных композиций.

Вот несколько примеров смешения руссизмов с церковно-славянизмами или с «европеизмами»:

Он видит: Терек разъяренный
Трясет и точит берега.
Над ним с чела скалы нагбенной
Висит олень, склонив рога.

(«Путешествие Онегина»).

Ср. у Жуковского:

Вы, ели, наклонясь с седой главы утеса,
На светлый, о скалу биющийся поток...

(«Гимн», 1808)

Не дай мне бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума,
Нет, легче труд и глад.
...Как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я шел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

(«Не дай мне бог»).

Ср.:

И тяжким пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались.

(«Разговор книгопродавца с поэтом»).

¹ Русский Вестник, 1856, январь и март. Ср. «М. Н. Катков о Пушкине», М. 1900.

Он сперва хотел победы,
Там уж смерти лишь алкал

(первоначально было:

После смерти лишь искал).
(«На Испанию родную»).

...Но я не внемля им,
Все плакал и вздыхал унынием тесним,
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились.
(«Странник»).

Ср.:

Когда не видишь в них безумного разврата,
Престола, алтарей и нравов супостата,
То, славы автору желая от души,
Махни, мой друг, рукой и смело подпиши.
(«Второе послание к цензору» 1824).

Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой;
Кто жертва чести боевой,
Кто Почечуя, кто Киприды.
(Отрывки из «Путешествия Онегина»).

Вот бегают дворовый мальчик,
В салазки Жучку посадив,
Себя в коня преобразив.
(«Евгений Онегин», 5, II).

Смешение разных социально-языковых и стилистических категорий, по мысли Пушкина, должно было служить средством индивидуально-поэтических новообразований в пределах общенациональной литературной нормы. Пушкин, создавая свои индивидуально-художественные сплавы, тем самым указывал предносившийся ему путь дальнейшего развития всему литературному языку. Однако, в тех случаях, когда употребление одного какого-нибудь круга понятий или одного социально-языкового жанра стилистически мотивировано, когда оно требуется сюжетом, бытовой ситуацией, реалистическим понятием правдоподобия, Пушкин тщательно заботился о характеристическом единстве стиля, устраняя все те фразеологические и грамматические шероховатости и диссонансы, которые могли бы восприниматься как нарушения или разрывы воспроизводимого социально-

культурного контекста. Именно на этом принципе основана гениальная тонкость и структурная выдержанность многообразных стилистических отражений и перевоплощений художественной действительности в языке Пушкина.

Напр.:

Короля в уединеньи
 Стал лукавый искушать
 И виденьями ночными
 Краткий сон его мутить¹.
 Он проснется с содроганьем,
 Полон страха и стыда,
 Упоение соблазна
 Сокрушает дух его.

(Но ср. первоначально светско-лирическую французскую фразеологию этих последних стихов:

Упоенье неги сонной
 Наполняет дух его).
 Хочет он молиться богу
 И не может. Бес ему
 Шепчет в уши звуки битвы
 Или страстные слова.

(Ср. в черновике:

Он в уме
 Повторяет клики битвы...)

(«На Испанию родную», 1835).

Ср. также в стихотворении «Как с древа сорвался предатель ученик»:

Там бесы, радуясь и плеща, на рога
 Приняли с хохотом всемирного врага
 И шумно понесли к проклятому владыке,
 И сатана, шривстав с веселием на лике...

«Хохот», хотя и разговорное слово, не создает экспрессионного диссонанса в данном смысловом кругу. От него падает гротескная тень на бесов. Но улыбка сатаны (первоначально в черновике:

¹ Ср. в «Борисе Годунове»:

А мой покой бесовское мечтанье
 Тревожило, и враг меня мутил.

«И сатана, при в с т а в с у л ы б к о ю на лике» не вязалась с экспрессией окружающих фраз и была с необычайной проникновенностью заменена библейским «веселием на лике»¹.

. Пушкин пользуется словом как многообразной и многопланной, противоречивой, но внутренне объединенной, целостной системой взаимно связанных значений. В стиховом языке отдельные значения слов смешиваются, сочетаются при этом в сложное семантическое единство. Многозначность слова из исключительного, каламбурно-художественного свойства становится его внутренним органическим признаком. И особенно остро воспринимается в языке Пушкина стилистический синтез таких значений слова, которые в общелитературной речи уже готовы были разойтись как омонимы, как разные слова. Таким образом те значения, которые с точки зрения бытовой речи несовместимы в одном акте словоупотребления или могут столкнуться лишь в каламбурной игре, в поэтическом языке Пушкина оказываются неразрывно слитыми, предполагающими одно другое. От слова одновременно идут смысловые излучения в разных направлениях. Напр.:

Мы алчем жизнь узнать заране,
Мы узнаем ее в романе...
Прелестный опыт упреждая,
Мы только счастию вредим.

(«Евгений Онегин», гл. I, строфа IX, черн. рукопись).

Здесь слово прелестный сразу обозначает: и 1) очаровательный, чудный, прекрасный, богатый наслаждениями и 2) обольстительный, связанный с обольщением, соблазнами².

Еще ярче эта своеобразная «двустворчатость» пушкинского слова обнаруживается в таких стихах:

¹ В этой связи уместно отметить поразительную нечуткость к пушкинскому стилю у Вал. Брюсова, внесшего в выдержанный церковно-книжный строй стихотворения «Отцы пустынные и жены непорочны» эротическое слово нежить:

И нежит падшего неведомою силой.

— вместо:

И падшего крепит неведомою силой.

² Ср., впрочем, в «Руслане и Людмиле»:

Прости, мой северный Орфей,
Что в повести моей забавной
Теперь во след тебе лечу
И лиру музы своенравной
Во лжи прелестной обличу.

И тут же:

Остался в счастливой глуши
С тобой, друг милаый, друг прелестный,
С тобою, свет моей души!

Бывало нежные (важные) поэты
 В надежде славы и похвал
 Точили тонкий мадригал
 Иль остроумные куплеты.

(«Евгений Онегин», III, стр. XI).

Здесь точить, с одной стороны, особенно в соседстве с тонким, понимается как каламбурно-метафорическое развитие значения: обтачивать, остроумно отделять¹. Но, с другой стороны, слово точить идиомой — точить лясы, точить балясы (ср. подпускать лясы) увлекалось в иной смысловой круг². И отголоски этих метафорических ассоциаций были особенно ощутительны в «Евгении Онегине», так как именно в этой связи слово точить нашло доступ к обозначению понятий речи, слова.

Ср. в послании к кн. А. М. Горчакову (1819):

Когда в кругу Лаис благочестивых
 Затянутый невежда-генерал
 Красавицам внимательным и сонным
 С трудом острит французский мадригал.

Таким образом преобразуются традиционные поэтические формулы. Для иллюстрации этого процесса индивидуально-художественного обновления и экспрессивно-стилистического преобразования традиционных фразовых клише в языке Пушкина интересен пример употребления выражения — «и больше ничего».

В «Гавриилиаде»:

Он как отец с невинной жил еврейкой,
 Ее кормил — и больше ничего.

В «Медном всаднике»:

И он как будто околдован,
 Как будто к мрамору прикован,
 Сойти не может! Вкруг него
 Вода и больше ничего³.

¹ Ср. у А. А. Марлинского в «Испытании»: «подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера» (Русские повести и рассказы, ч. 1, стр. 51).

² Ср. в эпиграмме «Дамского журнала» (1829, № 4) на поэмы Баратынского («Бал») и Пушкина («Граф Нулин»):

Два друга, сообщась, две повести издали,
 Точили балы в них и все нули писали.

³ Ср. также в «Евгении Онегине»:

Нам просвещение не пристало,
 И нам досталось от него

Ср. иную морфологическую структуру и иную стилистическую окраску этого выражения в одическом стиле XVIII — начала XIX в.

Не камень гибну́щий величье
 В потомстве позднем нам придаст
 И не порфи́рны обелиски
 Прославят нас, превознесут.
 Увы! несчастен, кто оставил
 Лишь их — и боле́ ничего!

(Жуковский, «Добродетель», 1798).

Вместе с тем условная фразеология старого литературного языка подвергается в языке Пушкина со второй половины 20-х годов реалистическому переосмыслению. Застывшие фразы этимологически конкретизируются, перерождаются, разлагаясь на составные элементы или скрещиваясь со словами бытовой речи, со словами наглядного, вещественного содержания. Фраза сталкивается, срывается с традиционных стилистических позиций и вдвигается в новые смысловые ряды. Вследствие этого отвлеченные формулы приобретают живость образного неологизма.

Напр.:

Страдалец мыслит жизни нить
 В волнах чудесных укрепить.

(«Путешествие Онегина»).

Он звуки льет — они кипят,
 Они текут, они горят,
 Как поцелуи молодые,
 Все в неге, в пламени любви,
 Как зашипевшего Аи
 Струи и брызги золотые.

(«Путешествие Онегина»)...

Пушкин возвращает слову простоту и полноту отражения действительности. Недаром Проспер Мериме вослищался и поражался биб-

Жеманство — больше ничего.

(2, стр. XXIV)

Не в силах Ленский снести удара;
 Проказы женские кляня,
 Выходит, требует коня,
 И скачет. Пистолетов пара,
 Две пули — больше ничего.
 Вдруг разрешат судьбу его.

(5 стр. XLV).

лейской простотой выражения: «Родила ль Екатерина... в «Пире Петра Великого».

Со второй половины 20-х годов в поэтическом языке Пушкина все углубляется предметная, реальная обоснованность словоупотребления.

Характерна такая поправка в «Черепе»:

Почтенный череп сей не раз
П(Д) арами Вакха нагрелся!¹

Традиционная фраза литературного языка XVIII в.—«д а р а м и В а к х а» — заменялась острым бытовым образом («п а р а м и В а к х а»), который являлся метафорическим восполнением глагола н а г р е в а т ь с я.

Ср. у Батюшкова:

И в отческий сосуд, наследие сынов,
Лишь багряный сок из Вакховых даров.

(«Тибуллова элегия»).

Пушкинский прием простого реалистического названия предметов, действий и протекающих картин, без всяких «поэтических» украшений, приводивший к энергичному и быстрому повествованию, мог восприниматься лишь как пародия на фоне господства тех изощренно-эмоциональных, богатых качественными оценками и определениями, симметрически построенных описаний и изображений, которые были характерны для романтических и риторических стилей первой трети XIX в. Яркой иллюстрацией этой художественной антитезы может служить сопоставление вызвавшего иронические отзывы критики описания вечера в «Евгении Онегине» (в 7 главе) и «Сельском кладбище» Жуковского.

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбащий...

Уже бледнеет день, скрываясь за
горю,
Шумящие стада топятся над рекой.
Усталый селянин медлительной сто-
пою
Идет, задумавшись, в шалаш спо-
койный свой.
В туманном сумраке окрестность ис-
чезает...
Повсюду тишина, повсюду мертвый
сон.
Лишь изредка, жужжа, вечерний
жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов уны-
лый звон.

¹ Соч. Пушкина, изд. Академии Наук, т. IV, 359.

Надеждин даже намекал на общее сходство пушкинского стиля с комическими сочинениями, вьворачивавшими наизнанку высокие жанры. Конечно, привести внешние параллели нетрудно.

Например, у Ивана Наумова в «Российском сочинении» «Ясон похититель золотого руна во вкусе нового Енея»:

Вулкан по данному приказу,
Тащил Зевесов экипаж.
Хотел исправить по заказу,
Кричал: кураж, Вулкан, кураж¹.

Ср. в «Графе Нулине»:

Кой-как тащится экипаж;
Вслед барин молодой хромает;
Слуга-француз не унывает
И говорит: Allons, courage!

Стилистическое многообразие Пушкина является следствием синтетических его устремлений. Еще Н. А. Полевой метко охарактеризовал синтетический тип пушкинского языка: «Стих русский гнулся в руках его, как мягкий воск в руках искусного ваятеля; он пел у него на все лады, как струна на скрипке Паганини. Нигде не является стих Пушкина таким мелодическим, как стих Жуковского, нигде не достигает он высоты стихов Державина, но зато в нем слышна гармония, составленная из силы Державина, нежности Озерова, простоты Крылова и музыкальности Жуковского. Вся классическая чопорность с него сбита совершенно» (Очерки русской литературы, 1, 164).

Вместе с тем в стиле Пушкина, а через его посредство и в русском литературном языке вообще, благодаря осуществленному синтезу разнородных стихий языка, «мысль получает возможность пользоваться особенностью каждого предложения и каждого оборота речи, и вследствие того становится способною сохранить в выражении всю оригинальность и жизненность своего развития, отпечатлеваясь всеми своими сторонами и вызывая все сродные ей настроения, распространяющие ее действие до глубины души» (Рус. Вест., янв. 1856).

III

Создавая многообразие индивидуальных средств художественного выражения и художественной композиции, Пушкин нередко строил

¹ Ирон-комическая поэма. Редакция и примечания Б. Томашевского, стр. 559. 1935;

новые литературные формы на фундаменте самых разнообразных стилей русской и мировой литературы (всегда в том или ином отношении характерных или культурно-значительных). В творчестве Пушкина с начала 20-х годов до середины 30-х годов разнообразные стили мировой литературы представляли боевой арсенал освоенных поэтом художественных форм, сквозь призму которых Пушкин — в зависимости от своего выбора — рассматривал разные эпохи и разные стороны действительности и при посредстве которых воплощал, а иногда и пародировал сложнейшие темы и сюжеты. Художественное мышление Пушкина — это мышление литературными стилями, все многообразие которых было доступно поэту. Пушкин писал стилем русской народной поэзии, стилем Библии, Корана; стилем Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова, В. Петрова, Хвостова, Державина; стилем Жуковского, Батюшкова, Козлова, Языкова, Дениса Давыдова, Дельвига, Гнедича; стилем Байрона, Шенье, Горация, Вордсворта, Мюссе, Данте, Петрарки и других писателей мировой литературы. Пушкин доказал способность русского языка творчески освоить и самостоятельно, оригинально отразить всю словесно-художественную культуру Запада и Востока.

Еще С. П. Шевырев так писал о пушкинских подражаниях Данте («И дале мы пошли»): «Дух всей этой пьесы, поэтические стихи, доведенные до высшей степени совершенства, до того напоминают дух и стиль Данте в некоторых песнях «Ада», что удивляешься нашему славному автору, как умел он с одинаковой легкостью и свободой переноситься в дух древней греческой поэзии, восточной, в Шекспира и в Данте»¹.

П. В. Анненков по поводу таких стилизованных произведений Пушкина (как подражания Корану, Шенье, Данте и т. п.) не раз подчеркивал: «Пушкин любил испытывать свою способность усваивать чуждые приемы и принимать, по произволу, различные формы и оттенки стихотворства»². Анненков видел в таких произведениях «результат артистической потребности воспроизвести содержание и манеру других поэтов»³.

Ап. Григорьев также удивлялся этим пушкинским «пробам в разных манерах»⁴.

¹ Московитянин, ч. 5, № 9, 1841. Ср. у Анненкова в «Материалах»; «пьеса эта может служить разительным свидетельством как артистической способности Пушкина усвоить все формы, так и подвижности его таланта».

² Материалы для биографии Пушкина, 348—349, 1855.

³ Ibidem, 344.

⁴ Соч. А. Григорьева, т. 1, 1876, Статья «О правде и искренности в искусстве», стр. 233.

Ю. Веселовский писал о пушкинском воссоздании стиля А. Шенье в стихотворении «Андрей Шенье в темнице»: «Те стихи, которые он дважды вкладывает в уста французского поэта..., выдержаны в духе подлинных стихотворений Шенье» (Comme un dernier rayon и La jeune captive)¹.

О незавершенном стихотворении Пушкина «Как весенней теплою порою» акад. В. Ф. Миллер писал: «Перед нами как будто запись подлинной народной песни; но, всматриваясь в нее ближе, мы замечаем, что это — попытка к художественному воспроизведению, руководимая замыслом сохранить весь колорит народности, народный юмор, меткие характеристики, типический стих, — попытка, дающая, как справедливо выразился Анненков, впечатление деревенской песни, пропетой великим мастером». И далее отмечается, что нет возможности, кроме «старинны о птицах», точно указать весь широконародный материал, которым воспользовался Пушкин. «По всей вероятности, это не была одна определенная песня. В сказке о медведице мы видим скорее... художественное собрание в один фокус народных красок, запечатлевшихся в богатой памяти поэта» (Пушкин, как поэт-этнограф, 47—49)².

Н. Н. Страховым с большим блеском развивалась мысль о необыкновенной способности Пушкина творчески воспроизводить «дух и манеру» самых разнообразных литературных стилей³. Доказательство — многочисленные «пародии» Пушкина, «удивительные по глубине и мастерству, лучшие пародии, какие когда-либо были писаны». Самому понятию пародии Страхов придает углубленное значение: «Чем ближе пародия к подлиннику, тем она выше... Такая пародия требует полного и меткого указания тех противоречий, которые пародируемый писатель представляет в отношениях к действительности, или к идеалу. Из-за настоящей пародии должен выглядывать тот взгляд на предмет, то лучшее и высшее его понимание, против которого фальшивит пародируемый автор». Другими словами: в пушкинских «пародиях» тот или иной литературный стиль не только отражается и воссоздается со всеми его структурными особенностями, но и получает яркий отпечаток художественного стиля самого Пушкина, его творческой индивидуальности с присущими ей формами миропонимания и мироощущения.

В сущности, и Н. Н. Страхов считает склонность Пушкина к па-

¹ Статья «Пушкин и Шенье», Соч. Пушкина, изд. Брокгауза и Эфрона, т. III, стр. 584.

² Ср. М. К. Азадовский, Источники сказок Пушкина. Временник Пушкинской комиссии, 1, 1936.

³ Заметки о Пушкине и других поэтах. Киев, 2-е изд., 1897.

родированию лишь частным проявлением гениальной способности виртуозного владения самыми разнообразными литературными стилями. Для Пушкина «все формы были равны; с удивительной гибкостью он ценил и уловлял все достоинства данной формы и умел приспособляться к ее стеснениям». В каждой он чувствовал себя почти одинаково ловко. Пушкин употреблял в дело богатейший запас внешних форм, какой он нашел в литературе своей и чужой. Вместе с тем он свободно «перенимал весь склад речи, все настроение и тон» любимого поэта (ср. стиль Жуковского в стихотворении «Если жизнь тебя обманет», стиль Языкова в посланиях к Языкову, державинский в «Памятнике», стиль Вяземского в письмах к Вяземскому и т. п.). В пушкинских отражениях воспроизводимый стиль «был насквозь проникаем светом поэзии, и все его краски, темные и светлые черты выступали с совершенною яркостью и тонкостью». Так, в отрывке «Цезарь путешествовал» художественно воссоздан прозаический стиль классической латыни. «Трудно рассмотреть даже внешние приемы, при посредстве которых совершенно это чудо искусства; чуть-чуть заметные латинские обороты, плавность течения, несколько отвлеченные, но совершенно точные слова. Но главное дело кажется в том внутреннем строе речи, в силу которого ясность и краткость доведены здесь до величайшей степени».

Необходимо привести две-три новых и притом развернутых иллюстрации. Так, пушкинское послание «Козлову» не только все соткано из мотивов козловской поэзии, но является ярким отражением стиля Козлова. Достаточно указать несколько параллелей:

У Пушкина в стихотворении
«Козлову»:

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир зем-
ной,

Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

У Козлова в стихотворении
«К другу В. Жуковскому»¹:

Но вдруг, тогда, как надо мной
Рок свирепел и вечной мглой,
И безотрадными годами
Мою он душу ужаснул...
...но уже скрывался
Мне милый вид в какой-то тьме.
Он исчезал, сливался с
мглою.

Как ангел мирный, благодатный,
Как вестник милости небес,
Незримый, тайный, но понятный,
Носилось что-то надо мной:

¹ Стихотворения И. И. Козлова, стр. 32, СПб. 1892. Ср. И. Козлов, А. Подолинский, Стихотворения, стр. 67 и 73. 1936.

Душа отрадный глас ловила...
 А там с улыбкой прилетел
 И новый ангел-утешитель
 И сердца милый ободритель,
 Прекрасный друг тоски моей:
 Небесной кротостью своей
 И силой нежных увещаний.
 Она мне сладость в душу
 льет,

Ласкает, радует, поет,
 И рой моих воспоминаний,
 С цветами жизни молодой,
 Как в блеске радужных сияний,

Летает снова надо мной...

Так, снов пленительный обман

В замену истины мне дан:

Он жизни памятью остался;

О том, с чем я навек расстался,

Правдивую дает мне весть;

Опять мне кажется мир приветный

Почти таким, каков он есть;

Он мне любимое являет

Мечтой отрадною своей

И завесу с моих очей

Волшебной силою снимает.

Ах! Удастся часто мне

Смотреть на божий свет во сне,

Пленять мой жадный взор лесами,

Рекою, нивами, полями

И всей знакомой красотой...

То же и о поэзии:

О, милый брат! какие звуки!

В слезах восторга внемлю им:

Чудесным пением своим

Он усыпил земные муки.

Тебе он создал новый мир:

Ты в нем и видишь, и лета-
ешь,

И вновь живешь, и обнима-
ешь

Разбитый юности кумир.

В ней мир разнообразный мой!

В ней и веселье и свобода.

Она лишь может разогнать:

Души угрюмое несчастье

И сердцу сладко напевать

Его утраченное счастье.

Я слышу дивный арфы звон,

Любимцев муз внимаю

пенье,

Огнем небесным оживлен:

Мне льется в душу вдохновенно,

И сердце бьется, дух кипит,

И новый мир мне предстает,

Я в нем живу, я в нем меч-
таю,

Почти блаженство в нем встречаю...

Любопытно, что Пушкин это козловское послание к Жуковскому сразу же отметил и оценил выше «Чернеца» (поэма, в качестве прибавления» к которой было напечатано послание «К другу В. А. Ж.»): «Подпись слепого поэта тронула меня несказанно. Повесть его прелесть; сердись он, не сердись — а

Хотел простить — простить не мог.

достойно Байрона. Введение, конец прекрасны. Послание, может быть, лучше поэмы — по крайней мере ужасное место, где поэт описывает свое затмение, останется вечным образцом мучительной поэзии. Хочется отвечать ему стихами» (Письмо к Л. С. Пушкину, Переписка, 1, 201).

Таким образом Пушкин сконцентрировал всю символику творчества Козлова в образе гения, столь характерном для поэзии Жуковского и Козлова, избежав повторений и длиннот Козлова и сохранив основные черты манеры Козлова¹.

В этом кругу становится особенно знаменательным факт пушкинской подделки — стилизации под Сумарокова эпитафия к XI главе «Капитанской дочки»:

В ту пору Лев был сыт,
хоть сроду он свиреп.
Зачем пожаловать изволил
в мой вертеп?
Спросил он ласково.

(А. Сумароков²).

Насколько тонко и вместе с тем творчески-оригинально воспроизведен здесь сумароковский стиль, можно судить по таким параллелям из «Притч» Сумарокова:

¹ Ср. в стихотворении Козлова «Графу М. Виельгорскому»:

И как прелестною игрою
Ты, овладев моей душою,
Мой темный мир животворишь!
По звонким струнам ты бежишь, —
И я печали забываю!
Я в невозвратное летаю,
И наслаждаюсь и терплю,
Я вновь мечтаю, я люблю...

Ср. стихотворение «К. М. Шимановской». Ср. также в стихотворении: «Другу весны моей» (1838):

Мой друг! быть может, мрак унылый,
Который жизнь мою затмил,
Тебя страшит, — но тайной силой
Мою он душу озарил...

² Как указано Т. Г. Зенгер, эти стихи — свободная стилизация Пушкина, а не цитата из басен Сумарокова. «Рукою Пушкина», 221.

Лишася силы, лев покою только рад:
 Стал стар, однако, был он прежде млад.
 («Лев состаревшийся»¹).

Прогневался мой лев и заушил осла,
 Сказать: ты этого не смыслишь ремесла
 И кои правила в дельбе со мною главны.
 («Раздел»²).

Львы сроду ничего на откуп не берут
 И кожи со зверей беспошлинно дерут...
 Лев
 Разинул зев,
 И стал вещати им, а я скажу вам како,
 Тако:
 Вы знаете, что лев есмь аз,
 И лучше вас,
 Вы знаете, что сил я больше вас имею;
 Вы знаете, что я у вас отнять смею,
 И сверх того еще с вас кожи драть умею;
 Понятно это вам?
 Они сказали все: понятно это нам...
 («Лев, корова, овца и коза»³).

Здорово, брат, сказал осел когда-то льву.
 Лев думает: Я так тебя не назову.
 И мнит: никак осел рехнулся.
 Однако лев,
 Не вшед во гнев,
 Лишь только усмехнулся...
 («Осел дерзновенный»⁴).

И. С. Тургенев в своей знаменитой речи о Пушкине эту «мощную силу самобытного присвоения чужих форм», присущую Пушкину, признал своеобразной чертой именно национального русского гения и ставил ее в связь с тем, что «Пушкин был центральный художник, человек, близко стоящий к самому средоточию русской жизни». Еще страстнее эту мысль «о всемирной отзывчивости» и «перевоплощаемости» пушкинского гения защищал Ф. М. Достоевский.

¹ Притчи Александра Сумарокова, книга первая, стр. 51, СПб. 1762.

² Ibidem, книга третья, стр. 27.

³ Ibidem, книга первая, стр. 50.

⁴ Притчи А. Сумарокова, книга вторая, стр. 65.

IV

В последний период творчества Пушкина (с конца 20-х годов) его виртуозное, глубоко индивидуальное и вместе с тем типически характерное владение стилями русской и западно-европейской литературы было осложнено новой задачей — понять и дифференцировать социальное разнообразие стилей самой истории, самой материальной культуры. Именно в этой форме предстала перед великим поэтом проблема реалистического стиля. В литературное воспроизведение быта других эпох, далеких от современности (например, пугачевщины), вносится обобщенный, типизирующий принцип правдивого и объективного художественного отражения стиля и «духа» времени. Как в прошлых эпохах, так и в современности Пушкин ищет обобщенно-символических и характеристических примет социально-бытового уклада и мировоззрения.

Искание национально-реалистических основ художественного стиля ярко отражается в таком анекдотическом эпизоде, о котором рассказывает кн. П. А. Вяземский в «Старой записной книжке» (Соч., VIII, 82). Пушкин, вычитав в какой-то элегии два стиха, с которыми автор обращается к возлюбленной:

Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал, —

иронически говорил, что «изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные»¹.

По Пушкину, слово — структурный элемент действительности и слито с ее социально-бытовыми контекстами. Оно не должно скрывать этой действительности за риторическими прикрасами. Оно исторично и просто, как быт, и в то же время так же сложно и многозначительно, как сама жизнь. Пушкин писал В. А. Дурову относительно записок Н. А. Дуровой-Александровой: «Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность. Предмет сам по себе так занимателен, что никаких украшений не требует. Они даже повредили бы ему» (Переписка, III, стр. 209; письмо от 16 июня 1835 г.).

Приемы реалистического изображения, которое основано в пушкинском языке на подборе характеристических событий, явлений, предметов, примет и качеств, символически представляющих и отражающих историческую действительность, не нуждались в изысканной, нежи-

¹ П. Вяземский, Старая записная книжка, стр. 82.

данной или авантюрно-пестрой фабульной канве. Напротив, литературно-испытанные и знакомые сюжетные схемы могли острее и внушительнее выделять символическую полноту и реалистическую новизну пушкинского воспроизведения. Пушкинская пьеса тем самым входила в пантеон мировой литературы, как художественное преобразование, как стилистическое и идеологическое завершение целого ряда односюжетных произведений, тени и образы которых отражались и мелькали в композиции пушкинского шедевра. Несомненно, что формы, темы, принципы и пределы реалистического стиля Пушкина были очень различны в стихе и в прозе.

Любопытно, что пушкинская проза в глазах современников поэта особенно выделялась глубиной и силой национального русского стиля. Так, В. А. Муханов в своем дневнике от 5/17 февраля 1837 г. записал: «Пушкин был отличный прозаик. Никто, исключая Жуковского, не пишет у нас прозою, как писал Пушкин. Он постиг дух языка и особенно замечателен всегда верным, правильным выбором именно того слова, которое точнее выражает мысль... Мне кажется, что проза Жуковского, исполненная прелести, увлекательной более на немецкий, чем на русский лад. Германизмы в составе его речи, в обороте ее, в расположении слов, хотя и искупаются неоспоримым искусством, однако, все-таки не иное что, как пятна (без сомнения легкие) в прозаических сочинениях писателя, так удачно познакомившего нас с германскою музою. Пушкин, напротив, по расположению своей речи, по приемам ее, писатель совершенно русский и в котором нет и тени иностранного. Безделки, изданные им под заглавием: «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» (обе последние несравненно выше первых), «История Пугачева» и множество статей, рассеянных в журналах, свидетельствуют об обороте ума русского, выразившегося в речи истинно и коренно русской»¹.

Стиль эпохи воссоздается у Пушкина, помимо ярких и типических личных образов, характеристическим подбором немногих символов, но таких, которые как бы впитывают в себя «дух» времени, до предела насыщены идейной, образной и культурно-бытовой атмосферой изображаемой действительности. Так, в «Пиковой даме» XVIII век с его дворянскими вкусами, пристрастиями, увлечениями, с его материальной культурой как бы глядит на читателя из спальни старухи: «На стене висели два портрета, писанные в Париже *m-me Lebguil*. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного *Louet*, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки,

¹ В. Садовьяк, Московские отголоски дуэли и смерти Пушкина, Московский пушкинист, I, стр. 59—60.

изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом».

Характерно, что это кажущееся парадоксальным сближение различных предметов, как бы случайное музейное нагромождение их, в то же время основано на живом для интеллигенции 30-х годов представлении о символических приметах стиля дворянской культуры XVIII в.

Тут мог быть и сознательный художественный расчет на литературные ассоциации. Ср., например, в державинской оде «На счастье» (1789):

В те дни людского просвещенья
 Как нет кикиморов явленья,
 Как ты лишь всем чудотворишь,
 Девиц и дам магнизируешь,
 Из камней золото варишь...
 Но ах! Как некая ты сфера
 Через легкий шар Монгольфьера
 Блистая, в воздухе летишь...

Яркий национальный колорит пушкинского стиля поражал современников. Возникали даже сомнения в возможности более или менее близкого перевода пушкинской прозы на иностранные языки. Так, А. И. Тургенев писал А. Я. Булгакову по поводу желаня Баранта перевести «Капитанскую дочку» на французский язык: «Как он выразит оригинальность этого слога, этой эпохи, этих характеров старорусских и этой девичьей русской прелести, кои набросаны во всей повести? Главная прелесть в рассказе, а рассказ перерассказать на другом языке — трудно. Француз поймет нашего дядьку (mepin), такие и у них бывали; но поймет ли верную жену верного коменданта?»¹.

С. П. Шевырев метко охарактеризовал антагонизм между реалистическим стилем Пушкина и романтическим натурализмом французской «неистойвой» школы 20—30-х годов XIX в. В пушкинских повестях и рассказах «нет ничего такого, что противоречило бы нагой прозаической истине действительного мира: все в них вынута из жизни исторической или современной и вынута верно, метко и цельно. Но художник, обнимавший думою своей изящное, должен был чувствовать, что нагая истина этого мира действительно противоречит сама в себе назначению искусства, что копировать ее верно и

¹ См. публикацию Е. Н. Коншиной, Из писем А. И. Тургенева к А. Я. Булгакову, Московский пушкинист, I, стр. 34, 1927.

близко — значит нарушить призвание художника. Вот почему Пушкин не сочувствовал нисколько современным рассказчикам Франции, которые с чувством какой-то апатии копируют жизнь действительную даже во всей безобразной наготы ее. Карикатурить эту жизнь и смешить ею Пушкин не хотел» (Москвитянин, ч. 5, № 9, 1841).

Разрушив восходящую к классицизму иерархию слов и предметов, распределенных по трем стилистическим системам, отвергнув романтическую теорию «возвышенного предмета» для поэзии, Пушкин смешал и синтезировал все живые элементы поэтического языка для того, чтобы на основе «сокровищ родного слова», живой русской речи создать из них новую структуру общерусского национально-литературного языка и новую систему реалистических стилей литературы. Традиционная граница между специальными поэтическими формулами и житейскими словами была разрушена. «Литературность» перестала быть синонимом условно-схематического изображения украшенного мира вымыслов. Искусственный «язык богов» уступал место живому языку жизни. Красочная бутафория классического, а затем и романтических стилей и их живописные «прямые» герои вытеснялись «смирненной прозой» действительности и социально-характеристическими образами «довольно смиренных и простых людей», ставших затем объектом пристального наблюдения и изображения для Гоголя, Ф. Достоевского и Л. Толстого.

Я в том стою — имел я право
 Избрать соседа моего
 В героя повести смиренной,
 Хоть человек он не военный,
 Не второклассный Дон-Жуан,
 Не Демон, даже не цыган,
 А просто гражданин столичный,
 Каких встречаем всюду тьму,
 Ни по лицу, ни по уму.
 От нашей братьи не отличный¹.

¹ Ср. характерную антитезу у Гоголя при обрисовке Ноздрева в черновой редакции «Мертвых душ»: «Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех насаливал... И это вовсе не происходило от того, чтобы он был какой-нибудь демон и смотрел на все горькими глазами — ничуть не было, он смотрел на мир довольно веселыми глазами...» (Н. В. Гоголь. Соч., изд. X, т. VII, стр. 34—35).

М. А. Цявловский

СУДЬБА РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ ПУШКИНА

Пушкина нужно отнести к числу тех писателей, судьбу рукописей которых можно признать в общем благополучной. Конечно, не всё написанное великим поэтом дошло до нас. Больше того: мы даже не можем точно определить, сколько рукописей не сохранилось. Но во всяком случае можно, мне кажется, с уверенностью утверждать, что большая часть рукописей Пушкина теперь находится в наших центральных государственных архивохранилищах, составляя воистину неоценимое сокровище, своего рода «алмазный фонд» нашей культуры.

Но к этому благополучному состоянию рукописи пришли после сложной, чреватой всякого рода случайностями, истории.

Все рукописи поэта в отношении их судьбы нужно разделить на две категории. К первой категории относятся рукописи, разошедшиеся еще при жизни Пушкина по частным лицам и учреждениям, ко второй — рукописи, оставшиеся у поэта до дня его смерти. К рукописям первой категории относятся прежде всего письма Пушкина и официальные документы, по природе своей предназначенные с момента своего рождения разойтись по многим владельцам. В настоящее время известно до восьми сот писем поэта, адресованных более чем к ста шестидесяти лицам. Все эти письма, пройдя через сотни владельцев, теперь собраны Пушкинским Домом Академии Наук, Публичной Библиотекой Союза ССР им. Ленина, Публичной Библиотекой РСФСР в Ленинграде, Централхивом, Государственным Литературным Музеем в Москве и другими государственными учреждениями. В частных руках остается всего несколько писем.

Менее сложную историю имели официальные документы (прошения, расписки и т. п.), подшивавшиеся в соответствующие «дела» и по истечении известного срока сдававшиеся в архивы.

Аналогичное с письмами и документами назначение имели и по-славившиеся и отдававшиеся поэтом редакторам и издателям перебе-

ленные для изданий тексты его произведений. Вероятно, большинство этих рукописей было не автографы, а копии, выправленные поэтом. Но как бы там ни было, эта категория рукописей погибла почти полностью. Из рукописей, по которым в типографии производился набор, сохранилось лишь две («Стихотворения Александра Пушкина», ч. III, 1832, и «История Пугачевского бунта», 1834).

Слава Пушкина, как первого поэта страны, естественно, вызывала сильнейший интерес к его автографам. Не говоря уже о друзьях поэта, любовно хранивших полученные ими рукописи, многие знакомые желали иметь «на память» автограф Пушкина. Расхождение такого рода рукописей началось с самого начала поэтической деятельности Пушкина. Первыми собирателями его автографов явились товарищи его по лицей. Один из них, кн. А. М. Горчаков (впоследствии канцлер) сохранил альбомчик с записью Пушкина 1811—1812 гг. и автографы восьми его произведений.

У другого лицейского товарища — М. Л. Яковлева было минимум двенадцать автографов.

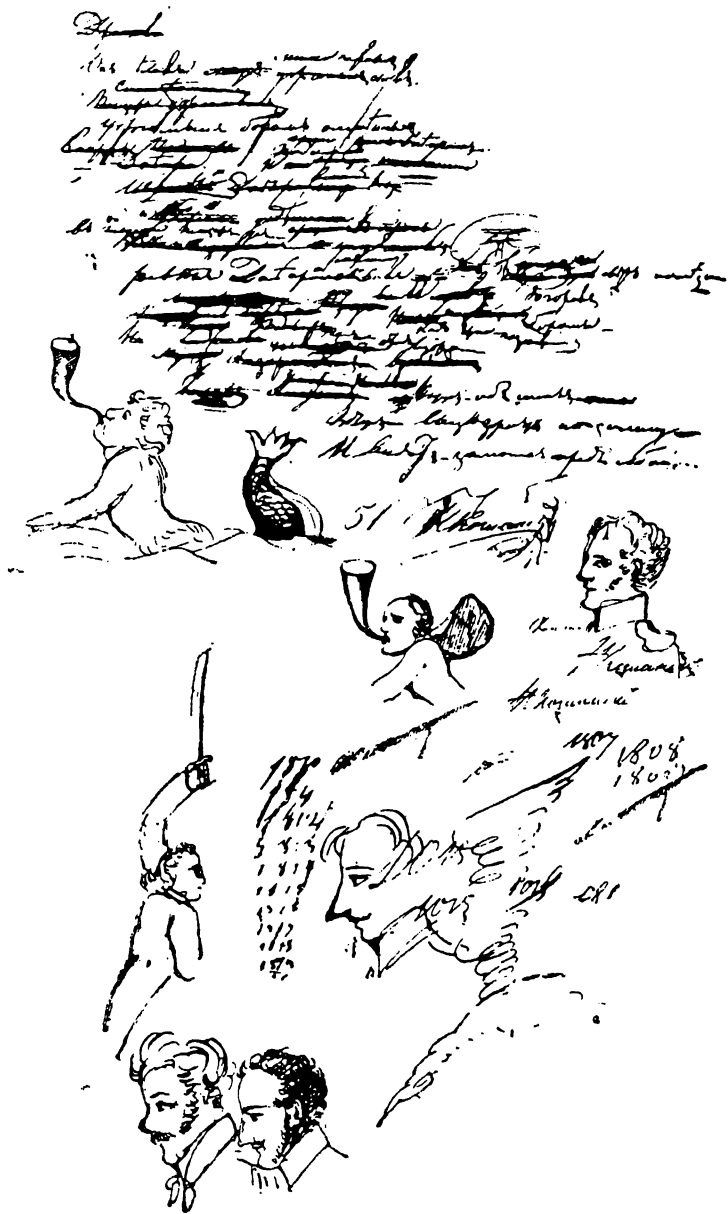
С течением времени число лиц, владевших рукописями Пушкина, быстро росло. Сколько их было ко дню смерти поэта, неизвестно. По имеющимся у меня сведениям, число таких лиц превышало сто. Все имевшиеся у них автографы, за ничтожным исключением, сосредоточены в тех же центральных архивохранилищах, в которых хранятся и письма поэта. У частных лиц имеется, вероятно, не более десяти автографов.

Разошедшиеся по частным лицам при жизни поэта автографы его в подавляющем большинстве были беловые рукописи. Черновые, «творческие» рукописи поэта, как правило, оставались у него.

В день смерти Пушкина (29 января), «спустя $\frac{3}{4}$ часа после кончины», как писал Жуковский, после того, как «тело вынесли в ближнюю горницу», он, по приказанию царя, «запечатал кабинет своею печатью». Лишь 7 февраля кабинет был распечатан и «все принадлежавшие покойному бумаги, письма и книги в рукописях собраны, уложены в два сундука и запечатанными перевезены в квартиру д. с. с. Жуковского, где и поставлены в особенной комнате»¹.

В течение шестнадцати дней начальник штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельт при участии Жуковского, игравшего довольно унизительную роль «понятого», производил с жандармскими писарями сначала предварительный разбор, сортировку и монтировку рукопи-

¹ «Журнал, веденный при разборе бумаг покойного Александра Сергеевича Пушкина». Привожу по экземпляру, принадлежавшему Жуковскому и теперь хранящемуся в Пушкинском Доме Академии Наук.



Рисунки Пушкина. Страница из рукописи «Руслан и Людмила», 1818 г.

сей Пушкина, затем их просмотр. Всё это производилось в первую очередь в интересах сыска, что явствует хотя бы из того, что, после того как разбор рукописей был закончен, Дубельт прежде всего обратился к чтению писем давно бывшего на подозрении у жандармов кн. П. А. Вяземского, затем казненного Рыльева, декабриста Кюхельбекера, умершего, но в свое время бывшего на плохом счету, Дельвига и, наконец, самого Жуковского. Совершенно ясно, что Дубельт в сущности производил своего рода «посмертный обыск» у Пушкина.

В результате работы жандармов оказалось, что из кабинета Пушкина были привезены к Жуковскому рукописи поэта трех родов: переплетенные тетради и альбомы, несшитые в тетради пачки листов и отдельные листы.

Самыми замечательными, специфически «пушкинскими» черновыми рукописями являются его «рабочие» тетради. Первой их особенностью является необыкновенная пестрота и разнообразие содержания. Конечно, свои тетради разумел Пушкин, когда писал об альбоме Онегина:

В сафьяне, по краям окован,
Замкнут серебряным замком,
Он был исписан, изрисован
Рукой Онегина кругом.
Среди бессвязного маранья
Мелькали мысли, примечанья,
Портреты, буквы, имена
И думы тайной письмена.

Тетради Пушкина красноречиво отражают «многотемность», «многоплановость» писаний Пушкина. Части больших произведений перемежаются со строфами «Евгения Онегина», наброски стихотворений перебиваются черновиками писем, отрывки художественной прозы находятся в соседстве с записями автобиографического характера. На многих страницах находим пометы, «тайной думы письмена», разгадыванием смысла которых занято было не одно поколение пушкинистов. Наконец, разбросанные на более чем 450 страницах от 1 500 до 2 000 рисунков поэта придают этим тетрадям то великое своеобразие и волнующую выразительность, которые позволяют почувствовать живого, творящего Пушкина.

Сплошь и рядом тетрадями Пушкин пользовался не планомерно, систематически заполняя под ряд страницу за страницей, а в разбивку. Поэтому имеющиеся в тетрадях тексты разделяются на группы

x ^{вспомогательный}
^{предметы и др.} ^{применяли} ^{для}
^{своих} ^{целей} ^и ^{т.д.}
^и ^{т.д.} ^и ^{т.д.}
^и ^{т.д.} ^и ^{т.д.}



^{предметы и др.} ^{применяли} ^{для}
^{своих} ^{целей} ^и ^{т.д.}
^и ^{т.д.} ^и ^{т.д.}
^и ^{т.д.} ^и ^{т.д.}



Рисунки Пушкина. Страница из рукописи «Кавказский пленник»

более или менее одновременно сделанных записей. Всё это чрезвычайно осложняет хронологию текстов, и до сих пор мы ещё не имеем полной и точной картины изумительной работы великого поэта¹.

Таких черновых рабочих тетрадей ко дню смерти Пушкина у него было шестнадцать. Тринадцать из них Дубельт увез к Жуковскому, а три малого формата как-то не доглядели жандармы. Одну из последних взял себе хозяйничавший, на правах члена опеки над малолетними детьми Пушкина, в его квартире Н. И. Тарасенко-Отрешков, пожертвовавший тетрадь в 1855 г. в ПБЛ². Две других тетради — записные книжки присвоил А. А. Краевский, ещё при жизни Пушкина работавший у него по «Современнику», а затем вошедший в состав редакторов последнего. В 1889 г., после смерти Краевского, и эти тетрадки поступили в ПБЛ.

Есть указание на то, что ещё в лицейские годы у Пушкина были черновые тетради, вероятно, самим поэтом впоследствии уничтоженные. Самая ранняя из сохранившихся тетрадей заведена была в лицее в январе 1817 г. (№ 2364 ЛБ)³. Задумав издать отдельной книгой собрание своих стихотворений, Пушкин решил списать в эту тетрадь те из них, которые он должен был показать Жуковскому как своему учителю. Это было событием в жизни лицейстов, и двадцать три из них решили принять участие в этом важном деле в качестве переписчиков. Из сорока одного стихотворения, списанных в тетрадь, лишь шесть переписаны самим Пушкиным.

Но очень скоро более или менее старательно переписанные в тетрадь беловые тексты стали превращаться в черновые: так значительно их стал переделывать Пушкин после прочтения тетради Жуковским, отметившим ряд стихов, как требующих исправления. Вероятно, не менее семи раз в течение двух с лишним лет обращался Пушкин к правке стихотворений в этой тетради, прежде чем переписать переделанные стихотворения в новую (не дошедшую до нас) тетрадь. Оставшимися в тетради чистыми листами Пушкин уже во второй половине 1817 г. стал пользоваться для творческой работы над новыми произведениями и в первую очередь над «Русланом и Людмилой».

Вторая тетрадь (размером в $\frac{1}{8}$ листа) заведена была 15 июня

¹ Работа над академическим изданием полного собрания сочинений Пушкина, с одной стороны, и над фототипическим изданием рукописей поэта и описанием рукописей Пушкина, хранящихся в ЛБ с другой, мы уверены, такую картину даст.

² Здесь и дальше ПБЛ означает Публичную Библиотеку РСФСР им. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

³ Здесь и дальше ЛБ означает Публичную Библиотеку Союза ССР им. Ленина.

1820 г. на Кавказе, как значится на первой ее странице (№ 42 ПБЛ). Здесь имеется черновой текст «Кавказского пленника» и наброски ряда стихотворений 1820—1822 гг.

В Кишиневе были заведены три тетради (все в $\frac{1}{4}$ листа). Первая из них стала заполняться в конце 1820 г. (№ 2365 ЛБ). Начинается она «Кавказским пленником», затем идут черновики стихотворений, план «Гавриилиады», черновой текст которой, надо полагать, имелся на вырванных из тетради листах, наброски неоконченной комедии, план «Братьев разбойников» и разного рода записи.

Второй кишиневской тетрадь поэт пользовался вероятно с начала 1822 г. и в 1823 г. (№ 2366 ЛБ). Здесь имеются планы ненаписанной поэмы из древней русской истории «Царь Никита», черновики стихотворений и писем.

Третья кишиневская тетрадь (2367 ЛБ) первоначально предназначалась для сборника антологических стихотворений, открывающегося на первой странице заглавием: «Эпиграммы во вкусе древних». На внутренней стороне передней крышки переплета имеется эпитафия из Андре Шенье, позднее взятый Пушкиным для своей элегии, посвященной французскому поэту: «Ainsi triste et captif ma lyre toutefois s'éveillait»¹. Заведена тетрадь была в 1821 г., но пользовался ею поэт в разные годы до 1830 г., почему содержание тетради очень разнообразное: стихи, наброски критических заметок, «История села Горюхина», письма, заметки о деятеле Смутного времени Г. Г. Пушкине, набросок из «Арапа Петра Великого».

Очень оригинально происхождение следующих трех тетрадей. Приятель Пушкина по Кишиневу Н. С. Алексеев, как казначей в масонской ложе «Овидий», имел тетради (размером в лист) для бухгалтерских записей. Как полагалось, на передней крышке черного кожаного переплета этих тетрадей вытиснут масонский знак — буквы «OV» в треугольнике. Когда ложа 9 декабря 1821 г. была закрыта, Алексеев, очевидно, подарил эти тетради Пушкину. Было это, надо полагать, 27 мая 1822 г., так как эта дата стоит на внутренней стороне передней крышки переплета первой из масонских тетрадей (№ 2369 ЛБ). Но писать в ней поэт начал в 1823 г. Тетрадь эта замечательна тем, что в ней 28 мая 1823 г. начат «Евгений Онегин», а в начале 1824 г. — «Цыганы».

Вторая масонская тетрадь (№ 2370 ЛБ) стала заполняться уже в Одессе в мае 1824 г. В этой тетради начат «Борис Годунов», полной черновой рукописи которого не сохранилось.

¹ Не хоть и был я печальным пленником, все же моя лира пробуждалась.

Третью масонскую тетрадь Пушкин начал в Михайловском (№ 2368 ЛБ). В этой тетради имеются конец «Цыган» и строфы шестой и седьмой глав «Евгения Онегина». В первой половине ноября 1824 г., перевернув тетрадь верхом вниз, Пушкин стал заполнять последние листы записями сказок со слов Арины Родионовны. Такой прием для отделения текстов одного жанра от другого применялся Пушкиным неоднократно. Под впечатлением сказок Арины Родионовны поэт на внутренней стороне задней крышки переплета написал стихи: «У лукоморья дуб зеленый», впоследствии составившие пролог к «Руслану и Людмиле».

Следующая тетрадь (альбом в красном бумажном переплете; № 2371 ЛБ) была заведена в 1827 г., но начала заполняться разного рода текстами последовательно, страница за страницей, в 1828 г. Центральное место в тетрадях занимает черновой текст «Полтавы».

Для перебеленного текста поэмы была заведена специальная тетрадь (альбом в темном сафьяновом переплете; № 2372 ЛБ)¹, но перебеленный текст скоро превратился в черновой, а оставшиеся чистыми листы были использованы для разных записей.

В 1828 г. была заведена тетрадь (в малую $\frac{1}{8}$ листа) в коричневом мраморном переплете (№ 43 ПБА), которой пользовался поэт и позднее, в 1830—1833 гг. Здесь имеются строфы из седьмой главы «Евгения Онегина», стихотворение «На перевод Илиады», опыты перевода с испанского языка на французский, деловые записи, еврейская азбука и заметки о библиотеке Вольтера.

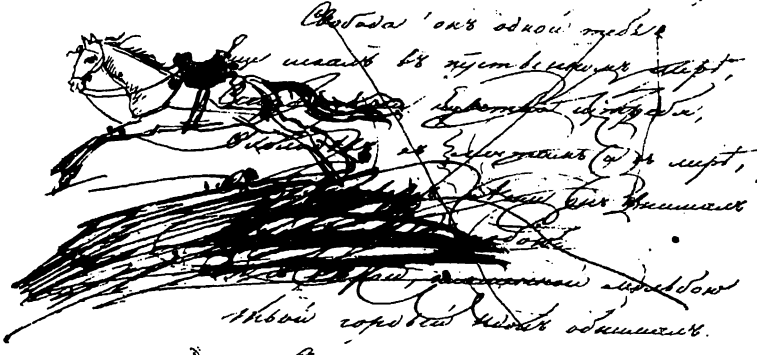
Выехав числа десятого марта 1829 г. из Петербурга в Тбилиси, Пушкин взял с собой толстую тетрадь в лист, которую и начал заполнять 15 мая в Георгиевске (первая арзрумская тетрадь; № 2382 ЛБ). Кроме черновика «Путешествия в Арзрум», в тетради имеются черновики стихотворений, вызванных поездкой в Закавказье, критических заметок, наброски художественной прозы и другие разнообразные записи. Всё это заносилось на страницы вразброд.

Следующей тетрадью является вторая арзрумская (№ 2373 ЛБ). Заполнялась она тоже беспорядочно в 1830—1833 гг. Здесь имеются черновики неоконченной поэмы о Тазите и «Родословной моего героя», записи стихотворений Мицкевича, выписки из книг, наброски к «Пиковой даме». Больше двух третей листов остались чистыми.

Во время путешествия в Оренбург Пушкин взял с собой тетрадь (в малую $\frac{1}{8}$ листа; № 44 ПБА), в которой делал записи рассказов о Пугачеве, казачьих песен, дорожные заметки; тут же (с другого

¹ Этот альбом изображен на картине П. П. Кончаловского «Пушкин».

Всхъ оубрава зрунъ кавказъ цуеуа,
Акъ мисуналь мавва - бугумбий сокъ,
Кавказъ фретовой бавовъ гуривской
Завулъ (Крепостной, записанъ оубрава,
И кавказъ мавва бугумбийской
И кавказъ мавва бугумбийской,
Относительно оубрава, зрунъ кавказъ,
Кавказъ мавва бугумбийской
И въ зрунъ бугумбийской
Оубрава кавказъ мавва бугумбийской.



Кавказъ мавва бугумбийской
Кавказъ мавва бугумбийской
Кавказъ мавва бугумбийской
Кавказъ мавва бугумбийской

Страница из рукописи «Кавказский Пленник» 1831 г. с рисунком Пушкина

конца тетради) набросок стихотворения «В славной Муромской земле» (№ 44 ПБЛ).

В 1833—1835 гг. Пушкин писал в альбоме (с листами разноцветной бумаги), вырванном из переплета (№ 2374 ЛБ). Альбом заполнялся с двух концов (верхом вниз). Содержание альбома очень разнообразно: черновики стихотворений — «Французских рифмачей суровый судия», «Он между нами жил...», «Сват Иван, как пить мы станем...», «В поле чистом серебрится...», «Полководец» и др.; черновики «Медного всадника», «Анджело», «Сказки о золотом петушке», наброски к «Капитанской дочке», перевод из Вордсворта, план собрания сочинений¹.

Последней черновой тетрадью Пушкина является тетрадь в лист в бумажном переплете (№ 2384 ЛБ), начатая в 1833 г. Много страниц в тетради осталось чистыми. Первая половина тетради занята черновиком статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» (раньше называлась «Мысли на дороге»), затем идет черновик статьи «О ничтожестве литературы русской». В этой тетради — «Сцены из рыцарских времен», «Вновь я посетил...», «На выздоровление Лукулла». На последней странице — стихотворение «Я памятник воздвиг себе нерукотворный».

Кроме этих тетрадей, у Пушкина было еще три переплетенных тетради: альбом в черном бумажном переплете с текстом «Арапа Петра Великого» (№ 2378 ЛБ), тетрадь с выписками из французских книг и газет материалов для задуманной работы по истории Великой буржуазной французской революции (№ 2377 Б ЛБ) и дневник. Первые две тетради вошли в число рукописей, пожертвованных А. А. Пушкиным в Румянцевский Музей, дневник же поступил в ЛБ лишь в 1919 г.

Вторую группу рукописей, бывших в день смерти Пушкина в его кабинете, составляют двадцать шесть непереpletенных тетрадей: тринадцать тетрадей «Капитанской дочки» (№ 2381 ЛБ), три — статьи «Александр Радищев» (№ 2385 А, Б, В ЛБ) и десять — «История Пугачева» (№ 2390 ЛБ). Последние тетради представлялись царю, сделавшему на полях рукописи ряд замечаний и помет. Все эти тетради также вошли в число рукописей, поступивших от А. А. Пушкина в Румянцевский Музей.

К этой группе рукописей нужно присоединить и тридцать одну непереpletенную тетрадь с выписками Пушкина из «Деяний Петра

¹ Фототипическое воспроизведение этого альбома составляет первый выпуск издания «Рукописи Пушкина», предпринятого Пушкинской комиссией Академии Наук СССР.



Страница из рукописи VIII главы «Евгения Онегина» с рисунком Пушкина (здание Царскосельского лицея)

Великого» Голикова. Девять из этих тетрадей неизвестно где и когда пропали, двадцать же две тетради хранились вместе с книгами библиотеки Пушкина сначала в подвалах казарм лейб-гвардии Конного полка, которым командовал П. П. Ланской, второй муж Н. Н. Пушкиной; затем сыном поэта Александром Александровичем ящики с книгами и рукописями были перевезены в имение Ивановское (Бронницкого уезда, Московской губернии), где и находились до 1866 г., когда были перевезены в имение Лопасню (под Москвой). Здесь в 1917 г. и был обнаружен ящик с рукописями, в числе которых оказались двадцать две тетради выписок Пушкина.

От владельца рукописей, внука поэта, ныне здравствующего Григория Александровича Пушкина, рукописи поступили к известному пушкинисту П. Е. Щеголеву, в свою очередь передавшему в 1924 г. рукописи в ПД¹.

Третью группу составляют рукописи в виде несшитых отдельных листов в обложках. Все они поступили от А. А. Пушкина в Румянцевский Музей, где были заинвентаризованы в виде семи архивных единиц.

Среди этих рукописей первое место по количеству листов (264) занимают «Материалы для Пугачевского бунта», почти все написанные рукой Пушкина (№ 2391 ЛБ). Описания этих материалов в печати не появлялось. Затем идут «Записки бригадира Моро де-Бразе (93 листа; № 2389 ЛБ), «Повести Белкина» (62 листа; № 2379 ЛБ), «О Камчатке» (17 листов; № 2388 ЛБ) и копии писем Петра I (4 листа; № 2388 Б и № 2399 В ЛБ).

Четвертую группу рукописей составляют отдельные листы, которые жандармы в целях сохранности сшили в тетради².

Таких тетрадей, поступивших в Румянцевский Музей от А. А. Пушкина, пятнадцать (в общей сложности до 800 листов)³. Все эти листы заключают в себе тексты 30-х годов.

Здесь имеются «Дубровский», «Путешествие в Арзрум», «Медный всадник», «Родословная моего героя», неоконченная поэма о Тазите. «Домик в Коломне», «Русалка», «Каменный гость», «Сказка о попе», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Моя родословная», «Скупой рыцарь», критические статьи, «Замечания на Слово о полку Игореве», «Египетские ночи», «История села Горюхина» и ряд стихотворений.

¹ Здесь и дальше ПД означает Пушкинский Дом Академии Наук СССР.

² Сшивка производилась механически: листы, исписывавшиеся Пушкиным один за другим, сшивались один в другой. В отдельных случаях сшивали очень грубо, прокалывая места рукописи с текстом.

³ По инвентарным номерам ЛБ это — №№ 2375, 2376 А, Б, В, 2377 А, 2380 I и II, 2383, 2386 А, Б, В, Г, 2387 А, Б, В.

~~1. Прошедши на Неве много новых купцов
 прохаживаясь по берегу. Да и воеводою
 был он воеводою бывшим. Купцы сего же.~~

~~2.~~

2. Будетливая! Оураво, урле на шифтисов
 'Поде ууря ~~сидит~~ ^{сидит} над рекой кижской
 и в обломан ^{отом} судит Пале и в Сражан
Враждит и Медраит —

Ком. Чандра востро

Кидро судит и судит Судит и Пале!

Проклея Ус Пробавит оисине. За диром и Пале

мно сидит Андр Купцы и Пале и Пале



Страница из рукописи «Каменный гость» с рисунком Пушкина

Наконец, последнюю группу составляют отдельные листы, которые трудно было шить в тетради.

Эти отдельные листы в свою очередь делятся на две группы: листы, оставшиеся без красной нумерации, и листы, перенумерованные. Сколько было первых, сказать невозможно, трудно и сказать, сколько было листов перенумерованных. Последних было минимум 537, но возможно, что и 556.

В отличие от судьбы тетрадей, история отдельных листов очень сложна. Излагать ее здесь более или менее подробно не представляется возможным. Остановлюсь лишь на главнейших этапах странствий этих листов. У Жуковского, занимавшегося рукописями Пушкина в 1837—1840 гг., осталось не менее тридцати двух листов ненумерованных и не менее девяноста пяти нумерованных. Из последних, надо думать, тринадцать Жуковский раздарил разным лицам. Ненумерованные листы и восемьдесят два нумерованных после смерти Жуковского принадлежали его вдове, а затем сыну Павлу Васильевичу. Последний раздарил разным лицам и учреждениям из ненумерованных листков тринадцать, а из нумерованных — четырнадцать. Все остальные листы П. В. Жуковский в 1883 г. подарил своему приятелю А. Ф. Онегину (1844—1925), страстному собирателю всего относящегося к Пушкину. Из листов, полученных от П. В. Жуковского, Онегин подарил по одному листу двум лицам. В 1909 г. Академия наук приобрела все пушкинское собрание Онегина, пожизненным хранителем которого он оставался. В 1922 г. Советское правительство заключило с Онегиным договор, по которому подтверждалось, что музей Онегина является собственностью ПД, куда после смерти Онегина все его собрание весной 1928 г. и поступило.

С 1840 по 1850 г. рукописями Пушкина, оставшимися у Ланских, никто не интересовался, и лишь в 1851 г. Иван Вас. Анненков, близкий Ланским человек, заключил с Н. Н. Ланской договор, по которому она уступала Анненкову право издания сочинений поэта (всего за 5 000 руб.). К редактированию собрания был привлечен писатель Пав. Вас. Анненков, который и работал над рукописями в 1851—1853 гг.

По окончании работы Анненков сдал Ланским только переплетенные и сшитые тетради, большая же часть отдельных листов, как нумерованных жандармами, так и ненумерованных осталась у П. А. Анненкова и Ивана Васильевича, помогавшего брату в его занятиях.

У Анненковых осталось минимум тридцать пять ненумерованных листов, четыре клочка с наброском статьи о французской революции, одиннадцать клочков письма Пушкина к Геккерну и восемь писем

к Пушкину с его записями. Затем у них осталось двенадцать листов, вырванных из тетрадей и вынутых из пачек неспшитых листов, и, наконец, триста пятьдесят два нумерованных листа.

Семь вырванных из тетрадей листов и три нумерованных П. В. Анненков подарил своему знакомому, симбирцу, писателю Валерьяну Никаноровичу Назарьеву. Вдова и дочь Назарьева продали в 1931 г. эти автографы в ЛБ. Один листок Анненков подарил жене Фета — Марье Петровне Шеншиной. Вдовой ее племянника Н. С. Боткиной автограф был пожертвован в 1918 г. в ПД.

После смерти Павла Васильевича (8 марта 1887 г.) часть этих листов оказалась в ящике его брата Ивана Васильевича. После смерти последнего (4 июня 1887 г.) ящик этот принадлежал его сыну полковнику Ф. И. Анненкову (1843—1903), продавшему в 1899 г. рукописи, хранившиеся в ящике, профессору русской литературы в Петербургском университете Илье Александровичу Шляпкину (1858—1918), издавшему это собрание в 1903 г. в своей книге: «Из последних бумаг А. С. Пушкина».

После смерти Шляпкина это собрание (без одного листка со стихотворением «Ты просвещением свой разум осветил», неизвестно куда девавшегося) поступило в 1918 г. в ПА.

Всеми рукописями Пушкина, оставшимися у П. В. Анненкова, после его смерти владела вдова его Глафира Александровна, рожд. Ракович (1831—1899), проживавшая за границей. В одной из рабочих тетрадей (с копиями пушкинских текстов) П. В. Анненкова, привезенной в октябре 1888 г. Глафирой Александровной в Петербург, пушкинист П. А. Ефремов нашел четыре нумерованных листа рукописей Пушкина. И тетрадь Анненкова и оказавшиеся в ней автографы Пушкина Ефремов, по его словам, «взял себе». У него же оказались и два листа из листов, вырванных из тетрадей. После смерти Ефремова (1830—1907) все эти автографы принадлежали его племяннице С. А. Ефремовой, от которой поступили в ПД.

В июле 1897 г. в усадьбе принадлежавшего Г. А. Анненковой имения ее мужа при с. Чирькове (в 55 км от Симбирска) член Симбирской архивной комиссии Д. И. Сапожников нашел в сарае, среди заплесневелых и отчасти даже полусгнивших книг, шестнадцать нумерованных листков, проданных им Румянцевскому музею (ныне ЛБ).

Г. А. Анненкова имевшиеся у нее рукописи Пушкина передала академику Л. Н. Майкову, со второй половины 80-х годов работавшему по приготовлению к печати академического издания собрания сочинений Пушкина. Из рукописей, полученных от Анненковой, Л. Н. Майков подарил четыре листка: два листка Л. Ф. Пантелеву

и два в Пушкинский Музей Александровского лицея, откуда в составе всех собраний музея листки поступили в ПД. Один из листков Л. Ф. Пантелеев подарил Е. В. Тарле, а другой отдал в ПД.

Одиннадцать из листков, оставшихся у Майкова, оказались в его бумагах, поступивших после смерти академика в Библиотеку Академии Наук, откуда в 1931 г. они переведены в ПД. Всеми остальными рукописями Пушкина, принадлежавшими Л. Н. Майкову, владела его вдова Александра Алексеевна Майкова (1841—1915). Тринадцать нумерованных листов она подарила в. к. Константину Константиновичу Романову (1858—1915), по завещанию которого эти автографы в 1923 г. поступили в ПД.

Четырнадцатый листок Майкова подарила помощнику мужа в его работах по Пушкину, редактору академического издания переписки поэта Вл. Ив. Саитову. Последний подарил автограф кн. Олегу Константиновичу Романову (1892—1914).

Дальнейшая судьба этого автографа (черновика стихотворений «Труд» и «Кавказ») неизвестна. Пятнадцатый листок оказался в Русском Музее, откуда поступил в ПД. Кроме этих пятнадцати нумерованных листков Майкова в 1904 г. подарила два листа, вырванных из тетради, Николаю II. Листы эти оказались в его библиотеке, в Зимнем дворце и теперь хранятся в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи. Все остальные автографы Пушкина Майкова в 1904 г. принесла в дар Рукописному Отделению Библиотеки Академии Наук. В 1931 г. все это «майковское» собрание переведено в ПД, составляя здесь центральное ядро богатого собрания рукописей Пушкина, хранящихся в этом учреждении.

У Н. Н. Ланской, а затем у старшего сына поэта после работ над его рукописями Жуковского и Анненкова из отдельных листов осталось семьдесят шесть. Из них Александр Александрович подарил один листок педагогу Ф. Ф. Эвальду (1813—1879). Автограф этот в 1926 г. поступил в ПД. Все остальные листы вошли в число рукописей Пушкина, пожертвованных его сыном в Румянцевский Музей в 1880 г.

Такова история рукописей Пушкина в отдельных листах, оставшихся у Жуковского и Анненкова.

Обращаемся к основному фонду рукописей Пушкина — переплетенным и сшитым жандармами из отдельных листов тетрадям. Все эти тетради¹ после работ над ними И. В. и П. В. Анненковых были ими, надо полагать — в 1853 г., возвращены Ланским.

¹ О них см. стр. 120



Рисунок Пушкина к «Дому в Коломне».

По семейному разделу имущества между детьми Пушкина, состоявшемуся, вероятно, во второй половине 50-х годов, рукописи Пушкина, за исключением писем его к Наталье Николаевне, сделались собственностью старшего сына поэта Александра Александровича. Владел он этими рукописями более двадцати лет, никому из редакторов и биографов Пушкина их не показывая.

Только в 1880 г. тетради поэта были доставлены А. А. Пушкиным на выставку, устроенную Обществом любителей российской словесности в Румянцевском Музее. Тогда же, под влиянием настояний Петра Ивановича Бартенева и хранителя отделения рукописей Румянцевского Музея Алексея Егоровича Викторова (1827—1883), убеждавших А. А. Пушкина передать драгоценные рукописи его отца в государственное хранилище, Александр Александрович заявил, что он жертвует все имеющиеся у него рукописи Московскому Румянцевскому Музею.

Приобретая у А. А. Пушкина право публикации из рукописей всего, «что найдет в них нового», П. И. Бартенев ездил за ними в г. Козлов (Тамбовской губернии). С третьей книги «Русского архива» за 1880 г. Петр Иванович начал печатать неопубликованные Жуковским и Анненковым тексты Пушкина, имевшиеся в его тетрадях. По мере использования их Бартенев сдавал тетради в Румянцевский Музей. Принимал их А. Е. Викторов, давший рукописям инвентарные номера, под которыми они и известны в пушкиноведении, и составивший краткую опись их, напечатанную в «Отчете» Румянцевского Музея за 1879—1882 гг. (М., 1884).

С осени 1882 г. эти рукописи Пушкина стали доступны для всеобщего пользования, чем воспользовался В. Е. Якушкин, опубликовавший в «Русской старине» за 1884 г. подробное описание этих рукописей, составившее эпоху в пушкиноведении.

Из рукописей, хранившихся у А. А. Пушкина, одна — дневник поэта — не была им сдана в Румянцевский Музей. Ревниво хранимая сыном поэта в кабинете, под замком, в зеркальном шкафу, рукопись давалась немногим лицам.

После смерти (19 июля 1914 г.) Александра Александровича дневник принадлежал его сыну Александру Александровичу, а после смерти последнего (3 марта 1916 г.) — внуку поэта Григорию Александровичу. В начале революции дневник находился у родственников Григория Александровича, от которых только летом 1919 г. поступил в Румянцевский Музей (ныне ЛБ).

Спустя сто двадцать пять лет, истекших со времени появления в свет первого из дошедших до нас автографов великого поэта, они,

пройдя более чем через пятьсот владельцев, за ничтожным исключением, все в настоящее время национализированы, являясь собственностью государства.

Первое место среди собраний рукописей Пушкина занимает Публичная Библиотека Союза ССР им. Ленина. На втором месте стоит Пушкинский Дом Академии Наук СССР, собрание которого доходит до 800 автографов. Третье по значительности собрание рукописей Пушкина имеется в Публичной Библиотеке РСФСР им. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Четвертое место занимает Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (Москва) и пятое — Государственный Литературный Музей (Москва). Отдельные автографы имеются еще в государственных хранилищах Горького, Киева, Еревана, Харькова, Одессы и Воронежа.

За пределами Союза автографы Пушкина имеются в Париже, Авиньоне, Праге, Берлине и Риме.

П. С. Попов

ПУШКИН КАК ИСТОРИК

Проблема Пушкин как историк до сих пор не разрешена. Еще не изучены все материалы, сюда относящиеся. Подготовительные черновики к «Истории Пугачева» не обследованы со всею тщательностью. Собственноручные записи поэта к истории Петра I на восемьдесят процентов не опубликованы. В оценках исторических работ Пушкина мы встречаемся с односторонними и пристрастными мнениями.

Гениальный поэт отличался необыкновенно широким кругозором умственных интересов. Без преувеличения можно сказать, что он был самым образованным человеком среди своих современников; в этой исключительной начитанности, разностороннем и глубоком интересе ко всем областям культуры и народной жизни — корни исторических занятий Пушкина. Из изучения прошлого своей родины Пушкин извлекал материал для поэтического творчества. Его привлекали наиболее живые и красочные эпизоды из русской истории (эпоха Годунова, начало смуты), его пленяли яркие и мощные образы исторического прошлого. Исторические деятели, в которых проступают черты личной доблести, отваги, удачливости, индивидуальной самостоятельности и силы, манили к себе поэта.

В 1822 г. в Кишиневе под влиянием В. Ф. Раевского Пушкин задумывает трагедию «Вадим», увлекшись национально-историческим сюжетом легенды о новгородце Вадиме, защищавшем права свободного Новгорода. Идея старинного народоправства оказывается по духу Пушкину. Проживая там же на юге, Пушкин в 1823 г. заинтересовывается похождениями известного молдавского разбойника, удалыца Георгия Кирджали; участник восстания гетеристов 1821 г., он был арестован в Кишиневе и выдан туркам. К теме Кирджали Пушкин возвращается несколько раз, покамест в 1831 г. не создает своей повести.

Весьма привлекал Пушкина образ Стеньки Разина, героя народных песен, сказок и легенд. Им он, по видимому, интересовался еще в 1820 г., когда проезжал по Области войска донского. В Михайловском Пушкин записывает с чьих-то слов две песни о Степане Разине. К этому же времени (ноябрь 1824 г.) относится просьба Пушкина к брату прислать «историческое сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории». Показательно, что Пушкин называет Разина единственным поэтическим лицом русской истории; позднее Пушкин переносит интерес на ряд других исторических личностей, но таких, у которых есть сходство с чертами Разина. Пушкина влекли к себе те деятели, в которых проявлялась сила, мощь и сопротивляемость духа русского народа.

Тогда же в Михайловском Пушкин выражает интерес к Пугачеву: в другом письме, тоже в ноябре 1824 г. поэт просит брата прислать ему «Жизнь Емельки Пугачева».

С песнями о Стеньке Разине Пушкин потерпел неудачу. По поводу представленных на высочайшую цензуру стихотворений в 1827 г. Бенкендорф сообщил Александру Сергеевичу, что большинство его пьес дозволено к печати («Ангел», «Стансы», третья глава «Евгения Онегина», «Граф Нулин», «Фауст»), но при этом прибавил, что «песни о Стеньке Разине при всем поэтическом своем достоинстве по содержанию своему неприличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».

Как известно, в 30-х годах Пушкин подвергся еще большему воздействию и контролю со стороны двора и Николая I. Этому предшествовал ряд цензурных неудач с «Борисом Годуновым». С тем большим удивлением приходится засвидетельствовать, что Пушкин не поступился своим интересом к Пугачеву: он с таким усердием отдался изучению исторических материалов, с посещением мест, где развернулись интересовавшие его исторические события, и опросом ряда свидетелей этих событий, что создал одну из самых блестящих повестей в области исторической беллетристики — «Капитанскую дочку» и написал «Историю Пугачева». Пушкин, конечно, очень ясно представлял себе все трудности, связанные с изучением и составлением исторического труда о Пугачеве. В начале работ над «Историей Пугачева» поэт не был допущен к следственному делу, хотя архивы и были ему открыты. Пушкин, боясь быть заподозренным, первоначально явно маскировал свой интерес к пугачевщине и прикрывал его проектом работы о фельдмаршале Суворове. В письме Пушкина от 7 февраля 1833 г. к гр. Чернышеву по поводу документов о Суворове

рове, находящихся в архивах Главного штаба, довольно неожиданно на первом месте стоит: «Следственное дело о Пугачеве».

До Александра I тема о Пугачеве была вовсе запрещена; затем о нем стали кое-что писать, но, по правильной характеристике самого Пушкина, эпизод пугачевского бунта был «мало еще известен»¹.

Пушкин не мог не предвидеть тех исключительных препятствий, на которые он должен был натолкнуться, проводя «Историю Пугачева» через царскую цензуру.

Историки до сих пор, думается, недостаточно учитывали, что многое Пушкин принужден был прикрывать, маскировать; его собственная точка зрения несомненно нивелировалась при мысли об отношении официальных кругов к его труду и теме его. Спора нет, исходная концепция, положенная у Пушкина в основание «Истории Пугачева» — дворянская; в основе оценки дела Пугачева лежит идея мирного прогресса, которую Пушкин неоднократно высказывал. В «Капитанской дочке» он писал: «Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (т. IV, стр. 362; то же самое в «Путешествии из Москвы в Петербург», см. т. VI, стр. 196). Но при работе над «Историей Пугачева» Пушкин вовсе не оставался повсюду верным этой своей концепции. Его личные симпатии и антипатии, обусловленные чутьем великого гения к проявлениям народной жизни, шли часто вразрез с собственной доктриной, оказывавшейся слишком узкой для его глубоко гуманных общечеловеческих установок.

Подходя с этой точки зрения к тексту «Истории Пугачева», надо предварительно снять с него ряд слоев, определявших сложную ситуацию, в которой находился поэт. Надо изъять прежде всего все то, что привнесено было Пушкиным в целях избежания столкновений с царской цензурой; надо, далее, сквозь его дворянскую концепцию нащупать отражение пульса той народной жизни и тех инстинктов, которые стихийно влекли к себе Пушкина и которые делали для него столь близкими черты народных героев. При наличии этих оговорок приходится засвидетельствовать, что в обрисовке личности и деятельности Пугачева у Пушкина проходит гораздо больше положительных черт, чем это могло соответствовать его собственной схеме. Свет и тени перемещаются, если вдумчиво проанализировать материал.

На страницах «Истории Пугачева» Пушкин не скупится отмечать смелость и неустрашимость народного героя. Поэт подчеркивает, что

¹ Пушкин, Полное собр. соч., т. V, стр. 414, ГИХЛ, 1935; по этому изданию приводятся все дальнейшие цитаты.



Страница из кишиневских тетрадей 1821 г. с рисунками Пушкина (профили Марата, Занда, Лувеля и др.)

Пугачев в военных столкновениях всегда предводительствовал и находился в первых рядах. Так было в подступе к Оренбургу 2 ноября 1773 г. (стр. 307), так и в военных стычках с Карром (стр. 313), далее под крепостью Ильинской (стр. 319), в приступах к Яицкому городку в январе 1774 г. (стр. 333), в столкновениях с Михельсоном в июне 1774 г. (стр. 353), под Саратовом (стр. 372), под Царицыном (стр. 374—375). Пушкин не умалчивает об осведомленности Пугачева и его военном искусстве; так, с неизбежными оговорками, он пишет на стр. 309: «...не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных знаний и дерзости необыкновенной». По поводу военных событий под крепостью Татищевой в марте 1774 г. Пушкин отмечает: «Распоряжения Пугачева удивили кн. Голицына, не ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве» (стр. 337). В конце 7-й главы Пушкин прямо говорит о Пугачеве, как о предприимчивом и деятельном мятежнике. По поводу военных действий на Волге в конце июля 1774 г. Пушкин замечает: «Пугачев стремился с необыкновенной быстротой, отряжая во все стороны свои шайки. Не знали, в которой находился он сам. Настичь его было невозможно: он скакал проселочными дорогами, забирая свежих лошадей, и оставлял за собою возмутителей» (стр. 368).

В своей официальной книге Пушкин не мог быть откровенным. Наиболее самостоятельные его характеристики оказывались за бортом его «Истории». В январе 1835 г. он представил Николаю I свои заметки к «Истории Пугачева», как материал, который он «не решился напечатать», но «который может быть любопытен». Здесь он писал о военном искусстве Пугачева так: «Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должен признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своих целей. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно». Далее идет вывод, уже приемлемый для Николая I: «Нет худа без добра: пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен, и в 1775 г. последовало новое учреждение губерниям» и т. д. (стр. 454).

Наряду с знанием военного искусства Пушкин отмечает в Пугачеве черты человечности. Таков эпизод с пастором, приведенным к Пугачеву во время казанского пожара (от этого пастора, ходя в цепях по городским улицам, Пугачев в свое время получал милостыню). Пастор, ожидавший смерти, был принят Пугачевым ласково.

На последних страницах своей «Истории» Пушкин описывает разговор Пугачева, уже взятого под караул и скованного по рукам и по ногам, с академиком Рычковым. Рычков, отец убитого симбирского

коменданта, говоря о своем сыне, не мог удержаться от слез. Пушкин отмечает, что Пугачев, глядя на него, заплакал сам. Те же черты человечности выделяет Пушкин и в своей исторической повести; вспомним первое наблюдение Гринева в «Капитанской дочке» над Пугачевым: «Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого... все обходились между собою, как товарищи, и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю» (т. IV, стр. 377; ср. также стр. 381).

Пушкин, далее, подчеркивает силу духа Пугачева и смелые его ответы, когда он уже был выдан правительству: «я не ворон, а вороненок, а ворон-то еще летает», говорит он Панину. И далее: «Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен». Характерна и дальнейшая оговорка Пушкина: «Перед судом он оказал не ожидаемую слабость духа» (стр. 380).

Наконец, самая выдающаяся черта, которую подчеркнул Пушкин,— это умение Пугачева подойти к народу, к массам. «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более действовало, что объявление или публикации Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов» (стр. 446).

В противоположность высокой оценке сметливости, силы духа и неустрашимости Пугачева Пушкин расценивает действия его противников как вялые, робкие и нерасторопные. Об упомянутом выше оренбургском губернаторе Рейнсдорпе Пушкин сообщает, что, обезумевши от ужаса, он не подал никакой помощи отряду Чернышева (стр. 315); далее, что после нескольких неудач Рейнсдорп «уже не осмеливался действовать» (стр. 324). Первому главнокомандующему генерал-майору Карру Пушкин дает отрицательную и насмешливую аттестацию: «Карр был перед сим употребляем в делах, требовавших твердости и даже жестокости (что еще не предполагает храбрости, и Карр это доказал). Разбитый двумя каторжниками, он бежал под предлогом лихорадки, лома в костях, фистулы и порячки... Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел однакоже смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостью» (стр. 448). В начале ноября 1773 г. Карр, по рассказу Пушкина, теряет «вдруг свою самонадеянность» (стр. 313), а по получении известия о взятии Чернышева совершенно падает духом и думает уже «не о победе над презренным бунтовщиком, но о собственной безопасности» (стр. 316).

О коменданте Нижне-Озерной крепости, майоре Харлове, Пушкин отмечает, что накануне взятия крепости он был пьян, «но я не решился того сказать, — пишет Пушкин в своих заметках Николаю I, — из уважения его храбрости и прекрасной смерти» (стр. 447). Даже в опубликованном тексте «Истории Пугачева» Пушкин сумел отметить «неподвижность» начальников, например, то обстоятельство, что Фрейман, «предводитель робкий и нерешительный», стоял в Кизильской крепости, досадуя на своего товарища, а Станиславский, узнав, что Пугачев собрал значительную толпу, «отказался от службы и скрылся в любимую свою Орскую крепость» (стр. 354). Не умалчивает Пушкин и о том, как испугался Щербатов, получив известие о взятии Осы (стр. 355). Очень выразительно говорит Пушкин о жестокостях генерала Урусова: «казни, произведенные в Башкирии князем Урусовым невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений. «Иных растыкали по кольям, других повесили ребром за крюки, некоторых четвертовали. Остальных человек до тысячи (пишет Рычков), простили, отрезав им носы и уши» (стр. 451). В своих «Общих замечаниях» Пушкин обобщает, говоря, что все немцы, находившиеся в средних чинах, сделали честно свое дело (Михельсон и др.), «но все те, которые были в бригадирских и генеральских, действовали слабо, робко, без усердия: Рейнсдорп, Брандт, Карр, Фрейман, Корф, Валленштерн, Билов, Декалонг, etc., etc.» (стр. 453).

Даже о поэте Державине, действовавшем в то время против Пугачева, Пушкин говорит не без насмешки и осуждения. В связи с военными операциями под Саратовом, в августе 1774 г., Пушкин пишет: «Державин успел добраться до Саратова, откуда на другой день выехал вместе с Лодыженским, оставя защиту города на попечение осмелянного им Бошняка» (стр. 371), а в своих «Заметках» по поводу репрессий, предпринятых Державиным, Пушкин замечает: «И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости» (стр. 450). Желая отметить растерянность правительства, мобилизовавшего для подавления восстания летом 1774 г. гр. П. И. Панина, а также Суворова, прибывшего уже тогда, когда Пугачев был взят, Пушкин не без скрытой иронии замечает: «Таким образом покоритель Бендер пошел войною противу простого казака, четыре года тому назад безвестно служившего в рядах войска, вверенного его начальству» (стр. 367).

Из правительственных военных деятелей в эпоху пугачевского восстания Пушкин с положительной стороны безоговорочно выделяет

лишь А. И. Бибикова. «Это один из благороднейших характеров того времени, — пишет поэт, — свобода его мыслей и всегдашняя его оппозиция были известны», но тут же поэт отмечает, что Екатерина II никогда его не любила и что его подозревали благоприветствующим той партии, которая будто бы желала возвести на престол великого князя (стр. 448). Пушкин отмечает ежедневные мелочные досады и подлую дерзость временщиков, показывая, как часто достойные люди делались жертвой интриг. Он отмечает интриги Румянцева по отношению к Суворову и зависть первого к Бибикину (стр. 452). Таким образом Пушкин в своей «Истории Пугачева» отнюдь не является поклонником деятельности правительства и его военных ставленников¹.

Профессор Фирсов, давший, как известно, отрицательную оценку Пушкину, как историку, подчеркивает узко-сословную черту построения Пушкина и указывает на эпитет *сволочь*, которым пользуется поэт по адресу приставших к самозванцу инсургентов («История Пугачевского бунта» в академическом издании соч. Пушкина, т. XI, стр. 33, 1914). М. Н. Покровский также обращает внимание на выражение «чернь» и «сволочь», считая, что в них сказалось барское отношение Пушкина к деятелям революции низшего сословия². Но надо обратить внимание на то, что под словом «сволочь» в эпоху Пушкина часто разумелось нечто иное, нежели теперь. Так, Пушкин писал: «Около их скопилось неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторжников и бродяг всякого рода. Вся эта сволочь» и т. д. Из контекста ясно, что под башкирцами, татарами и калмыками разумелась сволочь не в смысле всякой дряни, а в первоначальном значении этого слова: «сволочь — что сволоклось в одно место. (Даль; см. В. Брюсов, «Мой Пушкин», стр. 185, 1929). Словом «чернь», обычно соответствовавшим у Пушкина французскому *populace*, также нельзя оперировать однозначно; порою оно просто значит «простонародье». Но, разумеется,

¹ Что касается «Капитанской дочки», в которой Пугачев расценивается Пушкиным аналогичным образом, то очень отчетливо его отношение Пушкина улавливается советскими читателями. Красноармеец Ч. Домен писал: «Мне Пушкин дорог за то, что написал «Капитанскую дочь» и что Пугачева, как героя и вождя революции и крестьян, провел в жизнь, в народ, под прикрытием «Капитанской дочери». И так Пушкин околпачил Николая Палкина I. Пушкин замазал ему глаза «Капитанской дочерью», в которой сидела гибель его династии и вообще буржуазного строя. Буржуазный класс за капитанскую дочь и Гриневым не видел, что за этими героями ходит герой настоящий, герой с мечом над головой самодержавия, воспитующий народный класс, интеллигенцию, революционеров. Вот вам и капитанская дочь. Нет, это Пугачев, а не капитанская дочь, настоящий герой» («Известия ЦИК СССР» от 5/1 1937 г.).

² М. Н. Покровский, Пушкин-историк (Пушкин, Полное собр. соч., приложение к журн. «Красная нива» за 1930 г., V, стр. 8—9).

необходимо допустить также и то, что Пушкин сознательно «чернил» простонародье, и не столько с точки зрения своих дворянских позиций, но очень ловко и тактично маневрируя перед царской цензурой.

Надо поражаться, что Николай I пропустил «Историю пугачевского бунта», лишь весьма незначительно ее искалечив¹. Трудность заключалась в том, что император пожелал сам просмотреть рукопись. Сохранилась тетрадь текста «Истории Пугачева» с собственноручными пометами Николая I. Она недавно была обстоятельно проанализирована Т. Г. Зенгер («Литературное наследство», т. XVI—XVIII). В поэзии Николай I не считал себя специалистом и передавал рукописи Пушкина другим лицам на просмотр. В текстах военной истории он решил разобраться сам. Мы теперь знаем, что Николая I покорило, что генерал Траубенберг мог «бежать» и быть убитым у ворот своего дома. Пушкину пришлось переделать и выпустить в печати это слово вовсе. Для Николая I также было неприемлемо такое же выражение о солдатах Валленштерна. Принята была поправка: «Отряд его смешался» (стр. 324).

По поводу убитых под Татищевой, тела которых плыли мимо крепостей, у Пушкина было следующее отступление: «В Озерной старая казачка (Разина) каждый день бродила под Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: «Не ты ли мое детище? не ты ли мой Стёпушка? не твои ли черные кудри свежа вода моет?» и, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп» (гл. 5). В этом отступлении эпизод из эпохи пугачевской борьбы очень выразительно переключается с памятью о Степане Разине. Николай I не пропустил мимо своего внимания этих строк, но довольно либерально пометил: «Лучше выпустить, ибо связи нет с делом». Пушкин воспользовался тем, что у Николая I не было решительного мнения, и перенес эти строки в примечание. Приходится отметить, что странным образом и в последних советских изданиях ГИХЛ эти строки исключены из основного текста (стр. 417). Также непонятным образом оказался нераскрепощенным от николаевской цензуры текст

¹ Уже по выходе книги в свет Пушкин отметил в своем дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева... Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении» (февраль 1835 г.). Даже в последнее десятилетие прошлого века образ Пугачева казался запретным. Очень любопытен отзыв композитора П. И. Чайковского, одно время замышлявшего сделать «Капитанскую дочку» сюжетом оперы. Он писал вел. кн. Константину Константиновичу 30 мая 1888 г.: «Я не думаю, чтобы оказалось возможным появление на сцене Пугачева. Ведь без него обойтись нельзя, а изображать его приходится таким, каким он у Пушкина, т. е. в сущности удивительно симпатичным злодеем. Думаю, что, как бы цензура ни оказалась благосклонной, она затруднится пропустить такое сценическое представление, из коего зритель уходит совершенно очарованный Пугачевым».

в фразе: «Суворов с любопытством расспрашивал пленного мятежника» (стр. 378). У Пушкина было: «славного». Пушкину пришлось заменить слово «славного» на «пленного», и эта замена удержалась во всех советских изданиях.

Наконец, самое поразительное: царь велел изменить заглавие и вместо «Истории Пугачева» печатать «История Пугачевского бунта», потому что, по выражению Николая, «преступник, как Пугачев, не имеет истории». До самого последнего времени заглавие, данное Николаем I, оказалось неотменным¹, между тем это обстоятельство очень существенно и должно было бы изменить отношение критики к исторической методологии Пушкина.

Историческую методологию поэта принято расценивать очень низко, и Пушкин считается стоящим не на уровне века в области теории исторического познания. Пушкин, как известно, был поклонником истории Карамзина. Летопись того типа, который культивировался Карамзиным, казалась поэту образцом исторического повествования. «Историю русского народа» Полевого, писанную автором вразрез с исторической традицией, установленной Карамзиным, Пушкин аттестовал очень сурово². Между тем Полевой уже находился под влиянием новейшей историографии, того же Тьерри и Гизо. М. Н. Покровский готов простить Пушкину пренебрежительное отношение к новым историческим веяниям, поскольку они проникали сквозь дилетантское (по выражению М. Н. Покровского) произведение Полевого, но делает упрек поэту, что он пропустил такую работу европейского типа, как «Древнейшее право руссов» Эверса³. Нет спора, что исследование Эверса оставило глубокий след в русской историографии. Мы памятуем признание С. М. Соловьева, подчеркнувшего в своих записках: «Не помню, когда именно попало мне в руки Эверсово «Древнейшее право руссов»; эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты. Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставит меня думать над русской историей» (Записки С. М. Соловьева, стр. 60).

Пушкин не преодолел этапа карамзинской историографии. Он держался «старой исторической школы, которая главную роль в исторической жизни народов относил к лицу и случаю» (Фирсов, стр. 29).

¹ Оно снято лишь в только что вышедших предъюбилейных изданиях Пушкина (1936 г.), ГИХЛ и «Academia».

² Впрочем, в сохранившихся набросках третьей статьи Пушкина о II томе «Истории» Полевого намечается другое, более благосклонное отношение поэта к этому труду.

³ М. Н. Покровский, Пушкин-историк, стр. 5.



Рисунок Пушкина на черновике первой песни «Полтавы», 1828 г.

Пушкин не останавливается на социальных группировках, не анализирует жизни общества, как столкновений интересов классов. Пусть так. Но нельзя Пушкину ставить в вину, что он не читал книжки Эверса. Присяжным историком он не был и специально за развитием историографии не следил. Однако нужно отметить важное обстоятельство. В своем труде Пушкин не преследовал задачи проанализировать в целом пугачевское движение. В цензурных условиях того времени он не мог и мечтать напечатать такой труд. Пушкин поставил себе очень скромную цель изображения исторической биографии Пугачева; его история кончается казнью Пугачева, и о движении на Поволжье после его смерти он не говорит ни слова. При оценке исторического труда Пушкина нельзя исходить из навязанного Пушкину Николаем I заглавия, расширительно толкуя его тему. У Пушкина не было разработанной методологии в области истории, но он обладал гениальным чутьем. Сказать, что он понимал процесс чисто индивидуалистически, было бы несправедливо. В «Истории Пугачева» рассеяны намеки, позволяющие отметить, что его кругозор был широк.

В своих «Общих замечаниях» Пушкин писал: «Весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны. (Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева)» (стр. 453). Разве приведенные соображения не являются основой для возможной характеристики пугачевского движения в разрезе столкновений интересов классов? Поучительно также и следующее замечание Пушкина о яицких казаках: «Бибиков понимал их и Пугачева, когда писал фон-Визину следующие замечательные строки: «...не Пугачев важен; важно общее негодование» (стр. 333). Пушкин подчеркивал популярность Пугачева и не мог не задумываться над причинами ее. Он писал: «Уральские казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-летняя казачка: на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал.— Расскажи, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом, — Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович. Когда я упо-

мянул о его скотстве и жестокости, старики оправдывали его, говоря: не его воля была, наши пьяницы его мutilи» (стр. 450).

Опрометчиво упрекать Пушкина в игнорировании им в «Истории Пугачева» факторов социальной жизни. Предварительно нужно учесть скудный состав источников, бывший в распоряжении поэта, специальную установку его на личность Пугачева, как тему его исторического исследования, те цензурные рамки, которые он не мог не чувствовать, и ту дворянскую концепцию, из которой он так или иначе исходил. К заслугам поэта, как историка, нужно отнести другое. Это — его язык, общий стиль его исторического повествования, его умение стройно и отчетливо описывать исторические явления в их последовательности и постепенности развертывания. Как много поучительного в этом простом описательном стиле для историков, всецело увлекшихся схематическими построениями и потерявших чутье к восприятию и изображению конкретной исторической действительности.

В эпоху Пушкина не была поставлена проблема критики исторических текстов. Значит ли это, что поэт без анализа ориентировался на любом материале, не расценивая его с точки зрения достоверности? Когда Пушкину пришлось вступить в полемику с Броневским, давшим критический разбор «Истории Пугачева», он показал, что вполне может разбираться в источниках, сопоставляя и проверяя данные различных документов. Приводя обширный свод разных материалов, на которые он опирался в своих примечаниях и приложениях к «Истории Пугачева», он отдавал себе отчет в их сравнительной ценности. Он, например, весьма выразительно отметил — «болтовня» (стр. 404) — по поводу краткой исторической французской записки „Histoire de la révolte de Pougatschef“.

В материалах другого обширного исторического цикла, посвященных Петру I (о чем речь впереди), Пушкин шел, может быть, элементарным, но вместе с тем критическим путем. В основу своей неосуществленной «Истории Петра I» он решил положить тридцатитомный труд И. И. Голикова «Деяния Петра Великого». В сохранившихся черновиках поэта мы видим выделенным общий ход жизни и деятельности Петра, осторожно извлеченный из труда Голикова. Конспектируя его изложение, Пушкин расставлял знаки вопроса и замечания (Когда? Сколько? Невероятно. Чего? и т. п.), считая, что приведенные Голиковым сомнительные или недостаточные данные нужно выверить по другим источникам. Чаще всего такие вопросы поставлены при изложении конкретных данных, цифр и т. п.

Личность Петра для Пушкина, как это ни покажется странным,

была в известной мере сродни Пугачеву, — по темпераменту и силе характера. В записях Пушкина о русском дворянстве 1830 г. читаем: «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)».

Образ Петра I занимает огромное место в творчестве Пушкина. В 1827—1828 гг. Пушкин пишет «Арапа Петра Великого», первое большое прозаическое сочинение. Из своих семейных преданий Пушкин взял фигуру А. П. Ганнибала, окружив ее описательно-бытовыми подробностями, связанными с личностью Петра I. В 1828 г. Пушкин создает свою последнюю романтическую поэму «Полтава», обильно используя исторические материалы о Мазепе и о Полтавской битве. Для Пушкина Петр I был не только значительной фигурой среди деятелей русской истории; личность Петра интересовала Пушкина не только в плоскости поэтических черт, связанных с образом Петра, — Петр I был для Пушкина одним из тех исторических явлений, на которых он строил свои социологические обобщения. По изменению оценки Пушкиным исторической роли Петра I можно судить о сдвигах в социально-политических взглядах поэта. Первоначально Пушкин, усматривая в Петре черты деспотизма в духе Наполеона, высказывался, однако, вполне положительно о его деятельности; он писал о Петре в своих исторических замечаниях (1822 г.): «Аристократия после него неоднократно замышляла ограничить самодержавие, к счастью хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных». Этот взгляд Пушкина вскоре сменился другим отношением поэта к делу Петра. Реформы, связанные самодержавной волей Петра I, были прогрессивным явлением для тогдашней России, но Пушкину в современных ему представителях самодержавия приходилось наталкиваться на такие отрицательные черты, что он начинал колебаться и в оценке родоначальника императорской власти в России. Против гнета самодержавия в нем поднимался протест, созвучный установкам декабристов, и он уже готов был взглянуть на дворянство, как на хорошо организованный класс, являющийся защитником законности и права перед верховной властью.



Цушкин верхом на лошади. Автопортрет

В «Медном всаднике» (1833 г.) Пушкин, хотя и ищет примирения с мощным «властелином судьбы», творцом любимого Пушкиным Петербурга, но заявляет свой протест с точки зрения загубленных Петром I жизней. В образе «горделивого истукана» недвусмысленно проступают черты великого разрушителя, подавляющего такие искания свободы, как замыслы декабристов. Надо помнить, что Николай I расценивал себя как преемника дела Петра I и в последнем хотел усмотреть свой прообраз. Пушкин засвидетельствовал это сопоставление в стансах «В надежде славы и добра». Согласно высказываниям поэта 1834 г. можно думать, что у Пушкина к концу жизни установилось двойственное отношение к Петру I. Он писал: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами, первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика»¹.

При исключительно обостренном интересе к личности и деятельности Петра I понятно то волнение, которое охватило поэта, когда ему в 1831 году был открыт доступ в архивы для составления истории Петра I. Бенкендорфу Пушкин писал о работе над историей Петра, как о давнишнем своем желании. М. П. Погодину, которого поэт хотел привлечь к сотрудничеству в своих исторических работах, он сообщал в апреле 1834 г.: «К Петру приступаю со страхом и трепетом». Поэт хотел жизнь Петра I сделать предметом двух работ: исторической и поэтической. В своих воспоминаниях о Пушкине В. И. Даль писал: «Пушкин потом воспламенился в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого, и говорил, что, кроме деэписания об нем, создаст и художественное в память его произведение». Тут же Даль приводит собственные слова Пушкина: «я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, — надо отодвинуться на два века, — но постигаю его чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надо торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься; время это исправит».

Посетивший Пушкина за три недели до его смерти переводчик дневника генерала Гордона (ценнейшего документа для характери-

¹ Ср. «Литературное наследство», т. XVI—XVIII, стр. 490; в этом томе дан предварительный обзор материалов Пушкина по Петру I пишущим эти строки.

стики времени конца XVII в.) Д. Е. Кёлер, беседовавший с поэтом об истории Петра I, так пишет об отношении Пушкина к Петру: «Об этом государе, — сказал он между прочим, — можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляли разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия»¹.

Современники Пушкина с большим интересом относились к дошедшим до них слухам о новых занятиях поэта. Кроме приведенного выше, мы располагаем отзывами А. В. Веневитинова, Погодина, О. М. Сомова, А. И. Тургенева, Чаадаева, А. Я. Булгакова, В. А. Муханова, Н. М. Языкова, А. М. Языкова, Е. А. Энгельгардта и др. Приведем выдержку из письма И. В. Росковшенко к И. И. Срезневскому от 22 октября 1831 г.: «Пушкин живет в Царском селе; он остепенился, и пишет, как ты думаешь, что? Поэму? Нет! Трагедию? Нет! — Сказать ли? Любопытно ли тебе знать? Ну, слушай. Ему открыты все архивы, и он пишет историю Петра Великого. Каково! Ты не ожидал сего от Пушкина. Новые гениальные способности!»

Однако, условия петербургской жизни 30-х годов мало способствовали научным и литературным занятиям поэта. История Петра в законченном виде у Пушкина так и не осуществилась. Как это и естественно для поэта, тема о Петре Великом прежде всего послужила Пушкину толчком для его поэтических созданий: в первом томе «Современника» (1836 г.) мы находим пьесу Пушкина «Пир Петра Первого». Что же касается архивов, то Пушкину не пришлось вовсе заняться подлинными делами эпохи Петра.

Поэт был очень скромнен в оценке своих исторических знаний. До конца жизни он считал себя плохо ориентированным в литературе эпохи Петра I. 14 октября 1836 г., благодаря М. А. Корфа за присылку книг по Петру I, он писал: «Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна». Вместе с тем после смерти поэта в его кабинете была обнаружена большая стопа бумаг с черновыми записями по истории Петра I. Они заключают упомянутые выше конспективные выписки из девяти томов «Деяний Петра Великого» И. И. Голикова. Даты, проставленные на полях, определяют время составления этих записей — 1835 год. Скрепленные жандармской сшивкой, выписки Пушкина составили тридцать одну тетрадь, давших в совокупности около

¹ Соч. Пушкина, под ред. П. А. Ефремова, изд. А. С. Суворина, т. VIII, стр. 586.

пятнадцати листов печатного текста. Записи представляют несомненный интерес, поскольку они не являются повторением голиковского текста, а носят на себе следы переработки Пушкина: многое поэт изложил по-своему, свойственным ему языком, кроме того, в пушкинском тексте немало самостоятельных отступлений — характеристик, пояснений, обобщений, не говоря уже о том, что в подборе ряда выписок сказалась определенная точка зрения самого Пушкина.

Приведем примеры оценок Пушкина в его черновых выписках: «5 февраля (1722 г.) Петр издал манифест и указ о праве наследства, т. е. уничтожил всякую законность в порядке наследства, а отдал престол на произволение самодержца». Под тем же 1722 г. Пушкин записал: «Петр был гневен. Несмотря на все его указы, дворяне не явились на смотр в декабре. Он 11 января издал указ, превосходящий варварством все прежние, в нем подтверждал он свое повеление и изобретает новые штрафы. Нетчики поставлены вне закона».

Следует задать себе вопрос, какую цель ставил себе поэт, перелагая в сжатом виде ход жизни и деятельности Петра I по «Деяниям Петра Великого», — ведь таких записей оказывается не менее пятнадцати печатных листов. Здесь мы наталкиваемся на очень оригинальный способ работы Пушкина, идущий вразрез с обычной практикой исторической работы. Прежде всего надо оставить мысль, что черновые записки сделаны Пушкиным в целях усвоения труда Голикова. Это не простой конспект, к которому мы прибегаем для лучшего обозрения сложного и объемистого исследования. Материал у Голикова расположен в очень наглядной хронологической последовательности, с отчетливыми рубриками и указанием содержания на полях отдельных частей. Конспект дан самим автором, и в дублировании его не было никакой нужды. Одна запись Пушкина выявляет назначение его сжатого обозрения истории Петра: излагая по Голикову (ч. I, стр. 322) о действиях Якова Долгорукова под Перекопом, Пушкин пометил: „*Seigrez, serrez*“. Очевидно, Пушкин здесь уже думал о будущем тексте своей собственной истории, вырабатывая сжатый стиль изложения исторических событий. Таким образом в сохранившихся пушкинских черновиках мы имеем ту канву исторического рассказа, которая должна была лечь в основу неосуществленной «Истории Петра». Это подтверждается характером изложения в «Истории Пугачева»: в ней также Пушкин был очень близок к источникам, на которые он опирался, он накладывал на материал лишь свой стиль рассказа — отчетливого, сжатого, и конкретное повествование. Но зададимся вопросом: неужели же Пушкин считал возможным быть настолько самостоятельным по отно-

шению к Голикову? А архивные данные? А подлинные документы, которые он привлек к «Истории Пугачева» и которых он добивался в отношении к эпохе Петра? Сообщение Кёлера, цитировавшегося выше, проливает свет на эту сторону дела. Кёлер писал: «А. С. на вопрос мой — скоро ли будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего не написал, занимался единственно собиранием материалов; хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам» (разрядка наша.—П.П.)

Последние слова находят свое подтверждение в сохранившихся черновиках Пушкина. В его рукописях, как указано выше, пестрят вопросительные знаки и другие пометы, указывающие на то, что Пушкин предполагал в других источниках искать уточнений и дополнений к сведениям, взятым из «Деяний Петра Великого».

Приведем примеры.

Вот пушкинская тетрадь с изложением событий 1696 г. Пушкин, например, фиксирует: «Петр писал к Апраксину в Архангельск». Рядом в скобках он проставляет «когда». Излагая осаду города при втором Азовском походе, Пушкин записывает: «несколько судов... во время битвы прошли в Азов и доставили осажденным 3000 бомб, 5000 гранат, 500 ружей, 700 копий, 86 бочек пороху и на 3000 человек запасов». Сомневаясь в количестве копий, Пушкин против числа их поставил знак вопроса, а в конце всей фразы пометил: «все это рассказано Голиковым очень сбивчиво». В той же рукописи Пушкин отметил: «Яков Вилимович Брюс сочинил... карту от Москвы к югу до берегов Малой Азии, и Крымскую татарину». Рядом стоит помета: «Достать из Главного штаба».

Под 1697 г. по поводу заговора Соковнина и Цыклера Пушкин записал: «В истории Меншикова сказано, что некоторые из оппозиционных вельмож приблизились к нему, стараясь и его привлечь на свою сторону: что таким образом узнал он о заговоре и донес о том государю». Рядом в скобках стоит: «невероятно».

Среди изложения событий 1712 г. читаем: «Указом 11 июня Петр повелел Сенату судить сенаторов, оставшихся в Москве и ослушавшихся указа государя касательно высылки дворянина Головкина (чем дело кончилось? и кто был сей Головкин?)».

В рукописи XX, в которой идет речь о 1722 г., значит: «24 янв. издана табель о рангах (оную и зучить)».

Мы видим, что Пушкин шел несколько необычным путем в своей исторической работе. Если историки начинают с изучения рукописных

материалов, сопоставления их, выписок из них и т. д., то Пушкин в своей работе вначале ставил идею целого и, в связи с этим, — общий план изложения. Уже выработав основную линию повествования, Пушкин предполагал привлечь рукописный документальный материал, чтобы осветить и уточнить те данные, которые вызывали сомнение или составляли для него особый интерес.

Для своего времени труд Голикова считался исчерпывающим. Высказывались насмешливые замечания по поводу нелепого слога первого историка Петра I, но основной свод его считался непоколебимым. Пушкин, как видно, готов был положить труд Голикова в основу своего труда, но до выправки сведений из Голикова по другим источникам и документальным данным дело не дошло. Не потому ли, что Пушкин все же усомнился, можно ли настолько близко держаться Голикова и исходить из него? Его отзывы о грандиозности задачи написания истории Петра I и вышеприведенная аттестация своих знаний в переписке с Корфом показывают, что Пушкин очень колебался в достаточности и закономерности своего подхода. По сохранившимся черновикам видно, что он оборвал свои занятия в конце 1835 г. и дальше в своей работе не пошел. Тетради Пушкина свидетельствуют об одном из предварительных этапов его исторической работы.

Любопытна судьба этих черновых тетрадей. После смерти Пушкина их пожелал просмотреть Николай I. В неопубликованном письме к Николаю I от марта 1837 г. В. А. Жуковский писал: «Основываясь на том, что я имел счастье лично слышать от вашего императорского величества, я уведомил министра народного просвещения, что ваше величество насчет издания сочинений Пушкина соизволили изъявить мне следующее: «сочинения уже напечатанные пропустить, не подвергая их новому разбору; сочинения еще не напечатанные отдать в цензуру для разбора по установленному порядку; все рукописи, касающиеся до Истории Петра Великого, предварительно представить вашему императорскому величеству» (письмо хранится в Пушкинском доме в Ленинграде).

Николай I признал в цензурном отношении материалы по истории Петра I неприемлемыми, и они были отложены. Когда в 1839—1840 гг. было намечено посмертное издание неопубликованных при жизни произведений Пушкина, вопрос о материалах по истории Петра был пересмотрен.

В феврале 1840 г. В. А. Жуковский писал Николаю I: «Сочинения Пушкина, оставшиеся по смерти его, собраны и скоро будут приготовлены к изданию в свет. В числе их находится рукопись, содержащая материалы для истории Петра Великого, которую я уже имел

счастье представлять на рассмотрение вашего императорского величества. Тогда вы соизволили заметить, что сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений насчет Петра Великого. Теперь манускрипт пересмотрен со вниманием и все замеченное или выброшено или исправлено. Испрашиваю всеподданнейше позволения у вашего императорского величества напечатать сию рукопись; ибо исключением оной из сочинений Пушкина прибыль от издания их в пользу его детей может уменьшиться на 25 000 рублей». (Не напечатано, хранится в Всесоюзной Публичной библиотеке им. Ленина).

В 1840 г. рукопись была пропущена цензурой, но было сделано столько выкидок с «непочтительными» отзывами о Петре I, что текст оказался обескровленным, и издатели, которым было продано право опубликования посмертных произведений Пушкина, от *Истории Петра I* в таком виде отказались. В 1841 г. рукопись была сдана на руки Н. Н. Пушкиной ввиду того, что Опекунство «при всем старании своем не могло продать книгопродавцам рукописи сей для издания оной в свет и не имеет надежды в скором времени продать оной». В 50-х годах Анненков по копии опубликовал в новом полном Собрании сочинений Пушкина несколько отрывков из «Истории Петра», используя частично места, запрещенные цензурой. Дополнительно ряд этих цензурных выкидок был воспроизведен в публикации Анненкова 1880 г. («Идеалы А. С. Пушкина»), но текст в целом всей «Истории Петра» оставался неопубликованным.

Самые рукописи затерялись и считались утраченными. В 1917 г. они были случайно обнаружены в усадьбе в Лопасне под Москвой Натальей Ивановной Гончаровой, племянницей жены поэта. Часть листов уже была растащена, и затерявшийся ящик с рукописями был обнаружен в связи с тем, что одним из листов была устлана клетка канарейки; взглядевшись в этот листок, убедились, что он исписан рукой поэта.

Из тридцати одной тетради уцелело лишь двадцать две. Эти двадцать две тетради через Щеголева поступили в Пушкинский дом в Ленинграде, где и хранятся в настоящее время. Текст утраченных девяти тетрадей можно восстановить по сохранившейся копии, цензуrowанной в 1840 г. За годы революции были дополнительно опубликованы тексты двух неизвестных тетрадей. Впервые целиком тексты всех тридцати одной тетрадей будут напечатаны в академическом издании Пушкина, выпускаемом в связи со столетней годовщиной со дня смерти поэта.

М. В. Нечкина

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ¹

Либеральная легенда о непричастности Пушкина к революционному движению родилась у постели умирающего поэта. Ее авторы — В. А. Жуковский и П. А. Вяземский — приняли меры, чтобы «спасти» репутацию крамольного Пушкина хотя бы после его смерти. Их разговоры и письма создали образ аполитичного Пушкина. «Какой он был политический деятель! Он был поэт и только поэт!» — писал Вяземский².

Составным элементом легенды было противопоставление Пушкина до 1825 г. Пушкину после 1825 г. При этом монархические убеждения и преданность Пушкина самодержавию во второй период считались бесспорными. Жуковский, правда, с головою выдал себя, сочинив обращенные к Николаю предсмертные слова Пушкина: «был бы весь его». Сослагательное наклонение Жуковскому пришлось применить и в формулировке, что гений Пушкина «вспыхнул бы к чести Николая», если бы поэт остался жив. И в том и в другом случае было невозможно применить изъявительное наклонение: Николай I не поверил бы ему. Друзья Пушкина пытались таким способом спасти и материальное благополучие его семьи и право на новые издания его произведений. Эту легенду приняла и развила дальше дворянско-буржуазная наука. Образ «аполитичного» Пушкина, «только поэта» нашел в ней широчайшее применение. Легенда эта ни в малейшей мере не соответствует исторической действительности. Во всей истории дореволюционной литературы не найти ни одного гениального поэта, который был бы теснее, чем Пушкин, связан с революционным движением своей страны.

¹ Статья печатается в сокращенном виде; полностью работа автора публикуется в журнале «История Марксизм».

² Письмо П. А. Вяземского см. в кн. П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Птр., 2-е изд., стр. 267, 1917.

Искажение подлинного облика Пушкина не является единичным случаем в истории науки. Легенды такого же типа складывались неоднократно. Так, Пьпин развил либеральную легенду о декабристах, «доказывая» их полную непричастность к революции. Сложилась либеральная легенда и вокруг Льва Толстого, начисто отрывавшая его от революционных событий его времени. Легенда эта была разоблачена Лениным. Даже вокруг знаменитого восстания в Бездне в 1861 г. ухитрился герценовский «Колокол» (в тактических целях, конечно) сложить либеральную легенду о полном якобы отсутствии революционного элемента в этом крестьянском протесте против условий барской «воли».

Пушкина нельзя понять без раскрытия его глубоких и крепких связей с революционным движением его времени, как невозможно понять и движение декабристов без раскрытия идеологической роли в нем Пушкина.

«Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков», — писал Пушкин своему другу Вяземскому 10 июня 1826 г. О факте близости Пушкина с декабристами, об их дружеских отношениях было известно давно. Но дореволюционное исследование не могло и не хотело вскрыть всю глубину взаимоотношений Пушкина и декабристов. Она доступна только нашему времени. Дворянско-буржуазная наука усиленно замазывала эту сторону дела, да не обладала для этого и полнотой исторических данных. Вопрос этот обычно освещался в плане личных знакомств Пушкина с декабристами или впечатления, которое казнь декабристов произвела на Пушкина. Их *идейная* близость обходилась молчанием, как и идеологическая роль произведений Пушкина для декабристов (для изучения последней, кстати, не было и нужного материала: внутренняя история тайных обществ не была изучена).

Пушкин не был декабристом, но история его политического сознания тесно связана с декабристами и его революционные стихотворения сыграли большую идеологическую роль в декабрьском движении. Поэтому ни Пушкина нельзя понять без декабристов, ни декабристов — без Пушкина.

Политическая идеология Пушкина открывается тем же ключом, какой дан Лениным для исследования движения декабристов в целом. Ленин начинает декабристами историю революции. Он дает им почетное имя революционеров и одновременно дает классовое определение их революционности: декабристы — дворянские революционеры.

Крайне неправильно прилагать к Пушкину внеисторический кри-

терий «революционности вообще». Тот этап революционного развития в России, с которым соприкасаются годы жизни и творчества Пушкина, характеризуется Лениным как этап «дворянской революционности»¹. Ленин писал: «Освободительное движение в России прошло три главных этапа, соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 г.; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 г.; 3) пролетарский с 1895 г. по настоящее время. Самыми выдающимися деятелями дворянского периода были декабристы и Герцен»². В самом термине «дворянская революционность» Ленин оттенил классовую ограниченность движения и, вместе с тем, подчеркнул его революционную суть.

Революционность Пушкина включается в очерченный Лениным круг дворянской революционности. Она классово ограничена: ей присуща боязнь массового движения и крестьянского бунта, для нее характерна тактика военной революции. Но это было первое революционное движение против царизма — не стихийное, а организованное и освященное политическим сознанием. «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма», — говорил Ленин в Цюрихе рабочей молодежи в 1917 г. в докладе о революции 1905 г.³ Ленин считал, что мы должны гордиться декабристами: «Нам больше всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызвали отпор из нашей среды, из среды великороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов...», писал Ленин в статье «О национальной гордости великороссов»⁴.

Революционность декабристов и революционность Пушкина — явления одного и того же порядка, развитие которых идет одним и тем же путем. После разгрома восстания декабристов Пушкин начинает расти в сторону демократической революционности следующего этапа, определенного Лениным, — он устанавливает связи с Белинским, тяготеет к разночинскому кругу идей.

Ода «Вольность» (1817) написана восемнадцатилетним Пушкиным только что сошедшим с лицейской скамьи. Она навеяна знаменитой одноименной одой Радищева: «вслед Радищеву восславил

¹ Ленин В. И. Сочинения. 3-е изд. Т. X, стр. 39.

² Там же. Т. XVII, стр. 341—342.

³ Там же. Т. XIX, стр. 348.

⁴ Там же. Т. XVIII, стр. 81, курсив Ленина.

я свободу», — писал позже Пушкин. Большое влияние на Пушкина имела в то время семья Тургеневых, один из членов которой — Николай Тургенев — в скором времени вступил в тайное общество декабристов. (Мрачный символ Павловского царствования — Михайловский замок, образ которого дан в «Вольности», был виден из окон квартиры Тургеневых, где и была написана ода).

В 1817 г. уже существовала тайная организация декабристов — Союз спасения (1816—1818). Ближайший друг Пушкина И. И. Пущин был членом союза. Основным политическим требованием организации было завоевание конституционной монархии. Враждавший в кругу членов тайного общества Пушкин жил теми же политическими идеями.

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью Святой
Законов мощных сочетанье.

Пушкин дерзал воспевать ограничение тирана законом в мрачную пору «Священного союза», в стране крепостных рабов и неограниченного самодержавного произвола, военных поселений и аракчеевского застенка. «Вольность» грозила тиранам «кровавой плахой вероломства» или омерзительной для поэта расправой в царской спальне — дворцовым переворотом, расправившимся с Павлом I. Для Пушкина были неприемлемы оба пути.

Некоторые исследователи, пытавшиеся умалить политическое значение лозунгов «Вольности», подчеркнуть их «умеренность», прилагали к ее идейно-политическому содержанию термин «жирондизма». Но жирондисты — партия, существовавшая в эпоху уже победившей французской революции, действовавшая наряду с другими — более левыми — партиями, а «Вольность» — произведение, возникшее в мрачной самодержавной стране, где революция была лишь далекой перспективой. В такой обстановке внешне якобы очень «умеренный» лозунг конституционной монархии звучал по-особенному. Понимать его здесь как либеральный лозунг «мирного» прогресса значит подходить к нему с кадетской точки зрения. Эта точка зрения разоблачена Лениным в работе «Об оценке текущего момента» (1908). «Нельзя не вспомнить, — писал Ленин, — замечательно глубокого указания Энгельса... на значение *перехода* от монархии абсолютной к монархии конституционной. В то время как либералы вообще и русские к.-д. в особенности видят в таком переходе проявление пресловутого «мирного» прогресса и гарантию такового, Энгельс ука-

зал на историческую роль конституционной монархии, как формы государства, облегчающей решительную борьбу феодалов и буржуазии»¹.

Кроме кадетской оценки «Вольности», как умеренно-либерального, «мирного» произведения встречается еще одна глубоко ошибочная оценка, к сожалению, нашедшая место в массовом издании — в пушкинском одномомнике Гослитиздата, вышедшем полумиллионным тиражем. Автор помещенного здесь биографического очерка «Пушкин» Б. Томашевский утверждает, что идеология «Вольности» есть идеология... французского легитимизма². Что общего у «Вольности» с контрреволюционной черносотенной теорией «законности» династий, свергнутых революцией с престола?! Никогда, ни на одном этапе своего существования теория легитимизма не была прогрессивной. Перед глазами пушкиниста к тому же имеется живой пример носителя подобной идеологии — легитимиста Дантеса. Уже одно это должно было бы предохранить от подобной ошибки. Неужели же «Вольность» написана с политических позиций Дантеса? Такое утверждение было бы чудовищным.

Во имя «Закона», ограничивающего власть «тирана», Пушкин бросает в «Вольности» открытый призыв к восстанию. «Восстаньте падшие рабы!» — эти слова Пушкина обращены к народным массам.

Крайне неправильно считать аргументом за «нереволюционность» оды «Вольность» отрицательное отношение Пушкина к убийству Павла I. Это отрицательное отношение вообще было свойственно декабристам. Они не пошли путем дворцового переворота — они вышли во главе войск на площадь столицы, перед лицом народа, — открыто, с оружием в руках. «Серальный переворот был для них противен», — метко схватил Герцен эту черту декабристов³.

Вот что пишет о расправе с Павлом I один из самых левых декабристов — А. Поджио в своих «Записках»: «Пьяная, буйная толпа заговорщиков врывается к нему и отвратительно, без малейшей пражданской цели, его таскает, душит, бьет... и убивает!.. Убийцы были напращены; за ними был легкий и жалкий успех! Нет, не они нам пример»⁴.

Строфы Пушкина в «Вольности» о расправе с Павлом I — отражение точки зрения декабристов. Надо подчеркнуть особую крамоль-

¹ Ленин В. И. Сочинения. 3-е изд. Т. XII, стр. 379. Курсив Ленина.

² А. Пушкин. Сочинения. Ред. Б. Томашевского, ГИХЛ, стр. XXXII, 1936.

³ А. И. Герцен. Письмо к Александру II (по поводу книги барона Корфа): Собр. сочинений под ред. Лемке, т. IX, стр. 32.

⁴ А. Поджио. Записки, сб. «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 20-х годов». М., стр. 62, 1931.

ность этих строк: Пушкин осмелился говорить о «стыде» и «ужасе» тайного убийства в дворцовой спальне, когда участник убийства сидел на престоле. Недаром ода «Вольность» и явилась основной причиной ссылки Пушкина на юг.

В 1817 г. Союз спасения был ликвидирован, и возникло второе тайное общество — Союз благоденствия.

В этом новом обществе будущие декабристы принимают и новую тактику — они стремятся организовать широкое общественное мнение против монархии Александра I и Аракчеева, создать широкую массовую тайную организацию. По замыслу декабристов, в Союз благоденствия должны были приниматься не только дворяне, но и купцы, мещане, попы, некрепостные крестьяне. Цель тайного общества, по показанию Пестеля, остается революционной и на этом этапе. Союз благоденствия должен широко развить вокруг себя сеть филиалов — литературных, педагогических, женских и всяких других вольных обществ, действующих в его духе. Одним из его филиалов было тайное литературное общество «Зеленая лампа», собиравшееся на квартире друга Пушкина — Н. Всеволожского. Пушкин был активнейшим членом этого филиала Союза благоденствия. В старой буржуазной литературе было высказано о «Зеленой лампе» глубоко ложное мнение, не имевшее ничего общего с исторической действительностью: «Зеленая лампа» обрисовывалась, как светское общество молодых ловеласов, связанных кутежами и общими любовными приключениями. К сожалению, эту фальшивую характеристику некоторые исследователи пытаются возродить и сейчас. Против нее говорят документы. Политическая сторона этого тайного литературного общества несомненна, особенно после опубликования Б. Л. Модзалевским остатков архива «Зеленой лампы». Сохранился замечательный документ о политических идеалах «Зеленой лампы». На одном из заседаний член «Зеленой лампы» — вероятно Улыбышев — прочел сочиненную им утопию под названием «Сон». Вполне вероятно, что завсегда той «Зеленой лампы» Пушкин был в числе слушателей этой утопии. Улыбышев описывал будущую послереволюционную Россию, будущий Петербург, якобы увиденный им во сне, и подчеркивал, что его «Сон» характеризует политическое мнение не его одного, но и всех членов «Зеленой лампы». Мрачный символ павловского гнета — Михайловский замок превратился в этой утопии в «Дворец государственного собрания», Аничков дворец стал «Пантеоном», но среди собрания статуй великих людей не было статуи Александра I. Вместо монастыря — триумфальная арка, «как бы воздвигнутая на развалинах фанатизма». Освобожденный народ забыл о христианстве и

православии — в величественном храме отправляется новый культ, похожий на культ «Высшего существа» в эпоху Конвента. На том берегу Невы возвышается открытое для всех и для всех равное «Святилище правосудия». Уничтожен и герб империи — двуглавый орел — «символ деспотизма и суеверия»; вместо него принят герб, изображающий феникса, парящего в облаках и держащего в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника... Но сон прерывается. Автор просыпается от звуков рожка и барабана и воплей пьяного мужика, которого тащат в участок...

Пушкин посвятил «Зеленой лампе» и ее членам не одно стихотворение. Он ярко отразил ее политический характер в незаконченном «Послании к «Зеленой лампе».

Горишь ли ты, Лампада наша,
Подруга бдений и пиров,
Кипишь ли ты, золотая чаша
В руках веселых остряков?..

Он говорит о том скрепленном взаимной клятвой союзе,

Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство.

Красный фригийский колпак — символ революционной Франции — недаром вспомнился Пушкину в этом послании.

Повидимому, причастность Пушкина к Союзу благоденствия не исчерпывается его участием в финале Союза — «Зеленой лампе». Напрашивается предположение, что Пушкин был участником заседаний и самого Союза. Об этом с большой отчетливостью говорят дошедшие до нас отрывки X песни «Евгения Онегина». В описании «сходок» Союза благоденствия Пушкин включает себя в круг его членов:

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи¹

.....
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры

¹ Никита Муравьев и Илья Долгоруков — в этот момент оба члены Союза благоденствия.

И вдохновенно бормотал.
 Читал свои нозли Пушкин,
 Меланхолический Якушкин,
 Казалось, молча обнажал
 Цареубийственный кинжал.
 Одну Россию в мире видя,
 Преследуя свой идеал,
 Хромой Тургенев им внимал
 И, плети рабства ненавидя,
 Предвидел в сей толпе дворян
 Освободителей крестьян.

Нарисованная Пушкиным картина заседания тайного общества теснейшим образом связала его самого со всем декабристским коллективом, сделала его свидетелем важнейших моментов жизни тайного общества.

Стихи Пушкина «К Чаадаеву» (1818), «Noël» (1818), «Деревня» (1819) отражали основные политические требования тайных обществ, — их борьбу против самодержавия и крепостного права. В стихотворении «Деревня» Пушкин пишет:

Здесь братство дикое, без чувства, без закона,
 Присвоило себе насильственной лозой
 И труд, и собственность, и время земледельца.
 Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
 Здесь рабство тощее влачится по браздам
 Неумолимого владельца.

Этот яркий протест против крепостного права играл огромную агитационную роль в декабристской среде. Здесь с большой полнотой дана формула крепостного права — присвоение труда, собственности и времени земледельца насильственной лозой.

В сатирической рождественской песне «Noël» Пушкин остро высмеял конституционные обещания Александра I:

Ура! В Россию скачет
 Кочующий деспот¹.
 Спаситель горько плачет,
 А с ним и весь народ.

¹ Александр I, игравший руководящую роль в контрреволюционном Священном союзе, почти все время жил за границей. Слова о прусском и австрийском мундире — намек на Священный союз.

Мария в хлопотах Спасителя спрашивает:

«Не плачь, дитя, не плачь, сударь,
Вот бука, бука — русский царь».

Царь входит и вещает:

«Узнай народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.

Закон постановлю на место вам Горголы¹,

И людям — все права людей
По царской милости моей
Отдам из доброй воли».

От радости в постеле
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле,
Неужто не шутя?»

А мать ему: «Бай, бай, закрой свои ты глазки,

Пора уснуть бы, наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».

Против «самовластия» агитировало и «Послание к Чаадаеву»:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластия
Напишет наши имена.

В мае 1820 г. Пушкин был сослан на юг. Ода «Вольность» и огромная агитационная сила других его стихов были главной причиной ссылки. «Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает», — сказал Александр I директору лицея Энгельгардту².

Ссылая Пушкина на юг, Александр I и не предполагал, что бросает поэта в кипящий революционный котел, — самый бурный, какой

¹ Горголы — петербургский полицмейстер.

² И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири. М. 120 стр. 1925.

только существовал тогда в России. На юге в 1820 г. действовала наиболее радикальная южная управа Союза благоденствия, значительная ячейка которой находилась в Кишиневе. Глава этой кишиневской ячейки декабрист Михаил Орлов, Владимир Раевский, генерал П. С. Пущин — таков был круг близких знакомых Пушкина, членов тайного общества.

Когда декабрист Якушкин приехал на юг для созыва делегатов на московский съезд Союза благоденствия, он встретился с Пушкиным в имении Давыдовых — Каменке. В этом революционном гнезде южных декабристов Якушкин прочел Пушкину его «Noël» — стихи уже успели широко распространиться. Вообще в России того времени, по свидетельству Якушкина, «не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии», который не знал бы наизусть вольнолюбивых стихов Пушкина¹. Желая сбить с толку Раевского, подозревавшего о тайном обществе, декабристы инсценировали в Каменке собрание для обсуждения вопроса, нужно ли существование в России тайного политического общества. Пушкин с жаром защищал его необходимость. Сначала декабристы представили дело так, что в России действительно существует тайное общество, потом Якушкин расхохотался и все объявил шуткой. Все смеялись, кроме Пушкина, который был очень взволнован. «Он перед этим уверился, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом, но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал раскрасневшись и сказал со слезой на глазах: «я никогда не был так несчастлив как теперь, я уже видел жизнь мою облагороженную и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен»², — пишет в своих записках декабрист Якушкин.

Формально Пушкин не был принят в тайное общество. Тому были разные причины. С одной стороны, декабристы оберегали поэта от превратностей жизни члена тайной организации, с другой — сомневались в том, что Пушкин сумеет сберечь тайну, потому что он открыто проповедывал против правительства во всех кишиневских кофейнях. Но ни разу вопрос об идейном расхождении не выставлялся декабристами как причина непринятия Пушкина в члены. Наоборот, декабристы неоднократно подчеркивали, что идеологических расхождений между ними и Пушкиным не было.

В Каменке же накануне съезда Союза благоденствия декабри-

¹ И. Д. Якушкин. Записки. М., стр. 51, 1925.

² Там же. 53.



Н. Кузьмин. Пушкин среди декабристов

„...У них свои бывали сходки...“ («Евгений Онегин»)

На рисунке изображены: Трубецкой, Н. Муравьев, Чаадаев, Н. Тургенев, Кюхельбекер, Пушкин (стоят); Якушкин, Лувин, Пушкин (сидят)

стам было не до приема новых членов: тайное общество стояло на пороге своей ликвидации. Старая тактика уже не удовлетворяла членов тайного общества. «Союз благоденствия, казалось нам, дремал. Он слишком был ограничен в своих действиях», — писал в своих «Записках» декабрист Якушкин¹. Тактика подготовки широкого общественного мнения к конституции очень медленно действовала — достижения цели не было видно. Какой же тактики держаться, какая скорее приведет к цели?

Западная Европа 1820 г. дала ответ на этот вопрос. Она выдвинула тактику военной революции. Пример показала революционная Испания. В 1820 г. офицер испанской армии дон Рафаэль дель Риэго и полковник Антонио Квируга стали во главе революционных войск и добились от короля Фердинанда VII восстановления конституции 1812 г. и манифеста о созыве кортесов. Восстание в Неаполе и Пьемонте, греческое восстание под руководством Ипсиланти, военное восстание в Португалии, попытки военного переворота во Франции — все эти события в Европе начала 20-х годов говорили декабристам о новой тактике.

Испанская революция была встречена декабристами восторженно. Ярко отразил это отношение Николай Тургенев в своем дневнике: «Слава тебе, славная армия Гиспанская! Слава гиспанскому народу! Во второй раз Гишпания доказывает, что значит дух народный, что значит любовь к отечеству. Бывшие нынешние инсургенты... сколько можно судить по газетам, вели себя весьма благородно. Объявили народу, что они хотят конституцию, без которой Гишпания не может быть благополучна; объявили, что может быть предприятие им не удастся, они погибнут все жертвами за свою любовь к отечеству, но что память о их предприятии, память о конституции, о свободе будет жить и останется в сердце гишпанского народа»².

Съезд Союза благоденствия собрался в Москве в январе 1821 г. Было постановлено ликвидировать тайное общество. Делегаты юга Бурцев и Комаров повезли эту весть на юг. Пестель и группа активных членов южной управы Союза благоденствия не согласились с постановлением съезда и организовали на новых началах Южное общество декабристов. Это произошло в марте 1821 г. Новое общество приняло тактику военной революции, выдвинуло требование республики и приняло решение о цареубийстве. Было решено действовать «посредством войск». «Наша революция будет подобна революции испанской — она не будет стоять ни единой капли крови,

¹ Там же, стр. 44.

² Ник. Тургенев. Дневники и письма. Т. III. стр. 225—226, 1921.

ибо произведется одною армией без участия народа»¹, говорил декабрист Бестужев-Рюмин, вместе с Сергеем Муравьевым-Апостолом возглавлявший Васильковскую управу Южного общества.

Встреча Пушкина с Пестелем в Кишиневе произошла 9 апреля 1821 г., — почти что в самые дни основания Южного общества. «Утро провел с Пестелем, — записал Пушкин в своем дневнике. — Умный человек во всем смысле этого слова. Mon coeur es: matérialiste, mais ma raison s'y refuse². Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и пр. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

И позже не раз рука Пушкина чертила профиль казненного Пестеля на полях рукописей.

Вопросы революционной тактики волновали Пушкина. Пушкин также становится на сторону военной революции. В стихотворении, обращенном к члену тайного общества генералу П. С. Пушкину, он называет его «грядущий наш Квирига». П. С. Пушкин был председателем масонской ложи «Овидий» в Кишиневе, Пушкин и его друг декабрист Владимир Раевский состояли членами этой ложи. Ложа, несомненно, занималась и политическими вопросами. Позже Пушкин предупреждал Жуковского о трудностях заступничества за него и, перечисляя свои политические вины, указывал: «Я был массон в кишиневской ложе, т. е. той, за которую уничтожены в России все ложи».

В послании к Давыдову Пушкин выражал уверенность, что революция вспыхнет и в России.

Ужель надежды луч исчез?
Но нет, мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся...

Недавно найденный дневник Долгорукова дает нам представление о политических взглядах Пушкина в период его пребывания на юге. Пушкин открыто говорил, что «тот подлец, кто не желает перемены правительства в России», выступал против крепостного права, считал самым уважаемым сословием в России — земледельческое, а дворян — по его словам — «надо бы всех перевесить», и если бы это было сделано, то «он с удовольствием затягивал бы петли».

В 1821 г. Пушкин написал стихотворение «Кинжал», сыгравшее большую агитационную роль в декабристской среде. Здесь воспевает он образ Брута — республиканца и цареубийцы, образ высоко возне-

¹ И. И. Горбачевский. Записки и письма. М., стр. 73, 1925.

² «Сердцем я материалист, но разум мой этому противится».

сенный в публицистике и художественном творчестве великой буржуазной французской революции.

Нельзя не отметить личное мужество Пушкина, не прекращавшего в ссылке своих выступлений против царя.

Окажу ль судьбе презренье,
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

писал Пушкин позже. И он был прав, называя свою юность гордой.

В 1823 г. испанская революция была раздавлена французской интервенцией. Французские войска вступили в Мадрид, была восстановлена власть Фердинанда VII. Декабристы поставили под сомнение правильность тактики военной революции. Почему массы не поддержали вождей военной революции? Вопрос о народных массах, недостаточно вовлеченных в революцию, о массовом движении и его роли в революции ставится перед декабристами. Тайное общество переживает кризис. Пестель показывает следственной комиссии: «В течение всего 1825 года стал сей образ мыслей (т. е. революционный — М. Н.) во мне ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно было уже совершить благополучно обратный путь».

В Каменке в 1823 г. было собрано тайное совещание декабристов по вопросу о причинах поражения испанской революции. Неизвестно, дошли ли до Пушкина отголоски споров декабристов по этому вопросу, но и в этом случае его настроения совпадали с настроениями декабристов. Стихи Пушкина «Свободы сеятель пустынный» отражают сомнения Пушкина в том, что народные массы окажут поддержку революции. В творчестве михайловского периода мы встречаемся с новой темой, захватившей Пушкина, — с вопросом узурпации власти и массового народного движения («Борис Годунов»). В уста своего предка Пушкин вложил слова, противопоставляющие силу войска силе народного мнения:

Знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помощью,
А мнением — да, мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему

Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?

11 января 1825 г. Пушкина в его михайловской ссылке посетил И. И. Пущин. Эта дата является знаменательной в истории отношений Пушкина с декабристами. Пущин открыл своему другу существование тайного общества. Пушкин сейчас же поставил в связь сообщение члена Северного общества Пущина с деятельностью южной организации. Пушкин вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый¹ год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать»². Известно, что Пушкин узнал о готовящемся аресте Вл. Раевского и успел предупредить своего друга (Раевский был арестован в феврале 1822 г.). Очевидно, осведомленность Пушкина о тайном обществе была значительна и до сообщения Пущина.

Но этого мало. Пушкин знал не только о самом существовании тайного общества, он знал и о планах его выступлений, о самом заговоре. В январе 1826 г. он с полнейшей ясностью пишет об этом Жуковскому, стремясь смягчить свою вину лишь тем, что о заговоре «все» знали. «Мудрено мне требовать твоего заступления перед государем; не хочу охмелить тебя в этом пиру. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел, — но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам...»³.

В записках декабриста Лорера сообщается, что незадолго до 14 декабря Пущин вызвал Пушкина на свидание в Петербург. Конечно, Пущин не мог вызвать друга, находившегося в ссылке, для простого приятельского свидания. Повидимому, вызов этот надо поставить в связь с подготовкой событий 14 декабря. Пущин мог информировать Пушкина в письме об обстановке междуцарствия, ускорявшей открытое выступление тайного общества. Сам Пушкин неоднократно рассказывал друзьям (Соболевскому, Вяземскому, Мицкевичу) о своей попытке выехать из Михайловского в Петербург в декабрьские дни — он «бухнул бы в самый кипяток» подготовки восстания

¹ Ошибка памяти Пущина: Раевский сидел в это время в крепости около трех лет.

² И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири. М., стр. 127. 1925.

³ А. С. Пушкин. Переписка, ред. В. Саягов. СПб, т. I, стр. 317—318, 1906.

14 декабря на квартире Рылеева. «Меня приняли бы с восторгом», — говорил Пушкин¹.

Соболевский передавал со слов Пушкина, что тот сначала поехал прощаться с тригорскими соседками — дорогу ему перебежал заяц. Примета произвела угнетающее впечатление на Пушкина, но решения ехать поэт не отменил. Сани тронулись от подъезда, но тут в воротах Пушкину встретился поп, шедший «проститься» с отъезжающим баринном — это и решило вопрос о возврате. Напрашивается предположение, что здесь сыграла роль не простая «примета». Местный поп был правительственным шпионом, у которого Пушкин состоял под надзором. Поп этот, конечно, имел свою агентуру среди дворовых Пушкина и быстро оповещал о всех событиях в Михайловском (он, например, немедленно появился у Пушкина, как только к нему приехал Пущин). Если так, то вполне понятен отказ Пушкина от поездки — вслед за ним полетел бы немедленно донос по начальству, и на собрание у Рылеева он пришел бы не один, а привел бы за собой шпиона.

Следствие раскрыло связи Пушкина и декабристов. В первые же дни следствия имя Пушкина прозвучало на допросах: один из строевых начальников восстания 14 декабря, в числе первых приведший на площадь войска, А. Бестужев, отвечая на вопрос о причинах своего вольномыслия, в числе других причин назвал стихи Пушкина. Стихи эти были агитационным оружием в руках декабристов. Они отражали их идеологию и в то же время были ее организаторами. Стихи Пушкина боролись против самодержавия и крепостничества в рядах декабристов. При помощи стихов Пушкина декабристы иногда испытывали настроение новичка и лишь затем переходили к общим политическим вопросам. Стихи Пушкина в качестве своеобразных прокламаций разбрасывались в местах расположения армии и читались на тайных собраниях декабристов. «Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло», — показал 5 апреля 1826 г. Бестужев-Рюмин. В тесной связи с этим показанием стоят известные строки в письме Жуковского к Пушкину от 12 апреля того же года: «В бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством»².

Во время следствия над декабристами Николай I отдал свой пе-

¹ С. А. Соболевский. Таинственные приметы в жизни Пушкина. Русский Архив. 1870, стр. 1386—1387; К. Я. Грот. Пушкинский музей. СПб, стр. 107, 1911.

² А. С. Пушкин. Переписка. Под ред. В. Саятова, т. I, стр. 340.

чально-знаменитый приказ: «Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». В огне погибло огромное количество пушкинских текстов. Но один из них случайно уцелел. Это «Кинжал», написанный на память (в порядке следственных показаний) декабристом Громнитским (подлинник показаний — в деле члена общества Соединенных славян — Иванова). Текст «Кинжала» в показаниях Громнитского расположен на двух смежных страницах следственного дела, заполненных как внутри, так и на обороте, — его нельзя было «вынуть и сжечь», потому что это повлекло бы уничтожение следственных показаний. Военный министр Татищев изыскал иной способ «уничтожения» «Кинжала»: он вооружился гусиным пером, густо зачеркнул крамольные пушкинские строки и снабдил их замечательной скрепой: «с высочайшего соизволения помарал военный министр Татищев».

Николай I сейчас же после восстания почувствовал, какую тесную связь имела с русской литературой та окровавленная Сенатская площадь, через которую он прошел к ступеням своего трона. Сколько было поэтов и писателей среди участников восстания — Рылеев, А. Бестужев (Марлинский), Кюхельбекер, Одоевский! Николаю I надо было как-то «мириться» с литературой, разыгрывая роль покровителя культуры. Он пытался привлечь на свою сторону Пушкина: по его распоряжению поэта внезапно вызвали из Михайловского в Москву, он был принят и «прощен» Николаем I, обещавшим ему тяжелую «милость» — стать его цензором.

Анализ дальнейших отношений Пушкина с правительством не входит в задачу настоящей статьи. Можно лишь сказать кратко: Пушкин никогда не переходил на сторону Николая I и никогда не предавал забвению память о декабристах. Послание к декабристам в Сибирь говорит о глубокой вере Пушкина в дело декабристов:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

«Но их дело не пропало» — как бы переключаются с пушкинским стихом известные слова Ленина о декабристах¹.

В 1827 г. Пушкиным написано стихотворение «Арион» (легендарный греческий поэт и музыкант, спасшийся на спине дельфина от гибели в морской пучине). Пушкин говорит тут о себе как о члене декабристского коллектива.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XV, стр. 468, статья «Памяти Герцена».

Нас было много на челне;
 Иные парус натягали,
 Другие дружно упирали
 В глубь мощны весла. В тишине
 На руль склонясь, наш кормщик умный
 В молчаньи правил грузный челн;
 А я — беспечной веры полн,
 Пловцам я тел... Вдруг лоно волн
 Измял с налету вихорь шумный...
 Погиб и кормщик, и пловец —
 Лишь я, таинственный певец,
 На берег выброшен грозою,
 Я гимны прежние пою
 И ризу влажную мою
 Сушу на солнце под скалою.

После разгрома декабристов революционное движение в России долгое время не могло оправиться от нанесенного ему удара. В стране отсутствовал революционный центр. В этих условиях, лишенный связи с каким бы то ни было революционным коллективом, одинокий и подавленный разгромом революционного движения, Пушкин глубоко задумывается над особенностями своего времени. Некоторое время он ставит перед собой вопрос: а не является ли в данный момент самодержавие прогрессивной исторической силой, подобно тому, как это было в эпоху Петра I? После длительного раздумья над этим вопросом Пушкин приходит к отрицательному ответу и возвращается к решительному политическому протесту против самодержавия.

В конце своей жизни Пушкин начинает расти в сторону нового, лишь слегка наметившегося в тот момент этапа революционности — крестьянской, разночинной революционности.

Таков сложный путь взаимоотношений Пушкина с революционным движением. Сказанное не исчерпывает, разумеется, поставленной темы, она слишком сложна. Но из только-что изложенного все же ясно, как крепка и органична связь Пушкина с революционным движением его времени.

Д. Д. Благой

НА ПУТЯХ К НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ ПУШКИНА

В 1838 г., в основанном Пушкиным журнале «Современник» был опубликован без имени автора первый биографический очерк о Пушкине, принадлежащий перу одного из близких его друзей, поэта и критика П. А. Плетнева. С момента появления этого очерка, в течение без малого ста лет, изыскательская и исследовательская мысль напряженно и пытливо работает над воссозданием жизненного и творческого пути Пушкина. Однако и по сие время задача эта разрешена только частично.

С самого начала попытки не только как-то осветить, но и хотя бы просто фактически точно рассказать историю жизни Пушкина наталкивались на решительное сопротивление цензуры. Замечательной иллюстрацией этого является тот же очерк Плетнева. Писался он по горячим следам, всего год спустя после трагической гибели Пушкина, когда все, что было связано с обстоятельствами жизни и, в особенности, смерти поэта, — представляло не только злободневный, но и острый политический интерес. И вот биограф, лучше, чем кто бы то ни было, во всех этих обстоятельствах осведомленный, оказался вынужденным не столько рассказать о жизни Пушкина, сколько постараться всячески скрыть ее от читателей, уверяя — в полном противоречии с действительностью, — что она не отличалась «разнообразием происшествий внешних», сводясь «к деятельности почти неподвижной, к однообразной беседе с литераторами да с книгами». Достаточно указать, например, что Плетнев совершенно умалчивает о ссылке Пушкина. Невольные передвижения ссылке Пушкина из конца в конец страны, — «куда подует самовластье», — приобретают под пером Плетнева характер беспечных фланирований непоседливого поэта, в поисках новых впечатлений «спешившего оставить столицу, где он успел наскучить рассеянностью», и «кочевавшего в течение ряда лет по России». Еще решительнее поступает

Плетнев с наиболее острым и деликатным по тому времени местом биографии Пушкина — историей его тибели, ни словом не упоминая о дуэли его с Дантесом.

Сколь ни наивно было такое умолчание о вещах всем хорошо известных, оно продолжалось в течение ряда лет; глухой намек на ссылку Пушкина впервые был сделан в анонимном биографическом очерке, напечатанном в «Портретной и биографической галлерее» 1841 г. («Заблуждения слишком кипучей молодости удалили Пушкина из Петербурга. Он переехал в Кишинев»), о дуэли же с Дантесом было в первый раз печатно упомянуто лишь через десять лет после нее в «Словаре достопамятных людей» Бантыша-Каменского (ч. 2, СПб, 1847 г.).

Только к этому времени стала возможна, таким образом, самая постановка вопроса о создании сколько-нибудь полного и отвечающего фактам жизнеописания Пушкина.

За осуществление этой задачи взялся издатель нового собрания сочинений Пушкина, П. В. Анненков, который и выпустил в 1855 г. первую биографическую книгу о Пушкине: «Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений».

Хотя Анненков мог позволить себе значительно более свободы в изложении событий жизни Пушкина, чем Плетнев, тем не менее и его работа протекала в исключительно тяжелых цензурных условиях. После весьма жесткого ее просмотра обычной цензурой она поступила на специальное рассмотрение старого цензора самого Пушкина — царя Николая. Пять месяцев спустя последовало «высочайшее разрешение»: «Согласен. Но в точности исполнить, не дозволяя отнюдь неуместных замечаний или прибавок». Однако разрешение это было куплено дорогой ценой. Заранее сознавая, в каких условиях ему приходится работать, Анненков подверг свой труд строгой предварительной автоцензуре.

Вспоминая впоследствии о своей работе над пушкинской биографией, Анненков пишет: «Нетрудно указать теперь на многие места... где, видимо, отражается страх за будущность своих исследований и где бросаются в глаза усилия предупредить и отвратить толкования и заключения подозрительности и напуганного воображения». Действительно, следы этого «страха» и «усилий» дают себя знать чуть ли не на каждой странице «Материалов».

Особенно большие трудности представило для Анненкова то, о чем Плетнев предпочел вовсе умолчать, — трагическая смерть Пушкина. Анненков с болью писал об этом И. С. Тургеневу: «Я понимаю, как вам должно быть тяжело так дописывать биографию

Пушкина, — утешал его последний, — но что же делать. Истинная биография исторического человека у нас еще не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения цензуры, но даже с точки зрения так называемых приличий».

На препятствия к написанию «истинной биографии» Пушкина со стороны «так называемых приличий» Тургенев ссылался не зря. Одним из драгоценнейших биографических источников являются письма Пушкина. Между тем, когда, через три года после выхода биографического труда Анненкова, в «Библиографических записках» была впервые опубликована большая группа писем Пушкина к брату, насыщенных, помимо всего прочего, разнообразнейшим и интереснейшим литературным материалом, последовали: со стороны одного из сыновей поэта резкий протест и жалоба министру народного просвещения и, независимо от этого, со стороны товарища министра, каковым в то время был не кто иной, как один из ближайших друзей Пушкина, поэт П. А. Вяземский, «строгое замечание» и предостережение цензору и редактору журнала. Мало того, двадцать лет спустя после публикации «Библиографических записок», в 1878 г., сам И. С. Тургенев, опубликовавший в «Вестнике Европы» письма Пушкина к жене, получил известие, что сыновья поэта собираются ехать в Париж, дабы «поколотить» его. Благодаря всему этому первое собрание писем Пушкина, составившее особый том нового — восьмого — издания его сочинений под редакцией П. А. Ефремова, вышло только через сорок пять лет после смерти поэта, в 1882 г. К этому времени огромное количество пушкинских писем было бесповоротно растеряно.

В числе источников, которыми Анненков располагал при написании своего первого биографического труда, были и письма Пушкина. Однако, в силу только-что сказанного биограф смог использовать их в весьма ограниченной степени.

Неудивительно, что, несмотря на большие достоинства работы Анненкова, в основу которой было положено изучение первоисточников, архивных данных и, что особенно ценно, рукописей поэта и которая благодаря этому составляет один из важнейших этапов в истории научной разработки пушкинской биографии, сам биограф был в величайшей степени недоволен ею. «Кончил биографию, — писал он тому же Тургеневу, — то-есть собственно никогда и не начиналась она».

По-настоящему «начать» биографию Пушкина Анненков снова попытался почти два десятилетия спустя, опубликовав в 1873 — 1874 гг. новую свою биографическую работу о Пушкине, охватыва-

ющую первую половину сознательной жизни поэта, — «Пушкин в Александровскую эпоху».

Работа эта вышла при значительно более благоприятных цензурных условиях. Однако, если несколько ослаб внешний цензурный гнет в отношении Пушкина, — своеобразным цензором личности и творчества поэта оказался сам его биограф. Общавшийся не только с Белинским, но, как известно, и с Марксом, Анненков был тем не менее типичным либералом-эстетом сороковых годов. Целиком усвоив знаменитые высказывания Белинского о Пушкине, как о «великом, образцовом мастере поэзии, учителе искусства», Анненков положил их в основу своего понимания Пушкина, односторонне развив их в направлении «чистой эстетики». Пушкин для него «учитель изящного». Вся эволюция, весь жизненный путь Пушкина определяются, по Анненкову, тем, что в нем все более крепнет «чистый художник», что он все дальше уходит от живой жизни, от своей современности на «идеальные» высоты отрешенного, чисто эстетического созерцания. Однако в тесные, благообразные рамки «учителя изящного» никак не укладывалась вулканически-бурная, сложная, исполненная многих противоречий, живая личность поэта. Не укладывался в них и ряд произведений Пушкина. Не будучи в состоянии согласовать их со своей концепцией, Анненков решил попросту утаить их от читателя, не включив в изданное им собрание сочинений Пушкина. Больше того, когда редактор одного из последующих изданий Пушкина, П. А. Ефремов опубликовал некоторые из пропущенных Анненковым вещей, последний выступил с самым решительным протестом против не только излишней, но и прямо «вредной» (!) полноты последнего. «Полнота полноте рознь, — писал он, — и бывает не только нежелательная, но и положительно вредная полнота... та именно, которая способна помрачить установленный, всеми признанный лик писателя или дать ему другое выражение, чем обыкновенно носимое им или приписываемое ему». Это стремление превратить живое лицо писателя в некий «лик» и, с другой стороны, «приписать» ему определенное, отвечающее не действительности, а намерениям и видам биографа «выражение» значительно ослабило ценность второй книги Анненкова о Пушкине, хотя, по тщательному изучению материалов, тонкости анализа, наконец, замечательной талантливости изложения, она до сих пор не имеет себе ничего равного во всей последующей биографической пушкиниане.

Второй труд Анненкова открыл собой новую страницу в истории биографических изучений Пушкина. Отныне стало возможным более

или менее полно и точно излагать фактическую сторону жизни поэта.

Так, например, В. Я. Стоюнин, выпустивший в 1880 г. — год открытия памятника Пушкину в Москве — новую биографическую работу о Пушкине, уже смог остро поставить вопрос о предсмертной драме поэта, задыхавшегося в predeterminedенной ему «казенной атмосфере», под «гнетом царедворческого служения».

Однако излагаемые факты в руках большинства биографов Пушкина получали заведомо-тенденциозное освещение. Мы уже видели это на примере второй книги Анненкова. С еще большей резкостью сказалось это на другой биографической работе (вышла два года спустя после книги Стоюнина), посвященной, как и вторая работа Анненкова, жизни Пушкина в Александровскую эпоху и принадлежащей перу проф. А. И. Незеленова: «А. С. Пушкин в его поэзии. Первый и второй периоды жизни и деятельности». Биография Пушкина в понимании ее Незеленовым насквозь телеологична. Все, даже самые тяжелые, события в жизни Пушкина неизменно ведут его к некоей благой цели: «Высылка из Петербурга спасла Пушкина от гибели в чувственных увлечениях»; «подоспела как раз кстати» и «ссылка в село Михайловское»: «без нее творчество Пушкина должно было бы остановиться: он дошел в своем развитии до того момента, когда ему оказалась нужной русская деревня». Весьма кстати пришлось и разгром декабристов: «великий и страшный удар образумил поэта». Смысл всех этих утверждений достаточно ясен: в роли providения Пушкина неуклонно оказывается строгое, но попечительное начальство, все время заботливо направляющее его жизнь самым лучшим образом. О научной значимости работы Незеленова много говорить не приходится, тем не менее она пользовалась в свое время весьма большой популярностью. Этому способствовало, в частности, то, что в течение последующих двадцати пяти лет не появилось ни одной новой большой биографии Пушкина.

Уже Анненков незадолго до своей смерти жаловался на возникновение среди современных ему «деятели исторической и биографической литературы целой школы археологов и изыскателей, которые, освободив себя от труда мышления, заменили его трудом простого собирания документов, сличения разностей между текстами, перечета отметок, какие существуют на различных актах, и тому подобными предварительными работами, считая их за самую науку исторических и литературных исследований и устраняя, как излишество, критику и оценку приобретенных фактов по существу».

Особенно много деятелей этого «археологического» рода, заменивших «труд мышления» крохоборческим мелочным подбором предварительных материалов, оказалось среди лиц, посвятивших себя изучению жизни и творчества Пушкина.

Исследовательская работа биографов Пушкина за последние десятилетия прошлого и первые десятилетия нашего века донельзя мельчитя, атомизируется. Накапливаются груды фактического материала, горы мельчайших биографических подробностей. Во внимании к мелочам, самом по себе, нет еще беды. Для исторического деятеля такой величины, как Пушкин, каждая мелочь имеет значение. Беда в том, что пушкинисты-«археологи» тонули в мелочах, теряя способность обобщающих выводов. Подробно разрабатывались различные частные эпизоды пушкинской биографии, писались статьи на такие темы, как «шляпа Пушкина» или «курил ли Пушкин?», отдавалось несоответственное внимание пушкинским любовным увлечениям, а наряду с этим даже столетний юбилей со дня рождения Пушкина в 1899 г. не вызвал появления ни одной новой биографии поэта; к юбилею был всего лишь переиздан популярный биографический очерк, написанный А. А. Венкстерном и вышедший еще в 1882 г.; в 1903 г. была переиздана книга Незеленова, в 1906 г. — работа Стоюнина.

Правда, в 1907 г. появился новый биографический труд о Пушкине проф. В. В. Сиповского: «Пушкин. Жизнь и творчество». Однако работа эта, по единодушным и справедливым отзывам критики, оказалась явно неудачной, представляя из себя весьма объемистую и очень сумбурную компиляцию.

Между тем необходимость создания подлинно научной биографии Пушкина, основанной на строго критическом изучении всех дошедших до нас источников и развертывающей полную, исторически и психологически правдивую картину жизни и творчества великого поэта на фоне общественно-исторической жизни его эпохи, сознавалась всеми наиболее выдающимися пушкиноведами того времени.

«Очерк жизни Пушкина, хотя бы и не претендующий на название биографии, но стоящий на уровне современных знаний о Пушкине, — это обязанность русской литературы», — писал в 1907 г., в своем отзыве на книгу Сиповского, Валерий Брюсов. «Биография Пушкина, для которой уже всё готово, все материалы добыты, — дело близкого будущего», — заявлял тогда же автор одного из весьма ценных вспомогательных трудов по пушкинской биографии «Труды и дни Пушкина», Н. О. Лернер.

Однако Лернер ошибался.

Время для создания «истинной биографии» Пушкина, о которой больше восьмидесяти лет тому назад мечтали Гурженев и Анненков, настало только в наши дни. Только мы можем с полным правом сказать, что для этого действительно почти всё готово и почти все материалы добыты.

Октябрьская социалистическая революция впервые дала возможность легально читать в советских изданиях всё, дошедшее до нас из творческого наследия Пушкина, и свободно, без анненковских «страхов» и околичностей, вводить это в историю жизни и творчества поэта. Достаточно напомнить хотя бы, что только после революции у нас могла быть полностью опубликована «Гавриилиада».

Равным образом только революция полностью открыла исследователю как государственные архивные фонды, так и многочисленные частные собрания. В результате был сделан целый ряд исключительно важных находок в отношении как новых пушкинских текстов, так и всякого рода биографических документов и источников. Достаточно указать, например, что за последнее время были найдены два до того совершенно неизвестных юношеских произведения Пушкина — поэма «Монах» (больше четырехсот стихов) и — совсем недавно — сатирическое стихотворение «Тень Фонвизина» (320 стихов). Наличие этих произведений существенно меняет наше прежнее представление о лицейском творчестве Пушкина. Столь же ценные находки сделаны в отношении эпистолярного наследия Пушкина. Напомним хотя бы обнаружение в 1925 г. в библиотеке Юсуповых в а д ц а т и с е м и дотеле неизвестных писем Пушкина к Е. М. Хитрово, очень значительных по своему содержанию.

Чрезвычайно много обнаружено за эти годы и всякого рода документального материала, имеющего большее или меньшее отношение к биографии Пушкина. В частности, найден ряд материалов, рисующих яркую картину связей и отношений Пушкина с декабристами и показывающих ту большую роль, которую играло в деятельности тайных обществ пушкинское творчество. Но особенно много появилось новых материалов, связанных с трагическим финалом жизни Пушкина — его дуэлью и смертью — и бросающих совсем новый свет на подлинные причины гибели поэта.

О количестве всё продолжающихся новых находок может дать наглядное представление вышедший года два-три тому назад специальный пушкинский том «Литературного наследия», в котором публикация и разработка вновь найденных материалов занимают около 800 страниц, а также только что вышедший, почти не уступающий

ему по размерам, пушкинский том «Летописей Государственного Литературного Музея».

Развернувшаяся по всей стране широчайшая подготовка к юбилейным пушкинским дням, организация Всесоюзной пушкинской выставки вызвали новый приток материалов. Почти не проходит дня без сообщения о какой-либо новой, весьма ценной, находке.

Огромное значение в деле научной разработки биографии Пушкина будет иметь выпускаемое Академией Наук СССР полное собрание сочинений поэта, которое впервые даст исчерпывающе полный свод всех вариантов и черновиков.

Впервые введены в научный оборот и многочисленные рисунки Пушкина, в изобилии рассыпанные по его творческим рукописям и представляющие большой биографический интерес.

Однако Великая Октябрьская революция не только открыла двери архивов, не только дала возможность широко поставить подлинно научное изучение жизни и творчества Пушкина, но оказала огромное освобождающее влияние и на самое сознание исследователей, помогая им сбросить путы всякого рода условностей и предрассудков, тяготевших над всеми без исключения старыми биографами Пушкина.

Ярким примером тому может служить хотя бы наше теперешнее понимание причин трагической гибели поэта. Даже Стоюнин, который достаточно далеко продвинулся по пути правильного понимания этих причин, все еще находился во власти традиционных представлений о «добром» царе и «злых» приближенных, решительно настаивая на полной искренности благожелательного отношения Николая I к Пушкину и усматривая всю трагичность положения поэта в том, что «по простому недоразумению» между ним и царем оказался «посредником» «всесильный царедворец» Бенкендорф. Один из лучших пушкинистов совсем недавнего прошлого, покойный П. Е. Щеголев в первых вышедших до революции изданиях своего известного труда, специально посвященного дуэли и смерти Пушкина, все сводил только к семейной драме поэта. Наоборот, в новонаписанной главе третьего послереволюционного издания своей книги им был впервые выдвинут совсем новый взгляд на причину дуэли и зловещую роль, сыгранную в сложных перипетиях преддуэльной истории роковой фигурой царя, — взгляд, подтверждаемый всеми последующими изысканиями.

Наконец, только в наше время биограф Пушкина получает надлежащий масштаб, полное и правильное представление о всем значении деятельности поэта в нашей литературе и культуре.

С замечательной прозорливостью Белинский писал в своих статьях о Пушкине: «Пушкин принадлежит к вечно живым и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества».

Полного своего развития в сознании общества Пушкин достигает только в наши дни.

Постоянно подчеркивая, в противовес лжедемократическим критикам, «истинную народность» пушкинского творчества, Белинский вместе с тем не решался придать Пушкину имени «народного», «национального» поэта. «Народный поэт тот, которого весь народ знает», — писал он в связи с этим и отсюда считал название Пушкина «народным» и «национальным» писателем «верным только наполовину».

То, что ограничивало, ослабляло признание Белинским народности Пушкина, начисто отменено нашей эпохой. Пушкин великий народный, национальный наш гений и только таким может и должен показать его современный биограф поэта.

Н. Ф. Бельчиков

ПУШКИН И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ 60-х ГОДОВ

I

Широко распространено ошибочное представление о 60-х годах, как времени огульного отрицания Пушкина. Не только люди, далекие от литературы, но и некоторые исследователи нашего времени разделяют мнение, что в 60-е годы разрешалось читать стихи только Некрасова, а Пушкин был осмеян и отброшен, как пустой набор слов. Нигилистическое отрицание Пушкина Писаревым, объявившим великого поэта «версификатором», запомнилось крепко и заслонило собой взгляды других шестидесятников.

Но Писарев не является типичной фигурой, выражающей 60-е годы. Эти годы нарастания революционной ситуации выдвинули своих подлинно революционных деятелей и вождей революционной демократии — Чернышевского и Добролюбова, отношение которых к Пушкину было совершенно непохожим на нигилизм Писарева.

В Пушкине Писарев видел чуть ли не главный тормоз в деле социального переустройства, ибо «никто из русских поэтов, — утверждает Писарев, — не может внушить своим читателям такого беспредельного равнодушия к народным страданиям, такого глубокого презрения к честной бедности и такого систематического отвращения к полезному труду, как Пушкин».

Чернышевский и Добролюбов не бросили по адресу великого поэта обвинений ни в антидемократизме, ни в склонности к «чистой форме». Для них Пушкин был более сложным, более значительным фактом, чем думал о нем Писарев. «Если не говорить о Пушкине, то о чем же говорить ныне в русской литературе», — писал Чернышевский в 1855 г. «До Пушкина не было в России истинных поэтов. Пушкин дал нам первые художественные произведения на родном языке, познакомил нас с неведомою до него поэзией», — утверждал

он позднее. Они рассматривали творчество Пушкина как факт огромной культурной важности. «Значение Пушкина, — писал Добролюбов, — огромно не только в истории русской литературы, но и в истории русского просвещения. Он первый приучил русскую публику читать, и в этом состоит величайшая его заслуга. В его стихах впервые сказала нам живая русская речь, впервые открылся нам действительный русский мир. Все были очарованы, все увлечены мощными звуками этой неслышанной до тех пор поэзии».

II

Характерной особенностью критических суждений Чернышевского и Добролюбова является широкий принципиальный подход к наследию великого поэта. Характер, смысл и значение творчества Пушкина эти критики уясняли, исходя из понимания сущности искусства, вопреки пониманию некоторых современных пушкинистов, занятых сугубо узкими вопросами, собиранием материалов о творчестве и жизни Пушкина, вне связи с общими вопросами творчества поэта и художественной литературы его эпохи. «Кто, по вашему мнению, выше Пушкин или Гоголь? Я вчера слышал спор об этом, — писал Чернышевский в своей статье «О поэзии. Сочинение Аристотеля» (1854), —...Решение зависит от понятий о сущности и значении искусства... Если сущность искусства действительно состоит, как нынче говорят, в идеализации; если цель его — «доставлять сладостное и возвышенное ощущение прекрасного», то в русской литературе нет поэта, равного автору «Полтавы», «Бориса Годунова», «Медного всадника», «Каменного гостя» и всех этих бесчисленных благоуханных стихотворений; если же от искусства требуется еще нечто другое, тогда...»¹.

Так в действительности и было: Чернышевский и Добролюбов, борцы за интересы крестьянской революционной демократии, отстаивали и в литературе идеи революции, стремились к тому, чтобы литература говорила о народе «правду без всяких прикрас» и, естественно, требовали обновления содержания литературы. Дворянско-усадебному роману они противопоставляли социально-политический роман, овеянный духом революции. Добролюбов прямо говорил о реализме жизни тех слоев, которых чуждалась дворянская литература. «Простые явления простой жизни, насущные требования человеческой природы, неукрашенное, нормальное существование людей

¹ Н. Г. Чернышевский. Избр. сочинения. Эстетика — критика ГИХЛ. стр. 141, 1934. (В дальнейшем ссылки делаются на это издание.)

неразвитых — мы не умеем воспринять поэтически. Оказывается... что претендовать на поэзию могут только люди, совершенно обеспеченные материально или еще лучше — люди, наслаждающиеся комфортом жизни... Люди же бедные, рабочие, простые, неизбежно оставаясь грубыми и практическими людьми, очевидно, неспособны к деликатным ощущениям», — писал Добролюбов¹, негодуя на барски-эстетическое содержание тогдашней литературы.

Реализм Чернышевского и Добролюбова был актуальным, с ярко выраженной социально-демократической тенденцией и решительно направленным против канонов дворянской литературы.

Критики — революционные демократы 60-х годов расценивали Пушкина, учитывая условия литературно-политической борьбы того времени. В силу условий тогдашней общественной жизни классовая борьба открыто проявлялась в виде полемики по чисто литературным вопросам. Поэтому современный историк, чтобы правильно осветить картину литературной жизни того времени, должен сказать нынешнему читателю, что за спорами о литературных направлениях, за спорами о «чистом искусстве» скрывались глубокие социально-политические мотивы. Резкость этих споров и непримиримость взглядов эстетов и реалистов-демократов свидетельствовали о глубоком антагонизме тех социально-политических программ, в осуществлении которых каждая из борющихся сторон видела средство для социального преобразования действительности. Это понимали прекрасно шестидесятники. Так, П. Н. Ткачев решительно заявлял, что «различие между идеализмом и реализмом (реализм был основой взглядов представителей революционной демократии 60—70-х годов) заключается совсем не в известных научных приемах, а в известном отношении к общественным вопросам, к явлениям общественной жизни; и вот это-то отношение обусловило в свою очередь их взгляды на различные вопросы из области науки и искусства, а совсем не то обстоятельство, что одни (реалисты) черпали свои умозаключения из фактов внутренней и внешней жизни, а другие (идеалисты) только из фактов одной внутренней природы».

Н. Г. Чернышевский таким же образом разъяснил смысл тогдашних литературно-эстетических столкновений, происходивших между сторонниками теории «чистого искусства», критиками буржуазно-дворянского лагеря и революционными демократами. «Литература не может не быть, — писал Чернышевский, — служительницей того или другого направления идей... Слова «искусство должно быть не-

¹ Полн. собр. соч., ГИХЛ, т. II, стр. 577, 1935 г. (В дальнейшем ссылки делаются на это издание.)

зависимо от жизни» всегда служили только прикрытием для борьбы против ненаправившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницей другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу». Как бы в назидание современным «цеховым» пушкинистам, которые оторванно от общественно-политических интересов времени пытаются сводить дело изучения творчества Пушкина к освещению мелких фактических подробностей, Чернышевский указал на недостатки, которыми страдали в его время монографии авторов, увлекавшихся крохоборчеством. «Растерявшись во множестве мелочных подробностей, — писал Чернышевский, — каждый автор был не в силах обработать предмет с общей точки зрения и обременял свою статью бесчисленными библиографическими подробностями, среди которых утомленный читатель запутывался; вместо цельных трудов давались публике отрывки черновых работ, со всеми мелочными сличениями букв и стихов, среди которых или тонула или принимала несвойственные ей размеры всякая общая мысль. Одним словом, вместо исследований о замечательных явлениях литературы представлялись публике отрывочные изыскания о мало-важных фактах; вместо ученого труда в его окончательной форме представлялся весь необозримый для читателя процесс механической предварительной работы, которая только должна служить основанием для картин и выводов, из нее возникающих».

III

В 50-е годы, с приходом в журналистику и литературу представителей революционной крестьянской демократии, бласфемители идеалистических взглядов в эстетике и канонов дворянской литературы превратили Пушкина в знамя борьбы за «чистую поэзию». В противовес материалистическим взглядам на искусство, провозглашенным Чернышевским в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), дворянско-буржуазное крыло русских писателей и критиков того времени выдвинуло свою «артистическую» теорию искусства. Теория чистого, свободного, «независимого» искусства — эта «теория сошествия святого духа», как язвительно обозвал ее М. Е. Салтыков в своем письме к Дружинину (апрель—май 1855 г.), была противопоставлена утилитарным взглядам на искусство разделявшимся представителями революционной демократии.

Автором «артистической» теории искусства был известный критик и писатель либерально-дворянского направления А. В. Дружинин. Эту теорию быстро подхватили и стали развивать в своих статьях

и письмах его единомышленники — И. С. Тургенев, В. П. Боткин, П. В. Анненков и др.

Борьба вокруг «Эстетических отношений искусства к действительности» приняла ожесточенный характер, и сторонники «артистической теории» решили использовать Пушкина. «Теория артистическая, — писал Дружинин, — проповедующая нам, что искусство служит и должно служить само себе целью, опирается на умозрения, по нашему мнению, неопровержимые. Руководясь ею, поэт, подобно поэту, воспетому Пушкиным, признает себя созданным не для житейского волнения. Твердо веруя, что интересы минуты скоропроходящи, что человечество, изменяясь непрестанно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он (то-есть поэт) в бескорыстном служении этим идеям видит свой вечный якорь. Песнь его не имеет в себе преднамеренной житейской морали и каких-либо других выводов, применимых к выводам его современников, она служит сама себе наградой, целью и значением. Он изображает людей такими, какими их видит, не предписывая им исправляться, он не дает уроков обществу или, если дает их, то дает бессознательно. Он живет среди своего возвышенного мира и сходит на землю, как когда-то сходили на нее олимпийцы, твердо помня, что у него есть свой дом на высоком Олимпе».

Острые этой теории решительно направлено было против основных положений диссертации Чернышевского. В ней мужицкий демократ (по определению В. И. Ленина) Чернышевский формулировал взгляды, ниспровергавшие барскую эстетику и ставшие эстетическим манифестом художественно-литературной деятельности представителей нового класса.

В своей диссертации Чернышевский, исходя из философии Фейербаха, доказывал, что «прекрасное есть жизнь», что художник объясняет жизнь и произносит притвор над явлениями жизни. Эстеты упрекали Чернышевского в умалении значения искусства, а Чернышевский на самом деле видел в литературе средство для развития общественности и орудие борьбы. «При известной степени развития народа, — говорил он, — литература является одной из сил, обуславливающих общественность». Чернышевский — сторонник реализма и реализм его, в силу исторических условий того времени — нарастания революционной ситуации, в связи с подъемом революционного настроения масс, принимал характер действенный. «Не надо нам, — говорил Чернышевский, — слова гнилого и праздного..., а нужно слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагою гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной».

По меткому выражению А. В. Луначарского¹, Чернышевский защищал своей теорией «священную гигиену» демократизма от барского эстетизма, который в те годы «своими удушливыми парами» мог отравить молодую демократию.

Так началась известная в летописях литературного движения борьба пушкинского и гоголевского направлений, разделившая критиков и писателей на два враждебных лагеря. За разномыслием в литературных вопросах, как уже сказано, в действительности скрывался классовый антагонизм представителей революционной крестьянской демократии и объединенного лагеря буржуазно-дворянского либерализма и реакции.

Выходившее в 1854—1855 гг. собрание сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова оживило интерес к Пушкину и вместе с тем обострило споры о Пушкине и его роли в литературе.

Чернышевский и Добролюбов возглавили ряды сторонников «гоголевского» направления, они же выступили и со статьями о Пушкине.

IV

Истоки спора о пушкинском и гоголевском направлениях восходят к Белинскому. В 1842 г. Белинский в разборе критического этюда известного славянофила К. С. Аксакова о «Мертвых душах» Гоголя дал сравнительную оценку творчества Пушкина и Гоголя. «Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени: он менее теряется в разнообразии создаваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим поэта нашего времени».

Защитники «чистой художественности» защищали пушкинское объективное начало, видя в творчестве поэта гармоническое примирение противоречий изображаемой действительности. Их противники — реалисты выдвигали на первый план творческий метод Гоголя и его творчество, так как здесь, по их убеждению, наиболее были обнажены социальные противоречия и несообразности существовавшей действительности.

Однако ни Чернышевский, ни Добролюбов не отвергали Пушкина. Реалисты прекрасно знали классовую принадлежность Пушкина, и тем не менее не впали в «левачество»: Пушкин — дворянин, он не нужен новому классу, его поэзия должна быть отвергнута, забыта.

¹ См.: Н. Г. Чернышевский. Статья, ГИЗ. стр. 36, 1928.

Напротив, Чернышевский не только не отвернулся от Пушкина, а выразил глубокое понимание значения его деятельности и неувядаемый интерес к его личности. «Творения Пушкина, — писал он, — создававшие новую русскую литературу, образовавшие новую русскую публику, будут жить вечно, и вместе с ними незабвенною навеки останется личность Пушкина». Добролюбов разделял этот взгляд на Пушкина: «В прошедшем яркой звездой красуется Пушкин... и заря нового литературного движения, конечно, не потемняет еще его блеска»¹.

V

Пушкину Чернышевский посвятил специально четыре статьи под названием «Сочинения Пушкина», напечатанные в 1855 г. в «Современнике» и очерк «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения. Чтение для юношества» (1856), состоящий из шести глав. Помимо этого, отдельные упоминания и сравнения Пушкина с Гоголем и другими писателями рассеяны в статьях Чернышевского: «О поэзии. Сочинение Аристотеля» (1854), «Детство и отрочество», «Военные рассказы. Сочинения графа Л. Толстого» (1856), «Шиллер в переводе русских поэтов» (1857) и др., в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855) и в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855—1856).

Первая большая работа Чернышевского о Пушкине была вызвана появлением I и II томов собрания сочинений поэта, изданных П. В. Анненковым в 1855 г., и начавшейся вслед за этим дискуссией по вопросу о художественности Пушкина и его значении для того времени.

Чернышевский признал художественность и величие творений Пушкина. Вопросу о величии Пушкина он посвятил много внимания как в статье по поводу издания сочинений Пушкина, так и в популярном очерке о жизни и сочинениях поэта. В последнем этому вопросу отведена первая глава. И там и тут основные положения, какими аргументировал Чернышевский свою мысль, сходны. Революционный демократ видел в Пушкине родоначальника новой русской литературы и, в частности, прежде всего поэзии. Величие Пушкина Чернышевский усматривал в создании литературной среды, в приобщении масс к интересам литературы. «Значение Пушкина неизмеримо велико. Через него разлилось литературное образование на десятки тысяч людей, между тем как до него литературные интересы занимали немногих. Он первый возвел у нас литературу в достоин-

¹ Соч., т. I, ГИХЛ, 113 стр., 1934.

ство национального дела, между тем, как прежде она была, по удачному заглавию одного из старинных журналов: «Приятным и полезным препровождением времени»¹ для тесного кружка дилетантов. Он был первым поэтом, который стал в глазах всей русской публики на то высокое место, какое должен занимать в своей стране великий писатель. Вся возможность дальнейшего развития русской литературы была подготовлена и отчасти еще готовится Пушкиным».

Для Чернышевского эта сторона деятельности, понятно, играла существеннейшую роль. Как организатор литературы революционной демократии, Чернышевский искал в прошлом учителей, близких для писателей его лагеря. Гоголь мог и был действительно полезен для литературной школы, возглавляемой Чернышевским (для примера укажем на Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Гл. Успенского).

Литературное направление, возглавляемое Чернышевским (этот литературный авангард революционной крестьянской демократии), отражало революционно-демократические устремления эпохи. Оно противостояло буржуазно-дворянскому либерализму и реакции, имевшим своих представителей в литературе. Художественному методу последних Чернышевский противопоставил реализм в фейербахианской трактовке и революционное ниспровержение основ существовавшего строя. «Критическое» отношение к строю царизма, протест против помещичьего произвола и защита интересов угнетенных — все это было основной задачей литературной школы Чернышевского.

Такое умонастроение глубоко захватило всех революционно-демократически настроенных людей того времени и вооружило их на борьбу против «чистого искусства». «Какого нового направления он (Дружинин) хочет, — писал раздраженно Некрасов И. С. Тургеневу в письме от 18/30 декабря 1856 г. — Есть ли другое живое и честное, кроме обличения и протеста? Его создал не Белинский, а среда, оттого оно и пережило Белинского, а совсем не потому, что «Современник» в лице Чернышевского будто бы подражает Белинскому».

У Гоголя эта школа действительно многое нашла для своего усвоения. «Гоголю, — писал Чернышевский, — многим обязаны те, которые нуждаются в защите; он стал во главе тех, которые отрицают злое и пошлое»².

Пушкин не мог, по мнению Чернышевского, сравниться в этом с Гоголем, величайшая заслуга которого в том, что «он первый дал

¹ Так действительно назывался один журнал, выходивший в 1791—1798 гг. под редакцией П. А. Сохацкого и В. С. Подшивалова.

² Избр. сочин., стр. 256.

русской литературе стремление к содержанию и притом стремление в гладотворном направлении, как критическое»¹.

Тем не менее в глазах Чернышевского Пушкин стоял выше своих современников. «Многих не удовлетворяет содержание пушкинской поэзии, но у Пушкина было во сто раз больше содержания, нежели у его сподвижников, взятых вместе»².

VI

«Пушкин по преимуществу поэт-художник, не поэт-мыслитель, то есть существенный смысл его произведений — художественная их красота»³, — писал Чернышевский. Проанализировав приемы творческой работы Пушкина, как известно, тщательно отделявавшего свои произведения, Чернышевский объяснял читателю «привычку Пушкина» посвящать так много внимания и усилий на обработку формы своих стихов тем, — что «Пушкин был по преимуществу поэт формы... существеннейшее значение произведений Пушкина — то, что они прекрасны, или, как любят ныне выражаться, художественны».

В этом суждении Чернышевский следует за Белинским, который сказал: «Пушкин был призван быть первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию как искусство». Однако, в отличие от Белинского, Чернышевский недооценил лирику Пушкина. Гораздо выше он ставит исторические и драматические произведения Пушкина.

Исторические произведения Пушкина Чернышевский выделял и специально говорил о них. «Одна только определенная сторона в характере содержания может быть уловлена у Пушкина: он хотел быть русским историческим поэтом»⁴, — писал Чернышевский. Он первый разглядел исключительно глубокое содержание «Сцен из рыцарских времен». Трактовка Пушкиным проблемы неизбежной гибели феодализма в «Сценах» побудила Чернышевского заявить, что «Сцены» должны быть «в художественном отношении поставлены не ниже «Бориса Годунова», а может быть, и выше».

Чернышевский также выделил раннюю политическую лирику Пушкина, сыгравшую большую роль в пропаганде декабристов. Мало зная эту лирику (в те годы она только что стала появляться в изданиях «Вольной русской типографии» у Герцена), Чернышевский, а вслед за ним, как увидим далее, и Добролюбов, тем не менее признали ее как положительный момент в поэзии Пушкина.

¹ Избр. соч., стр. 254.

² Там же.

³ Там же, стр. 214.

⁴ Там же, стр. 218.

Для Чернышевского несомненной была связь Пушкина с декабристами: влияние декабристов он видел в оде «Вольность» и стихотворении «Арион»¹.

Чернышевский, не располагая всеми материалами о политическом мировоззрении Пушкина, о глубоких психологических процессах, пережитых поэтом, не догадывался о его законспирированной борьбе с Николаем; тем не менее он был далек от мысли о политическом поправлении Пушкина в последние годы его жизни. По его мнению, «перемена в Пушкине в 30-е годы была вовсе не так велика». Для Чернышевского — убежденного фейербахианца, признававшего «натуру» главным источником человеческой деятельности и игнорировавшего социально-исторические обстоятельства, обуславливающие в основном смену идейных взглядов деятелей культуры, вполне естественна была мысль о воздействии «натуры» на взгляды поэта. В соответствии с этим Чернышевский писал о Пушкине: «В первой молодости он мог волноваться... потом, когда он достиг зрелости, когда его образ мыслей установился сообразно с его собственной натурой, порывы, навеянные молодостью и так называемым «духом века», исчезли сами собою, как исчезают в зрелом человеке все молодые стремления... Пушкин не изменился, он только развился»². Предположение Чернышевского об углублении политических воззрений Пушкина в 30-е годы в настоящее время находит себе сторонников среди современных исследователей, располагающих более основательными данными, чем Чернышевский; по этому вопросу.

«Натурой» Чернышевский также объяснял и высокую «художественность» Пушкина: «Торжество художественной формы над живым содержанием было следствием самой природы великого поэта, который был по преимуществу художником»³, — писал он.

С этим связывается и представление Чернышевского о нравственном здоровье Пушкина, «сообщающем всем привязанностям и наклонностям какую-то свежую роскошность и полноту»⁴.

Облик Пушкина нарисован Чернышевским яркими светлыми красками.

Чернышевский видел в Пушкине человека, стоявшего много выше своих современников и поборовшего в себе многие отрицательные привычки людей своего круга. Напомним отзыв его об образова-

¹ Ср. замаскированное указание Чернышевского на связь Пушкина с декабристами в предисловии Чернышевского к книге «Апология сумасшедшего» П. Я. Чаадаева, опубл. в сб. «Н. Г. Чернышевский». Саратов, стр. 54, 1928.

² Там же; стр. 238.

³ Там же; стр. 240.

⁴ Там же; стр. 190.

ности Пушкина: «Нельзя забывать, что Пушкин, не будучи по преимуществу ни мыслителем, ни ученым, был человек необыкновенного ума, чрезвычайно образованный; не только за тридцать лет назад, но и ныне, в нашем обществе немного найдется людей, равных Пушкину по образованности»¹.

Трудолюбие Пушкина, его неутомимое рвение к работе — все это также свидетельствовало в глазах революционного демократа Чернышевского о величии личности Пушкина. Чернышевский не только рассказал об этом, но и сделал ряд выводов, поучительных для тогдашних писателей.

Творческая лаборатория Пушкина давала драгоценные уроки писателям, воочию убеждая их, что писательство трудное дело, требующее обдумывания, длительной обработки и глубокого проникновения избранной темой. Пушкина и приемы его упорной работы над произведениями Чернышевский ставил в пример поэтам «чистого искусства»², поэтам аполитичным, заботящимся о внешней форме своих стихов. Ссылкой на пушкинское требование от поэзии «мыслей» подкрепляет Чернышевский свое осуждение современной дворянской поэзии, где расцветали «наружные формы слова».

Язвительно говорит Чернышевский о писателях, страдавших «эстетической водяной болезнью», которым ставил в пример сжатость стихов и прозы Пушкина, Лермонтова и Гоголя³.

Менее высоко оценил Чернышевский критические статьи Пушкина. Между Пушкиным и Чернышевским пролетала яркая полоса деятельности Белинского, статьи которого, особенно последних лет, весьма повысили идейный уровень критики и создали новый, небывалый тип критика-борца. Уровень требований, предъявляемых критике, после Белинского стал коренным образом иной. По мнению Чернышевского, критическая работа должна покоиться на системе научно-философских и литературно-эстетических взглядов. Материалистическая в своей основе, она должна быть проводником политических требований революционной демократии в области литературы. А критика Пушкина, по мнению Чернышевского, еще только порывала связь с чисто «вкусовой» и в лучшем смысле с эстетической критикой 20-х годов. Хотя его критические выступления и далеко ушли от названной критики, все же они были слабее блестящих статей «неистового Виссариона».

Чернышевский стоял за боевую, полную революционного настрое-

¹ Сб. «Н. Г. Чернышевский», стр. 215, Саратов, 1928.

² Там же, стр. 201—203.

³ Там же, стр. 208—209.

ния критику, отстаивающую интересы крестьянской демократии и ниспровергающую каноны дворянско-буржуазной литературы. Тем не менее Чернышевский увидел в критике Пушкина оригинальность и глубину мыслей. «Пушкин не был рожден критиком, — писал Чернышевский, — а между тем и тут найдем у него много верных замечаний. А сколько пронизательности, верности в его беглых замечаниях о предшествовавшей ему русской литературе. Так, например, три или четыре длинные и глубокомысленные статьи о Княжине, приносящие величайшую честь их автору, составились из перифраза двух слов, невзначай сказанных Пушкиным: «Переимчивый Княжнин»¹.

В связи с творчеством Пушкина Чернышевский поднял специальные вопросы о стихотворной технике, о законах стихосложения и обнаружил явное стремление к обновлению поэтических и в частности стиховых форм. В. В. Гиппиус в специальной работе на эту тему показал новизну взглядов Чернышевского и их плодотворность для развития будущей литературы, — взглядов, нашедших свое осуществление «только в соответствующих работах нашего времени»².

Примат художественности в поэзии Пушкина, констатируемый Чернышевским, не заслонил перед ним «великое историческое значение» Пушкина. «Великое дело свое — ввести в русскую литературу поэзию, как прекрасную художественную форму, Пушкин совершил вполне» — заявил Чернышевский. По его мнению, дальнейшее развитие литературы было подготовлено деятельностью Пушкина, пробудившего в обществе впервые много литературных и гуманных запросов. Не умаляя значения Пушкина для своего периода, он ограничил его для последующей эпохи: «Узнав поэзию как форму, русское общество могло уже идти далее и искать в этой форме содержание. Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми представителями которой были Лермонтов и особенно Гоголь»³.

Чернышевский отстаивал примат мысли и «критического» содержания, вопреки идеалам чистой художественности эстетов, реакционеров, славянофилов, почвенников и либералов. В этой борьбе Чернышевский, ставя решительно вопрос о преимущественном значении Гоголя, отодвигал значение Пушкина к пережитому литературой периоду, но не сомневался в «правах на вечную славу в русской литературе» Пушкина.

¹ Подробн. см. там же, стр. 215. Так Пушкин назвал Княжину в «Евгении Онегине».

² Подробн. см. статью В. В. Гиппиуса «Чернышевский-стихoved», в Сб. «Н. Г. Чернышевский», Саратов, стр. 89, 1926.

³ Избр. соч., ГИХЛ, стр. 242, 1934.

VII

Подъем революционного и освободительного движения в стране после Крымской войны, усиление классовых противоречий в связи с «освобождением крестьян», отразившееся в литературе и публицистике разрывом отношений между либеральным крылом писателей и вождями революционной демократии, — все эти события в целом обострили споры о пушкинском и гоголевском направлении. С нарастанием революционной ситуации усиливалось влияние революционной демократии на дела литературы. Перед ней встали вопросы о методе нового литературного стиля и отношении к писателям прошлого.

Добролюбов не разошелся с Чернышевским во взгляде на значение творчества Пушкина для слагавшейся литературы демократического реализма, но выдвинул другие стороны в Пушкине.

В своих статьях о Пушкине (1858—1860 гг.) Добролюбов боролся против либерально-консервативной критики, сделавшей своим знаменем Пушкина, ратовал за Пушкина, за правильное освещение и понимание его творчества. Он стремился нанести удар эстетам, показав ошибочность и ложность трактовки ими творчества Пушкина, как отрешенного от жизненных интересов.

В первой же своей статье «А. С. Пушкин» (написанной в конце 1856 г., но вышедшей в свет в 1858 г.) он подчеркнул в литературном наследстве поэта реализм и жизненность его произведений.

«Пушкин откликнулся на все, в чем проявлялась русская жизнь; он обозрел все ее стороны, проследил ее во всех ступенях, во всех ее частях, никому не отдаваясь исключительно». Эта оценка в устах реалиста-критика была безусловно высокой. Так же высоко расценил Добролюбов и «народность» Пушкина в этой статье: «Пушкин умел постигнуть истинные потребности и истинный характер народного быта». Добролюбов пересмотрел эту оценку и более правильно поставил вопрос о народности Пушкина позднее, в годы большей зрелости своих взглядов. В данной же статье революционный демократ не только высказывает взгляды, близкие вышеприведенным взглядам Чернышевского (суждение о том, что «стих Пушкина приготовил форму, в которой уже могли потом явиться высшие создания», или о том, что «после Пушкина... от поэта потребовали, чтобы он дал смысл описываемым явлениям, чтобы он умел охватить в своих творениях не одни видимые отличия предмета, но и самый его внутренний характер»), но и решительно заявляет, вопреки утверждениям сторонников «артистической» теории о «чистой художественности» Пушкина, что он, «несмотря на свои понятия об искусстве,

как цели для себя, умел, однако, понимать и свои обязанности к обществу». Примером, на который сослался Добролюбов, он избрал «Памятник» Пушкина.

Добролюбов указал, что первоначальные замыслы «Ревизора» и «Мертвых душ» принадлежали Пушкину и что именно он поощрял Гоголя к разработке этих сюжетов. Добролюбов видит в этом преемственность литературы от Пушкина к Гоголю. Мыслью о связи пушкинского и гоголевского периодов и заканчивалась первая статья критика о Пушкине (1856): «Явился новый период литературы, которого полнейшее отражение находим в Гоголе, но которого начало скрывается уже в поэзии Пушкина».

Добролюбов не просто зачисляет Пушкина в прошлое, а показывает в Гоголе его преемника, его продолжателя. Гоголь и Пушкин — зачинатели новой литературы; не антагонизм, а преемственность роднит этих корифеев. Пушкин и его творчество полезны делу, которое творит революционная демократия.

Добролюбов не упускал из внимания исторической точки зрения, не игнорировал конкретных условий развития реализма в творчестве Пушкина. Добролюбов рассматривал реализм Пушкина в исторической перспективе и увидел в нем могущественный толчок для дальнейшего развития нашей литературы. В первой же своей статье он с предельной ясностью говорит об этом: «В этом-то заключается важное значение поэзии Пушкина: она обратила мысль народа на те предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекла от всего туманного, призрачного, болезненно-мечтательного, в чем прежде поэты находили идеал красоты и всякого совершенства. Поэтому не должно казаться странным, что очарование (у автора курсив. — Н. Б.) нашим бедным миром так сильно у Пушкина, что он так мало смущается его несовершенствами. В то время нужно было еще показать то, что есть хорошего на земле, чтобы заставить людей спуститься на землю из их воздушных замков».

Зато позднее, когда реализм революционно-демократической беллетристики проявил себя в литературе, критик сдержанней стал оценивать Пушкина и выдвинул вопрос о глубоко органическом и социально-родственном отношении писателя к народу.

В большой статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858) Добролюбов развил эту мысль и применил ее к Пушкину. Чтобы стать народным поэтом, для этого «надо, — писал критик, — проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., почувствовать все тем простым чувством, каким обла-

дает народ, — этого Пушкину недоставало». Добролюбов как подлинный демократ, сторонник народности в литературе, требовал от поэтов приближения к народу. Эта оценка свидетельствует о глубоком демократизме Добролюбова. Сторонник революционного народа не увидел близких народу героев в творчестве Пушкина. «Алеко или Онегин, если бы, при своем множестве, все-таки оставались такими пошляками, как эти господа — москвичи в гарольдовом плаще, то грустно было бы за Россию. К счастью, их у нас всегда было мало», — писал Добролюбов.

Только намеками Добролюбов давал понять читателю о политическом свободомыслии Пушкина. Зорким взглядом политического деятеля революционный демократ усмотрел сквозь памфлеты Пушкина, за его склонностью «клеить пороки», доводы в пользу того, что Пушкин «до конца жизни не был решительным, слепым поклонником грубой силы, неживленной разумностью». Понятно, что Добролюбов не мог прямо говорить о деспотизме, о сопротивлениях реакции со стороны Пушкина. В цензурированном тексте его статьи были вычеркнуты слова о том, что Пушкин «скоро пал от утомления в борьбе с внешними враждебными влияниями», так же, как и вышеприведенные слова о «грубой силе».

Добролюбов не знал и не мог знать, за отсутствием материалов всей сложности отношений поэта с царем, не мог и доказать, если бы хотел, вынужденную дипломатию в отношениях Пушкина к «незабвенному медведю», как называли Николая в 60-е годы, — и тем не менее литературный Робеспьер, как саркастически назвал Добролюбова Тургенев, не бросил пневногo упрека Пушкину ни в сервизме, ни в лакейском прислуживании деспоту-царю.

В заметке для рукописной студенческой газеты «Слухи» (№ 4 от 19 сентября 1855 г.) студент Добролюбов объединил ряд неизданных и запрещенных эпиграмм Пушкина с целью доказать политический радикализм поэта, что было возможно благодаря тому, что газета была «рукописной». Тут же он высказал сомнение относительно правдивости предсмертных слов Пушкина о преданности царю, что действительно, как показал П. Е. Щеголе¹ оказалось lamentацией чувств Жуковского, а не Пушкина. Говорить об этом в подцензурной печати критик не мог.

VIII

Добролюбову трудно было наносить удары своим противникам: из-за цензуры он не мог показать во весь рост фигуру поэта, выдвигать в полемике с реакционно-дворянской и либерально-буржуазной

критикой подлинные черты в Пушкине, которые целиком ниспровергали взгляды противников. Приходилось говорить недомолвками, намеками, общими фразами.

Политический такт не обманул Добролюбова. Не располагая всей совокупностью данных, которые теперь накоплены пушкиноведением для освещения политических взглядов Пушкина, Добролюбов, в противовес взглядам консервативно-либеральной критики, выступавшей против обличительной литературы и превращавшей Пушкина в эстета, в знамя реакции, выдвинул в Пушкине черты обличителя, сатирика, борца, сторонника новых веяний. Говоря о значении всей поэзии Пушкина, Добролюбов в статье о стихотворениях Ив. Никитича (1860) подчеркнул прогрессивно-реальный и тем самым заостренно-полемический смысл ее: «Пушкин долго возбуждал негодование своей смелостью находить поэзию не в воображаемом идеале предмета, а в самом предмете, как он есть».

Добролюбов выбивал оружие из рук своих противников, показывая, что Пушкин не удалялся от действительности, а до конца своих дней глубоко интересовался и остро реагировал на политические вопросы своего времени. Эту мысль он проводит во всех своих статьях о Пушкине. В первой же статье он говорил даже о печали поэта по случаю гибели молодых революционных надежд. «Его лирика полна грусти... Но для нас грусть поэта понятнее теперь, чем для него самого. Мы видели, в жизни его было время, когда ему были новы все впечатления бытия. Когда возвышенные чувства:

Свобода, слава и любовь...

И вдохновенные искусства

Так сильно волновали кровь...

«Для нас понятнее грусть поэта!» Что это значит? Намек на грусть поэта о погибших декабристах, — так только можно истолковать слова Добролюбова.

Вместо дворянского эстетства и либеральных вымыслов об изыщной призрачности поэзии Пушкина критик твердил о реализме Пушкина. Пушкин «первый выразил возможность представлять, не компрометируя искусство, ту самую жизнь, которая у нас существует» (1858), — это лейт-мотив всех статей Добролюбова о Пушкине. Необходимо помнить, что во времена Добролюбова и Чернышевского дискуссия о Пушкине была боевым литературно-заостренным спором, в котором надо было не только вскрыть правильное историческое значение Пушкина, но и убедительно доказать противникам,

в чем подлинная ценность его поэзии, чем его творчество могло быть полезным революционной демократии. И Добролюбов взял у Пушкина то, что находил в нем подлинно ценным.

В статье о стихотворениях Ив. Никитина (1860) Добролюбов дал сжатую, но выразительную формулу своего поэтического кредо: «Нам нужен был бы теперь поэт, который бы с красотою Пушкина и силою Лермонтова умел продолжить и расширить реальную здоровую сторону стихотворений Кольцова». Как видим, «пристрастие» к Гоголю, как социальному писателю, разоблачившему существовавший строй, не помешало критику увидеть ценное в Пушкине.

Почему выше всех поставлен Кольцов? Потому что в то время Добролюбов только на творчество Кольцова мог указать как на воплощение народности. В статье о Кольцове он писал: «В его стихах впервые увидали мы чисто русского человека, с русской душой, с русскими чувствами, коротко знакомого с бытом народа, человека, жившего его жизнью и имевшего к ней полное сочувствие. Его песни по своему духу во многом сходны с народными песнями, но у него более поэзии, потому что в его песнях более мыслей, и эти мысли выражаются с большим искусством, силою и разнообразием».

Пусть поэзия Кольцова, говоря по существу, не вполне соответствовала идеалу демократа-критика. Добролюбов понимал, что подавленный и угнетенный народ еще не успел выдвинуть своего поэта. «Самосознание народных масс, — писал он, — далеко еще не вошло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всего себя поэтическим образом». Важно, что в анализе поэзии Добролюбов выдвигал прежде всего демократизм, близость к народным массам. И эту черту он завещал будущей литературе.

Важно и то, что Добролюбов первый в подцензурной печати коснулся в своих статьях момента политической биографии Пушкина. Он пристально изучал смену политических убеждений поэта, усматривая в этом вполне основательно не только важную сторону, но и путь к познанию поэзии Пушкина. В решении этих вопросов Добролюбов сделал первые шаги, но он стоял на верном пути.

Так революционный демократ умел увязывать эстетические споры с политическими задачами борьбы за социальное переустройство действительности. Ценное в наследстве дворянской литературы он включал в инвентарь строившейся демократической литературы, служившей целям революционного и освободительного движения в стране.

IX

«Смирненным» Пушкина революционные демократы не признавали. Связь его с декабристами была для них несомненной. Чернышевский прямо указывал, что Пушкин «писал под влиянием декабристов оду «Вольность». Добролюбов, не располагая всеми материалами по вопросу о сложности отношений Пушкина к власти и к вопросам социального характера в конце 30-х годов, также без колебаний говорит о бунтарстве, о мятежных настроениях Пушкина: «В последние годы его (Пушкина) жизни мы видим какую-то двойственность, которую можно объяснить только тем, что, несмотря на желание успокоить в себе все сомнения, проникнуться как можно полнее заданными направлениями (Добролюбов, очевидно, имел в виду намерение царя и Бенкендорфа «приучить» Пушкина, сделать его «покорным»—Н. Б.)—все-таки он не мог освободиться от живых порывов молодости, от гордых, независимых стремлений прежних лет». Нам теперь известно после работ П. Е. Щеголева, что и «проникновении» Пушкина было весьма относительно. Суждения Добролюбова, высказанные в предположительной форме, подтверждаются конкретным изучением, фактическими данными.

Революционные демократы разглядели в Пушкине великого человека и гениального художника, зачинателя новой реалистической литературы, черпавшего пригоршнями золото жизни для своих произведений.

Добролюбов и Чернышевский отмечали высокую степень художественности изображений Пушкина и их прогрессивное воздействие на дальнейшее развитие литературы. «Сила таланта, — писал Добролюбов, — уметь чувствовать, ловить и воссоздавать естественную красоту предметов — победили дикое упорство фантазеров, и в этом-то приближении к реализму в природе состоит величайшая литературная заслуга Пушкина. После него мы стали требовать и от поэзии верности изображений; после Гоголя это требование усилилось и перенесено от явлений природы к явлениям нравственной жизни».

Революционные демократы от реалистического искусства требовали отражения жизни «угнетенных и обездоленных», они требовали и изображений подлинно народной жизни и «справды без прикрас», как выразился Чернышевский. Разумеется, они были далеки от узкого понимания реализма как литературы только о народе, как далеки были от убогого понимания полезности, как пошлого и банального морализирования.

Выдвинутое Пушкиным требование «истины страстей, правдоподобия чувствований в предполагаемых обстоятельствах» вполне согла-

совалось с эстетикой Чернышевского и Добролюбова. Чернышевский знал, что реальное искусство должно обладать известной условностью, — он признавал выдумку и фантазию и приводил Пушкина в качестве примера, заимствовавшего сюжеты прозаических произведений («Капитанская дочка», «Дубровский», «Пиковая дама» и др.) из действительной жизни. Отличие литературы от жизни Чернышевский видел в «украшении события прибавкой эффектных аксессуаров и в соглашении характеров с теми событиями, в которых они участвуют»¹.

Последняя черта как раз напоминает требование и Пушкина. Все это мы говорим, чтобы показать, что поэтика Пушкина и Чернышевского, как реалистов, совпадали. Но они совпадали и являли сходство в теоретическом плане, в конкретном же выражении поэтику Пушкина Чернышевский и Добролюбов не могли принять. Они не могли принять ее потому, что не могли правильно оценить и правильно разобраться в художественной стороне творчества Пушкина. Для Чернышевского и Добролюбова художественность созданий Пушкина сливалась с враждебным эстетизмом, присущим барской литературе того времени.

Высокая степень художественности заслоняла подлинный смысл конкретных образов, в которых Пушкин обличал николаевскую действительность. Кроме того, недостаточность научного метода, сказывавшегося в неумении анализировать форму, вела к смешению чисто формальных элементов с художественно-образным содержанием. Форма как изображение жизненного процесса в его конкретности, в действиях и переживаниях людей определенного исторического периода, и форма как внешнее выражение этого содержания не различались, не расчленились поэтикой реализма. Оттого-то художественное изображение реалисты 60-х годов легко смешивали с эстетством, с «чистым искусством» и художественность противопоставляли содержанию мысли. В пору же ожесточенной борьбы с эстетами и сторонниками «чистого искусства», в 50—60-е годы, понятия «форма» и «содержание» резко противопоставлялись и приобрели специфический смысл.

Отсюда вполне понятно, что художественность Пушкина настраивала подозрительно революционных демократов, боровшихся в то время с поэтами «чистой формы» и сторонниками голого эстетизма. «Художественность» толкала на непонимание в должном свете содержания поэзии Пушкина.

Глубокое различие было и в исторической обстановке, в условиях

¹ Избр. соч., ГИХЛ, стр. 95, 1934.

борьбы, в требованиях времени. В 60-е годы, через четверть века после смерти великого поэта, в обстановке нарастания революционной ситуации, к реализму предъявлялись новые требования. Вот почему Чернышевский и не нашел у Пушкина «определенного воззрения на жизнь» и трактовал его как поэта-художника по преимуществу, а не как поэта-мыслителя: «Пушкин не был поэтом какого-нибудь определенного воззрения на жизнь, как Байрон, не был даже поэтом мысли вообще, как, например, Гете и Шиллер. Художественная форма «Фауста», «Валленштейна», «Чайльд-Гарольда» возникла для того, чтобы в ней выразилось глубокое воззрение на жизнь; в произведениях Пушкина мы не найдем этого. У него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе».

Реализм пушкинского творчества казался критикам революционной демократии 60-х годов абстрактным, пассивно-психологическим, а не политически заостренным. С точки зрения представителей демократической литературы этот реализм не имел достаточного критического острия. Исторические произведения Пушкина, по мнению Чернышевского, «сильны общею психологическою верностью характеров, но не тем, что Пушкин прозревал в изображаемых событиях глубокий внутренний интерес их, как например, Гете»¹.

Оценка «содержания» поэзии Пушкина говорит, что Чернышевский был не «пристрастным судьей», а объективным историком. В природе реализма Пушкина Чернышевский отмечал ценные проявления критического отношения Пушкина к жизни.

Добролюбов и Чернышевский выступили со своими статьями о Пушкине в то время, когда еще был силен дворянский лагерь носителей «чистой поэзии», против которых Чернышевский протестовал как против «бездонно-жидких трясин». Над этими трясиными эстетствующие писатели подымали Пушкина, как свое знамя, и за его величием прятали жалкое свое убожество. Чернышевский и Добролюбов не хотели отдавать им Пушкина. Чернышевский пропагандировал пушкинские стихи как «лучшее сокровище русской литературы». Добролюбов убежденно говорил о непреходящем значении поэзии Пушкина: «У нас еще долго будут ярко блеснуть лучи поэзии Пушкина».

Чернышевский видел в Пушкине поэта мирового масштаба. Когда-то Н. Полевой твердил, что Пушкин-де только «представитель своего современного отечества... Пушкин не принадлежал к вековым гениям». Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской

¹ Избр. соч., ГИХЛ, стр. 213, 1934.

литературы» счел необходимым говорить о Пушкине, сопоставляя его по значению с мировыми гениями: «Пушкина, — писал он, — давно уже все признали великим, неоспоримо великим писателем; имя его — священный авторитет для каждого русского читателя и даже не-читателя, как, например, Вальтер-Скотт—авторитет для каждого англичанина, Ламартин и Шатобриан—для француза или, чтобы перейти в более высокую область, Гете—для немца».

Чернышевский зачислял Пушкина в пантеон классиков литературы, чьи творения будут жить века. В произведениях Пушкина он видел «залог будущих торжеств нашего народа на поприще искусства, просвещения и гуманности».

Вл. Нейштадт

ПУШКИН В ОЦЕНКЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КРИТИКИ¹

I

Первые печатные высказывания о нашем поэте появились за рубежом в 1823 г. вместе с первыми переводами. К. фон дер-Борг в своей антологии на немецком языке² и Дюпре де-Сен-Мор в своей антологии на французском языке³ поместили по небольшой статейке о Пушкине. Характер таких статей в антологиях общеизвестен: несколько биографических данных и несколько слов о творчестве данного поэта вообще. Но Пушкин попал в антологию, будучи автором всего лишь двух поэм и нескольких десятков лирических стихотворений. Следовательно, о нем нельзя еще было говорить вообще, а нужно было либо ничего не говорить, либо давать оценку его поэтических первенцев. Такую оценку мы и находим у обоих авторов. Фон дер-Борг: «Пушкин написал много лирических стихотворений, посланий и пр. Но наиболее значительными его произведениями являются 2 поэмы — романтическая поэма «Руслан и Людмила» в шести песнях, вышедшая в Петербурге в 1820 году, и «Кавказский пленник», Петербург 1822 г. Обе поэмы, особенно вторая, отличаются живостью изображения, восхитительными описаниями и звучным стихом. Эти поэмы выдвинули Пушкина, несмотря на его молодость, в число лучших поэтов России».

¹ Глава из работы «Пушкин в мировой литературе», прочитанной на заседании Пушкинской комиссии Академии Наук СССР 28 декабря 1936 г.

² Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von der Borg. Zweiter Band. Riga u. Dorpat, 1823. — Здесь на стр. 304 эпиграмма Пушкина «История стихотворца», на стр. 364—374 большой отрывок из первой песни «Руслана и Людмилы». На стр. 403—404 статейка о Пушкине.

³ Anthologie russe, suivie de poésies originales. Par P. J. Emile Dupré de Saint-Maure. Paris 1823. — Здесь на стр. 80—81 вступительная заметка о Пушкине, а на стр. 82—89 большой отрывок из первой песни «Руслана и Людмилы». О Пушкине составитель пишет еще в общей вступительной статье на стр. XXII. (Нужно указать еще, что антология Сен-Мора вышла одновременно в двух изданиях: одно издание в малую четверку с шестью литографиями, а другое: — в шестнадцатую, без литографий. Я цитирую по большему изданию).

Дюпре де-Сен-Мор: «...Талант этого молодого поэта проявился уже в нескольких одах и посланиях, опубликованных в журналах. Но только его поэма в 6 песнях «Руслан и Людмила» обратила на него особое внимание всех любителей изящной литературы в России. Это произведение отличается поэтическим воображением столь же блестящим, сколь богатым: оно полно острых положений и счастливым сочетанием пылкости и трезвости, юмора и чувства, но главным образом поэтического колорита. Чистота ее стиля поистине удивительна у такой молодой музыки».

Несомненно, обе эти довольно сходные оценки не совсем самостоятельны. В них слышен отзвук параграфа 60 из «Опыта краткой истории русской литературы» Греча¹. Гораздо более непосредственным представляется мне то впечатление от «Руслана и Людмилы», которое Сен-Мор высказывает во вступительной статье к своей антологии, где он тоже уделяет место Пушкину: «Поэма «Руслан и Людмила» является новым доказательством, что и полунощное небо в состоянии расцвечать поэтическими вымыслами, украшенными всем великолепием живого и богатого воображения. Поэтические вымыслы Пушкина позволяют вспомнить об очаровании, изобретательности и пылкости Ариосто. И читая «Людмилу», можно воскликнуть вместе с Вольтером: «Не только климат определяет нашу природу».

Из этих коротеньких оценок мы можем все же сделать вывод, что первому шагу Пушкина на Западе сопутствовали удивление и восхищение.

С этого времени имя Пушкина все чаще начинает появляться на столбцах зарубежной печати. Рецензии на переводы его произведений неизменно сопровождаются похвалами по адресу Пушкина. Примечательно в этом отношении высказывание проф. Эжена де-Герля, выпустившего в 1827 г. антологию русских поэтов на французском языке под названием «Русские вечера»². Во вступительной статье к этой антологии «Взгляд на русскую литературу» мы находим следующие строки: «Если Россия не может еще гордиться ни одним эпическим произведением, то она имеет своего Ариосто в лице Александра Пушкина, автора героико-комической поэмы «Руслан и Люд-

¹ Руководство Греча, вне всякого сомнения, долгое время являлось на Западе единственным источником для ознакомления с русской литературой и было признанным подспорьем для оценки русских литературных фактов. Что фон дер-Борг пользовался Гречем, видно из переписки Н. М. Языкова, который, живя в Дерпте, был близок с фон дер-Боргом. В письме от 27 декабря 1829 г. к брату Языков писал: «История литературы Греча опоздала: Борг уже выписал из этой книги все для него нужное. Я нашел ее у Переводщикова». (См. «Письма Н. М. Языкова к родным». СПб, 1913. Стр. 35-36).

² Les Veillées russes. Par Hequin de Guerle. Paris, 1827.

мила». Эта поэма отличается блестящим вымыслом, брызжет весельем и изобретательностью, ее поэтическое богатство не уступает поэзии «Орlando Фуриозо». Перу г. Пушкина принадлежат и другие поэмы, как например, «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». Недавно он издал первую песнь поэмы, озаглавленной «Онегин», которая возбуждает в читателях неодолимое желание видеть скорее окончание этого произведения. А когда подумаешь, что сочинителю стольких прекрасных творений всего лишь 27 лет, сколько надежд должно родиться! Сколько обещает нам эта юная муза, множество произведений которой обращают на себя внимание творческой силой, правильностью слога и зрелостью вкусов, — качества, которые даже наиболее выдающимися поэтами приобретаются обыкновенно лишь в гораздо более зрелом возрасте» (стр. 32—33).

И здесь, как видим, сопоставление Пушкина с Ариосто,—но именно сопоставление, а не укор в подражательности, — и здесь признание большого таланта и снова удивление и восхищение¹.

Не буду цитировать другие высказывания французской, немецкой, чешской и сербской печати этого времени. Порою сдержанные, порою столь же восхищенные, они ничего не прибавят нам по существу. В них не давалась, да и не могла еще быть дана развернутая оценка значения Пушкина.

Замечу лишь, что Пушкин, подобно Байрону, был еще при жизни признан на Западе гениальным поэтом.

В немецкой энциклопедии 1830 г., поместившей биографию Пушкина, сказано о нем следующее: «Гениальный русский поэт, слава которого широко распространена...»

II

Когда Пушкин умер, российский министр народного просвещения Уваров распорядился, чтобы печать «поддерживала надлежащую умеренность и тон приличия в статьях по поводу кончины Пушкина». Недаром князь Одоевский жаловался в письме к А. О. Смирновой: «С Пушкиным точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению». Обойти запрет писать о Пушкине в сочувственном тоне удалось в России, кажется, только двум газетам, а

¹ Статья Герля особенно интересна потому, что в ней мы находим первое печатное высказывание иностранца о «Евгении Онегине». Первая глава «Онегина» вышла в феврале 1825 г., вторая — в октябре 1826 г. Следовательно, антология де-Герля была сдана в печать до октября 1826 г., но появилась лишь в 1827 г.

именно: Одесскому вестнику» и французской газете в Одессе. „Journal d'Odessa“

Но запрет русского министра, к его великому сожалению, не распространялся на заграничную печать. И заграничная печать не обошла молчанием гибель великого русского поэта. 14 марта 1837 г. Н. А. Мельгунов, живший тогда во Франкфурте, писал С. П. Шевыреву: «Ты обещаешь мне подробное известие о смерти Пушкина. Это происшествие произвело здесь сильное впечатление и в течение двух-трех недель все газеты немецкие и французские были им полны, так что иное я, может быть, знаю обстоятельнее, чем вы»¹.

В это сообщение Мельгунова следует внести только одну поправку: не 2—3 недели, а 3—4 месяца не сходило с газетных и журнальных листов имя Пушкина. В самом деле, Пушкин умер 10 февраля (по новому стилю), в конце февраля встречаем мы первые некрологи в заграничной печати, но еще в мае и июне продолжают появляться статьи о Пушкине. Знаменитая статья Мицкевича появилась в «Le Globe» 25 мая 1837 г.

И так было не только во Франции и Германии, но и в Англии, и в Чехии, и в других странах. Только в Голландии, по вполне понятным причинам, постарались не заметить смерти великого поэта².

К сожалению, иностранные газеты 1837 г. обследованы еще очень не полно, материал далеко не собран и почти не подвергался анализу. Имеется только одна брошюра М. Веневитинова, в которой сделана попытка проанализировать немецкие материалы («Некрологи Пушкина в немецких газетах 1837 года». СПб, 1900). Еще П. Е. Щеголев в книге «Дуэль и смерть Пушкина» перепечатал с небольшим комментарием 4 статьи из французской газеты „Journal des Debats“ и одну статью из английской „The Morning Chronicle“.

Стоит остановиться на брошюре М. Веневитинова. Он задался целью «определить то положение, которое могла доставить Пушкину в литературе западной Европы его слава как русского поэта», и

¹ См. статью А. И. Кирпичникова «Между славянофилами и западниками» в его «Очерках по истории новой русской литературы», т. II, стр. 171, 1903.

² В голландских газетах 1837 г. были напечатаны (с 27 февраля по 20 марта) три коротеньких и одна более распространенная корреспонденция. Только в этой последней раскрыта причина дуэли, но имя Дантеса не названо. Имя убийцы Пушкина упомянуто лишь в гаагской газете, выходившей на французском языке. Зато чрезвычайно интересны для нас характеристики, данные голландскими газетами Пушкину: «Поэт Александр Пушкин, произведения которого знамениты за границей...» «Знаменитый господин Пушкин, самый выдающийся поэт, России...» «Поэт Пушкин, который приобрел и за пределами своего отечества почетную известность...» (См. Н. В. Чарыков. «Известия о дуэли Пушкина, имеющиеся в Голландии» — «Пушкин и его современники». Вып. XI, 1909. Стр. 64—78).

пришел к выводу, что «смерть великого русского писателя не произвела в Германии особенно сильного впечатления». «Немецкая литература, — пишет Веневитинов, — не имела полного понятия о всем значении Пушкина не только в объеме его европейской славы, но даже в отношении его заслуг перед Россией. Пушкин обратил в 1837 году внимание немецких газет не столько своими произведениями, сколько подробностями своей дуэли...».

Все эти утверждения М. Веневитинова от начала до конца не верны. О впечатлении, произведенном в Германии смертью Пушкина, мы имеем свидетельство Н. А. Мельгунова, которое я цитировал выше и которое, между прочим, приводил и Веневитинов. А как понимало значение Пушкина «в объеме его европейской славы» немецкое общество 30-х годов прошлого столетия, видно хотя бы из донесения саксонского посланника в России барона Лютцереде своему правительству: «Ужасное событие, совершившееся три дня тому назад, глубоко потрясло всех истинно образованных жителей Петербурга. Государственный историограф Александр Пушкин, который достоин быть назван со смерти Гете и Байрона первым поэтом современной эпохи, пал жертвою ревности, злонамеренно доведенной до безумия». В конце своего донесения Лютцереде называет Пушкина «одним из выдающихся умов Европы»¹.

Что же касается значения Пушкина для России, то одна из немецких газет 1837 г., анализируя «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», определяет это значение так: «Пушкин этими произведениями создал тот русский язык, которым пишут и говорят теперь, и оказал своему отечеству ту же услугу, какую французы признают за своим Малербом» («Deutsche Allgemeine Zeitung», 12 марта 1837 г.). Эта формулировка немецкой газеты была, правда, заимствована из французской статьи Лева-Веймара, опубликованной в «Journal des Debats» от 3 марта 1837 г. Но, очевидно, немецкая газета была с этой формулировкой согласна. Во всяком случае она преподнесла ее своим читателям и, следовательно, правильно информировала их о значении Пушкина для России.

Нельзя не согласиться с утверждением Веневитинова, что Пушкин обратил на себя внимание не столько своими произведениями, сколько подробностями своей дуэли. Если бы это было так, то интерес к Пушкину должен был бы скоро заглохнуть. Этого, однако, не случилось. Веневитинов основывает свои утверждения на том факте, что

¹ См. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина», 2-е изд. Стр. 373—375.

во всех немецких статьях, появившихся в связи со смертью Пушкина, биография поэта была перевернута и искажена: Пушкина называли то графом Мусиным-Пушкиным, то просто графом Пушкиным, путали его имя и т. д. Это верно. Пушкина возводили в графское достоинство не только в Германии, но и в других странах. И не только в 1837 г., но и значительно позже: так, в Англии в 1859 г. перевод «Капитанской дочки» появился с титулом «Граф Александр Л. (!) М. (!) Пушкин. То ли еще бывало с русскими именами!

Но Веневитинов не обратил внимания на другое обстоятельство: при всей путанице в бытовых чертах биографии Пушкина (далеко, однако, не во всех статьях) мы ни в одной статье 1837 г. не найдем ошибки или неточности в литературной биографии Пушкина. С этой стороны, Пушкина на Западе знали. Не все еще из произведений Пушкина дошло туда, но что дошло, запомнилось прочно.

Смерть Пушкина была встречена на Западе как огромная потеря для всего мира. Горечью полны зарубежные голоса. Особенно заметно это в тоне чешской печати. Чешский поэт Людевит Штур опубликовал свой «Плач над Пушкиным» — первое иноязычное стихотворение, посвященное Пушкину:

Мало на Ваг долетело к нам с Севера Пушкина песен,
Но заронились те песни глубоко в славянские души.
Умер поэт, но жив его дух; и жить будет вечно
Сладостный звук его лютни на вольных просторах.

Замечательно, что не только Запад, но и Восток сейчас же откликнулся поэтическим откликом на смерть поэта

Разве ты, не ведающий мира, — разве не слышал
о Пушкине, главе собора поэтов?

О том Пушкине, от которого бумага жаждала потерять белизну
свою,
чтобы только перо его проводило черты по лицу ее.

Так не спас тебя от оков колдовства этой старой
чаровницы (смерти) талисман твой.

Фонтан из Бахчисарая посылает праху твоему
с весенним зephyром благоухание двух роз твоих.
Старец седовласый, Кавказ, отвечает на песни твои
стоном в стихах Сабухия.

Это отрывки из поэмы на смерть Пушкина тюркского поэта Сабухия (Мирза Фет-Али Ахундов). В русском прозаическом переводе

самого автора она появилась в «Московском наблюдателе» в 1837 г. (стр. 394—404).

Однако глубже и горше всех чувствовал утрату Пушкина великий польский поэт Мицкевич, живший тогда в Париже и написавший взволнованный некролог в «Le Globe»¹. «Никто не заменит Пушкина,— писал он.—...Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные качества»².

У Мицкевича перед другими иностранными критиками было то преимущество, что он хорошо знал Пушкина лично, читал его произведения в подлиннике и сам был большим поэтом. Поэтому-то он так верно оценил Пушкина, как поэта истинно-народного, потому так правильно охарактеризовал «Евгения Онегина» — «лучшим и своеобразнейшим и наиболее национальным из творений Пушкина». Только «Бориса Годунова» Мицкевич не оценил до конца. «Пушкин был слишком молод для воссоздания исторических личностей,— писал он. — Он сделал опыт драмы, но опыт, который доказывает, чего бы он мог достигнуть со временем: «Et tu Shakespeare eris si fata sinant».

Очевидно, Мицкевич считал, что Пушкин не совсем справился с характерами своей драмы. Как увидим, с этим несколько позднее не согласилась немецкая критика.

Однако, не приняв «Бориса Годунова» в целом, Мицкевич правильно оценил его самобытность: «Борис Годунов» содержит в себе подробности и даже сцены изумительной красоты. Особенно пролог кажется мне столь самобытным и величественным, что, не обинуясь, признаю его единственным в своем роде».

Нельзя не отметить и той общей оценки, которую дал Мицкевич Пушкину в своей статье: «Если бы не существовало творений английского поэта (Байрона — В. Н.), Пушкин был бы провозглашен первым поэтом своей эпохи».

Таким образом, польский поэт раньше всех поставил во весь рост проблему о мировом значении Пушкина.

III

Русская критика 20-х и 30-х годов не только не могла поставить вопрос о мировом значении Пушкина, но даже не могла бесповорот-

¹ Из других значительных статей во французской печати нужно выделить статью Лева-Веймара, упоминавшуюся выше, и статью за подписью G. Lam в газете «Temps».

² Цитирую по переводу кн. Вяземского. «Русский архив». 1873, кн. 6. Стр. 1057—1088.

но решить вопрос о самобытности своего величайшего поэта. Ярлык байрониста, привешенный к Пушкину, преследовал его при жизни, продолжал преследовать и после смерти. Отдельные робкие попытки сорвать этот ярлык, например, в статье Ивана Киреевского («Нечто о характере поэзии Пушкина», 1828), почти не имели резонанса. Да и позднее, уже после статьи Белинского и высказываний Герцена и Огарева, отрицательно решивших вопрос о байронизме Пушкина, русская критика продолжала иметь суждение в этом вопросе по методу «с одной стороны, нельзя не признаться, с другой стороны, нельзя не сознаться». Когда же этим вопросом занялись историки литературы, он получил совершенно своеобразное разрешение: если исследователь снимал с Пушкина ярлык байрониста, он немедленно навешивал ему какой-нибудь другой ярлык. Так, Сиповский почти целиком отрицая влияние Байрона на Пушкина, чуть ли не сделал его «шатобрианистом»¹.

Но если так обстояло дело в России, что же мы должны были встретить на Западе, тем более в первой трети XIX в., когда отношение к русской литературе было еще в достаточной мере скептическим. Оказывается, что как раз на Западе, и уже в конце 30-х годов, мы находим первое и решительное утверждение самобытности и оригинальности нашего поэта. В 1838 г. появилась большая статья о Пушкине известного немецкого критика Фарнгагена фон Энзе („Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik“, октябрь, 1838)².

Статья эта была не поверхностной компиляцией чужих мнений и взглядов, она явилась плодом собственных серьезных раздумий над Пушкиным. Для того, чтобы лучше понимать русского поэта, Фарнгаген изучил русский язык и читал Пушкина в подлиннике. Он был знаком с творчеством поэта в полном объеме, вместе с тем он являлся одним из лучших знатоков всех европейских литератур. Вот почему его мнение о Пушкине приобретало особый интерес и особую внушительность³.

¹ В. В. Сиповский. «Пушкин, Байрон и Шатобриан». СПб, 1899 г.

² До появления статьи Фарнгагена в Германии вышли в 1837 г. две книги, специально посвященные русской литературе и, конечно, уделившие место Пушкину. Я не останавливаюсь на них только потому, что обе они были в сущности переложением русских источников. Так, книгу Кенига «Literarische Bilder aus Russland» составил упоминавшийся выше Н. А. Мельгунов, а книга Отто «Lehrbuch der russischen Literatur» была не чем иным, как переводом все того же «Опыта» Греча с небольшими добавлениями из русских же журнальных статей. Стоит отметить, что к книге Кенига был приложен портрет Пушкина — первый появившийся за границей портрет (гравюра Уткина).

³ Один из берлинских корреспондентов В. Ф. Одоевского — Я. М. Неверов писал ему в ноябре 1838 г.: «Обратили ли Вы внимание на статью Фарнгагена о Пушкине?.. Она возбудила здесь живой интерес как содержанием своим, так в особенности именем Фарнгагена, и русская литература наряду с современными

Интересно, что немецкий критик считал прежде всего необходимым защитить русского поэта от русской критики. «Русские сами, — пишет Фарнгаген фон Энзе, — по скромности или из осторожности называют нередко Пушкина подражателем. Такое определение кажется мне очень несправедливым. Правда, мы находим иногда у Пушкина что-то напоминающее Байрона. Его поэзия часто кажется подражанием, но на самом деле это не так. Она всегда рождается из собственного духа, даже в тех случаях, когда отдельные ее элементы не являются собственным изобретением. Как океан, куда вливаются воды всех стран, так и запас образов, накопившийся в продолжение веков, есть общее достояние, пользоваться которым могут все, присваивая себе то, что пригодно или нравится¹. Вся сокровищница литературных образов переходит в общую поэтическую атмосферу и растворяется в ней, мы дышим ею, как свободным воздухом; она становится материалом и составной частью новых поэтических созданий, но можно ли их называть подражаниями из-за того, что мы ощущаем в них воздух? Только дух, один только дух позволяет решить здесь, кто является свободным повелителем и кто — рабским подражателем... Что Пушкин поэт оригинальный, поэт самобытный — явствует непосредственно из впечатления, производимого его поэзией. Он мог заимствовать ту или иную форму, он мог становиться на пути, до него еще проложенные; но жизнь, вызванная им, — ж и з н ь с о в е р ш е н н о н о в а я».

«И если; — продолжает Фарнгаген, — читая Пушкина, мы вспоминаем порой Байрона, Шиллера или их предшественников — Шекспира и Ариосто, то что из этого следует? Только то — с кем мы можем сравнить Пушкина, а вовсе не то, от кого мы должны его производить».

Из всего этого следует, что Фарнгаген фон Энзе поставил Пушкина в ряд величайших мировых поэтов. А дальше он точно и четко сформулировал, в чем собственно состоит мировое значение Пуш-

политическими вопросами составляла на несколько недель предмет общего разговора» («Русск. старина», 1904, т. 119. Стр. 157).

Статья Фарнгагена вышла позднее в собрании его сочинений, т. е. в 1843 г. На русском языке она была напечатана в «Сыне отечества», 1839, т. VII, № 1 и в «Отечественных записках», 1839, т. IV. Приложение. Она должна была появиться также в «Московском наблюдателе», 1839, но была запрещена цензурой. Зелинский перепечатал ее в своем своде критической литературы о Пушкине, т. IV, изд. 2-е, 1902. Стр. 105—126.

¹ Эта точка зрения Фарнгагена перекликается с некоторыми высказываниями Гете, который, как известно, упрекал Байрона за то, что он недостаточно резко отвечал на обвинения его в плагиате. По мнению Гете, Байрон должен бы заявить: «То, что здесь, — мое, и не все ли равно, взял я это из жизни или из книги». В другом месте Гете говорит: «Величайший из гениев недалеко бы ушел, если бы вздумал всего ожидать только от самого себя».

кина. Он указал, что поэзия Пушкина прежде всего глубоко национальна и народна, ибо служит верным и всесторонним отражением полноты русской жизни. Вместе с тем его поэзия отражает господствующие умонастроения эпохи, выразителями которых являлись и Байрон и Шиллер: «В ней тот же разлад мечты с действительностью, та же тоска, та же печаль по утраченном и грусть по недостижимом счастье». Но есть в ней одно свойство, которое подымает его над его великими современниками: «Он живым образом слил все исчисленные качества с их решительной противоположностью, именно со свежою духовною гармонией, которая, как яркое сияние солнца, призывает его поэзию и всегда, при самых мрачных ощущениях, при самом страшном отчаянии, подает утешение и надежду».

В этом отношении Фарнгаген фон Энзе находит возможным сравнить Пушкина только с Гете.

Два полюса человеческого духа, нашедшие свое полное выражение в таких гигантах, как Гете и Байрон, органически сливаются, синтезируются в Пушкине. Вот в чем, по Фарнгагену фон Энзе, мировое значение великого русского поэта.

Подвергнув анализу произведения Пушкина (кроме прозы), немецкий критик особенно выделил «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и лирику. «Евгения Онегина» он назвал вещью, ни с чем не сравнимую, читая которую вы должны сказать, что здесь перед вами Пушкин и только Пушкин. Кто захотел бы привести для сравнения «Чайльд-Гарольда» Байрона, тот был бы обманут внешним сходством, как и тот, например, кто попытался бы сравнивать «Германа и Доротею» Гете с «Луизой» Фосса.

Исключительно высокую оценку дал Фарнгаген фон Энзе «Борису Годунову».

Как известно, «Борис Годунов» был любимым детищем Пушкина. Поэт явно гордился своим созданием. Получив позволение царя напечатать драму, Пушкин писал Плетневу: «Думаю написать предисловие. Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично ли мне, Александру Пушкину, являясь перед Россией с «Борисом Годуновым», заговорить о Фаддее Булгарине?». Пушкин хорошо понимал значение созданной им вещи. Но современная Пушкину критика этого значения не поняла. Фельетон Надеждина («Телескоп», 1831, № 4) четко отражает, как поняла и приняла русская критика драму Пушкина: «Ни комедия, ни трагедия, ни чорт знает что... В этой связке разговоров нет никакой цели...»

Понятно, почему Пушкин так ждал переводов своей драмы и «суда немцев» над нею. Каков же был суд Фарнгагена фон Энзе?

«В Борисе Годунове», — писал он, — единство действия везде строго сохранено и органически связует части в одно целое. План, ход и развитие истинно драматические: впечатление, производимое целым, также имеет совершенно драматический характер... Распределение сцен и диалогов можно назвать в высшей степени мастерским. Обрисовка характеров столь же зрела, сколь разнообразна... Это разнообразие и вместе с тем законченность и типичность каждого отдельного образа показывают, что Пушкин истинный драматург. Особенно удивительна при этом та скупость средств, которыми Пушкин достигает своей цели. Здесь он непревзойденный мастер: все у него сжато и ярко, целеустремленно и быстро, ничего лишнего, ничего растянутого».

Таково суждение о формальной стороне драмы. Что же касается существа ее, то, по мнению Фарнгагена фон Энзе, уже сама постановка трагической проблемы в «Борисе Годунове» доказывает всю глубину гения Пушкина.

Но самые восторженные слова нашел критик, говоря о лирике Пушкина. «Здесь, — говорит он, — Пушкин является полным властелином в необозримом могуществе; здесь сверкают самые яркие вспышки того пламени, который горел в тайниках его души. С первого взгляда ясно, что все воплощаемые им ощущения пережиты им, что они или выражение переверотов судьбы, или страдание и пруть мужественного сердца, или бодрость и надежда сильной души. В веянии этих ощущений дышит сам поэт, дышат его соотечественники, его современники; он отыскивает в их груди самые сокровенные струны, настраивает эти струны и ударяет по ним. Волнения, которые темно и болезненно движутся и борются внутри, освобождаются очарованием его выражения и вырываются на свет, радостные и сияющие. Как глубоко, как могущественно вскрыл Пушкин в своих песнях сердце своего народа, видно из того, что эти песни проникли во все уголки России, что они перелетают там из уст в уста и везде возбуждают восторг и вдохновение. Мало того, что они вполне удовлетворяют лирическому чувству народа, они еще возвышают его требования и умножают его богатство поэтическим сокровищем...»

И заключая свою статью, Фарнгаген фон Энзе восклицает: «Одной песни Пушкина достаточно, чтобы русская поэзия смело поставила себя в ряд со всякой другой поэзией, достигшей высочайшей ступени развития».

Это было, между прочим, первое признание, что русская литература вошла полноправным членом во всемирную литературу. И этим она была обязана Пушкину.

IV

Статья Фарнгагена фон Энзе не прошла бесследно. Она вызвала ряд отголосков. Я склонен думать, что она способствовала увеличению числа переводов из Пушкина и, тем самым, расширила и укрепила знакомство европейского читателя с его произведениями. Не следует думать, однако, что вся западноевропейская критика решала вопрос о значении Пушкина в полном единомыслии с Фарнгагеном фон Энзе. Общее презрительное отношение к русской культуре вообще и к литературе в частности, продолжавшее жить в некоторых кругах, по инерции переносилось и на Пушкина. Характерный образец этой инерции мы находим в высказывании некоего маркиза де Кюстина, побывавшего в 1839 г. в России¹ и оставившего записки об этом путешествии, изданные в 1843 г. В 3-м томе этих записок Кюстин рассказывает о дуэли Пушкина и так раскрывает свое отношение к нему: «Превозносят его стиль, но добиться такого признания легко человеку, родившемуся в некультурной стране в эпоху всеобщей утонченной цивилизации. Ему достаточно только собирать чувства и мысли, произрастающие у соседних наций, и он уже будет казаться оригинальным у себя дома. Он хозяин своего языка, потому что этот язык не имеет устоев; и чтобы составить эпоху у такого невежественного народа, окруженного просвещенными нациями, этому писателю нужно только переводить, не затрудняя себя собственными мыслями. Подражатель, и только подражатель, он будет расцениваться как создатель».

Можно было бы не обратить внимания на разглагольствования путешествующего маркиза, но, повторяю, этот образец характерен для некоторых иностранных кругов того времени в их отношении к России вообще. Подобное высокомерие, переносимое и на Пушкина, мы встречаем и у некоторых критиков. Однако, с полной уверенностью можно сказать, что таких критиков было уже явное меньшинство, и не они задавали тон.

40-е и 50-е годы прошли в общем под знаком высокого внимания к Пушкину и высокой оценки его значения. Во Франции продолжал поднимать его имя на щит Мишкевич. Он много говорил о Пушкине в лекциях, читанных в 1840 г. в „Collège de France“.² Обращает на себя внимание оценка, данная им прозе Пушкина: «Его проза изуми-

¹ Le Russie en 1839 par le marquis de Gustine. Paris, 1843.

² Лекции Мишкевича имели резонанс и в Германии, так как все, что говорилось в них о Пушкине, было перепечатано в 1843 г. в журнале «Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft».

тельной красоты. Она беспрестанно и неприметно меняет краски и приемы свои. С высоты оды «нисходит до эпиграммы, и среди подобного разнообразия встречаешь сцены, достигающие эпического величия».

Это было, кажется, первое на Западе авторитетное слово о пушкинской прозе.

Критика 40-х и 50-х годов все внимательней и глубже начинает вглядываться в творчество Пушкина. Эта углубленность отразилась прежде всего в оценке самого творческого метода поэта. Если критика 20-х и 30-х годов, за исключением одного, пожалуй, Фарнгагена фон Энзе, почти безоговорочно причисляла Пушкина к лику романтиков, то в рассматриваемую эпоху романтизм почти уже не связывается с именем Пушкина; его творчество определяется теперь как реализм. Именно это и позволило ряду критиков не только отрицать зависимость Пушкина от Байрона, но и поставить русского поэта выше английского.

«В своих произведениях, — писал немецкий критик Вольфзон (1843) ¹, — Пушкин оставил России драгоценное наследство, на которое она может смотреть с чувством гордости и удовлетворения, нисколько не завидуя поэтическим сокровищам других народов». Основной аргумент для подобного утверждения Вольфзон находит в том, что «произведения Пушкина отмечены редкою жизненной правдой заключающихся в них образов».

Еще более четко сформулировано это положение в статье французского журнала „Illustration“ (1845) ²: «Редкий поэт обладал таким живым чувством действительности и такой способностью воспроизведения реальной жизни. Эта черта творчества Пушкина позволяет автору статьи выразить убеждение, что Пушкин бесспорно делается достоянием всего читающего мира, и его прекрасные произведения, как «Евгений Онегин» и прозаические повести, особенно «Капитанская дочка», завоевуют симпатии французской публики и внушат ей любовь к этому истинному, самобытному, блестящему таланту».

Французский критик Сен-Жюльен в 1847 г. посвятил русскому поэту обширную статью: «Пушкин и литературное движение в России за последние 40 лет» ³. Эта статья необычайно интересна и сейчас еще поучительна для многих критиков. Сен-Жюльен подчеркнул глубину и многообразие творчества Пушкина. Он указал, что далеко не все постигли эту глубину и многообразие. Те, кто видели в Пуш-

¹ Die schönwissenschaftliche Literatur der Russen, Leipzig, 1843.

² Статья эта не подписана.

³ «Revue des deux Mondes», 1847, t. XX.

кине только национального поэта, проглядели «космополитические элементы его поэзии». Те же, кому бросились в глаза только космополитические элементы, не заметили за ними национальной основы пушкинского творчества. Такая односторонность и позволила этой второй категории критиков говорить о подражательном характере поэзии Пушкина. Опровергая этот взгляд, Сен-Жюльен заявил, что само миропонимание Пушкина резко отличает его от всех тех, кого ему хотят навязать в образцы. И он поставил Пушкина выше всех его западноевропейских современников, ибо их творчество страдает от условностей и доктринерства, а творчество Пушкина проникнуто полнотой жизни и правдой. Как можно говорить о подражании Пушкина Байрону, пишет Сен-Жюльен, когда английский поэт рисовал только образы, созданные его фантазией, а Пушкин претворял в образы реальную жизнь. Этой реалистичностью отличаются и все исторические образы, созданные Пушкиным, что особенно подчеркивает мощь его поэтического гения. Сен-Жюльену ясно мировое значение Пушкина, но не менее ясна ему и та роль, которую сыграл Пушкин в развитии русской литературы. «Русская литература, — пишет он, — обязана Пушкину возвращением на путь народности и самобытности, утраченной в период подражания западным образцам. Пушкин создал школу, из которой вышла вся позднейшая русская литература, литература реализма».

К точке зрения Сен-Жюльена отчасти примыкает Фридрих Боденштедт, поместивший в 3-м томе своих переводов из Пушкина (1855 г.) обширную биографическую и критическую статью о нем. Боденштедт, признавая некоторое влияние Байрона на Пушкина раннего периода, считал это влияние скорее губительным¹ (verderblich), чем плодотворным. По существу же он противопоставлял Пушкина Байрону, утверждая, что английский поэт превосходит Пушкина силой фантазии, но уступает ему в естественности и правдивости изображения. «Впрочем, — резюмирует Боденштедт, — что бы ни говорили о поэтических произведениях Пушкина, с какой бы стороны их не обсуждали, в одном должны согласиться все: каждое его произведение выполняет благороднейшую задачу поэзии — отобразить в художественной форме кусок человеческой жизни». Это была прекрасная формула реалистического искусства, и она целиком распространялась на Пушкина.

¹ Интересно, что это мнение Боденштедта целиком совпадает с мнением Мицкевича. В некрологе 1837 г. Мицкевич, отметив благородное влияние поэзии Жуковского на юного Пушкина, с сожалением замечал: «но Байрон слишком рано похитил его из этой хорошей школы и увлек в фантастические пустыни и пещеры романтизма».

В предисловии к 1-му тому своих переводов Боденштедт сравнивает роль Пушкина в России с ролью Гете в Германии и подчеркивает, что поэзия Пушкина в высшей степени народна, но вместе с тем близка и понятна каждому иностранцу. Особенно высоко ставит он «Евгения Онегина», которого он сравнивает по значению с «Фаустом» Гете и которого ставит «в ряд величайших поэтических творений всех времен и всех народов» (предисловие, стр. XI—XIV).

В связи с Боденштедтом я остановлюсь на статье лондонской газеты «Atheneum» (март, 1855). Это была одна из многочисленных статей, вызванных появлением в Германии трех томиков Пушкина в переводе Боденштедта. Отдав дань удивления своеобразию «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», автор английской статьи замечает: «Нет ничего нелепее пустой фразы, которою бросаются иные сверхумные критики, заявляя, что творчество Пушкина есть лишь подражание байроновскому. Конечно, британская муза оказала известное вдохновляющее влияние на русского поэта, но самобытность его лучших произведений должна быть ясна каждому».

Так, даже Англия срывала нелепый ярлык байронизма, привешенный Пушкину «сверхумными критиками».

Заметной работой о Пушкине является статья В. Ч. Бендля, опубликованная в „Caropis Ceskeho Musea“ в 1854 г. О Пушкине в Чехии много писали и раньше, но это была первая статья, претендующая на известную самостоятельность. Сам Бендль много переводил из Пушкина. Его переводы, значительно уступая по качеству немецким переводам Боденштедта, сыграли, однако, в деле ознакомления чехов с Пушкиным такую же роль, как и боденштедтовские в Германии. Бендль необычайно высоко ценил формальное мастерство Пушкина. И этому вопросу он уделяет много места в своей статье. Не обинуясь, он утверждает, что совершенством формы Пушкин превосходит Байрона. А совершенство пушкинской формы Бендль увидел в необычайной ее простоте и в скупости изобразительных приемов, создающих не менее огромное впечатление.

В сущности Бендль не первый поднял вопрос об этой стороне пушкинского творчества. Как мы видели, Фарнгаген фон Энзе тоже удивлялся скупости средств, которыми Пушкин добивался своей цели; касались этого вопроса и другие. Но исключительное внимание ему и вообще вопросам пушкинского стиля посвятил Проспер Мериме, который, подобно Фарнгагену фон Энзе, изучал русский язык, чтобы читать Пушкина в подлиннике. Статья Проспера Мериме о Пушкине

появилась в 1868 году¹. Статья эта не очень велика по объему, но она результат более чем двадцатипятилетней работы над Пушкиным.

По собственному признанию Мериме (в письмах к Лагрэнэ), Пушкина открыл ему С. А. Соболевский, который познакомился с Мериме в свой первый приезд в Париж в 1829 г. Но можно думать, что и до знакомства с Соболевским Мериме уже слышал о Пушкине в салоне Ансло. В этом салоне разговоры о Пушкине, несомненно, были, ибо супруги Ансло в 1826 г. побывали в России, и Жак Ансло в своей книге об этом путешествии (Париж, 1827) опубликовал перевод пушкинского «Кинжала»².

Однако роль Соболевского как первого руководителя Мериме в изучении Пушкина не подлежит сомнению. Это убедительно вскрывает работа А. К. Виноградова «Мериме в письмах Соболевскому».

Мериме начал свое знакомство с творчеством Пушкина несомненно по переводам, и чтение этих плохих переводов, за которыми можно было только угадывать величие русского поэта, может быть больше, чем что другое, побудило Мериме изучить русский язык. Судя по русским письмам Мериме, можно думать, что только в начале 40-х годов он начал с трехом пополам разбирать Пушкина в подлиннике, но к этому времени «Цыганы» уже прочно сидели у него в голове. «Цыганы» были его «первой любовью к Пушкину», и он на всю жизнь остался верен этой любви. «В конечном счете верхом гениальности и мастерства мне кажутся «Цыганы», — писал он Соболевскому 31 августа 1849 г.

Великая любовь к Пушкину заставила Мериме приняться за переводы из него. Он начал, по совету Соболевского, с «Пиковой дамы», которую и сам считал шедевром мировой прозы. Благодаря его переводу (1849 г.) «Пиковая дама» прочно вошла в сознание французского читателя. Об этом говорит хотя бы признание Марселя Прево, сделанное 50 лет спустя, в юбилейные дни 1899 года: «On jouait chez Naroumoff lieutenant aux gardes à cheval...» Эти слова, которыми начинается «Пиковая дама» в переводе Мериме, всплывают в моей памяти каждый раз, когда при мне произносят имя Пушкина...»³.

¹ «Alexandre Pouchkine». *Moniteur Universel*, 1868, январь. Позднее эта статья перепечатывалась во всех изданиях его «Portraits historiques et littéraires».

² Не нужно забывать при этом, что в 1826 г. в Париже вышел «Бахчисарайский фонтан» в переводе Шопена, вызвавший панегирическую статью Megeu в «Revue encyclopédique». Таким образом, материала для разговоров о Пушкине было достаточно.

³ E. Sémenoff. *Alexandre Pouchkine*. Paris, 1899, pp. 36. В этой работе собраны высказывания французских писателей о Пушкине в связи с юбилейными днями 1899 г.

После «Пиковой дамы» Мериме приступил к переводу «Цыган». Перевести их для Мериме было труднее. Он был убежден, что переводить стихи «пошлой прозой» (по его выражению) невозможно, но другого пути для него не было, и желая во что бы то ни стало дать французскому читателю хотя бы неполное представление о красоте очаровавшей его поэмы, он все же решил перевести ее, тем более, что традиция переводить стихи прозой была вообще усвоена во Франции¹. И вот это практическое столкновение пушкинского стиха с французскою художественною прозой привело Мериме к выводам, которые он позднее изложил в упомянутой статье: «Невозможно, — говорит Мериме, — передать на французский язык, даже приблизительно, сжатость содержания стихов Пушкина. Его образы всегда жизненные и правдивые, никогда не страдают распространенностью, скорее они скупы. Экспозиция поэмы — описание местоположения, изображение быта цыган — занимает всего 17 стихов, а между тем чего же недостает картине?!»².

Эта сжатость содержания, тщательность отбора деталей дает Мериме повод для сравнения Пушкина с Байроном, причем сравнение это оказывается не в пользу английского поэта: «Байрон никогда не удаивал сортировки идей, толпившихся в его воображении... Он комментирует сам себя и, так сказать, делает нас свидетелями своей писательской работы вместо того, чтобы представить нам результаты ее. Напротив: Пушкин одинаково сжат как в форме, так и в содержании, и каждый стих его есть плод глубокого обдумывания. Подобно гомеровскому стрелку, он долго выбирает в колчане прямую и острую стрелу, но эта стрела всегда попадает в цель».

Мериме поставил Пушкина в ряд величайших художников всех времен и народов. По его мироощущению он назвал его последним эллином Европы, но он не нашел с кем сравнить его по силе воздействия его поэзии на человеческие сердца.

Из рукописей Мериме видно, сколько труда положил он на этот перевод. См. интересную статью М. Parturier. *Etudes Merimeennes. Un manuscrit des «Bohémiens»* (Bulletin du bibliophile, 20 мая 1933 г. Стр. 198—205).

² Любопытно отметить, что это говорит представитель классической французской прозы, отличительной чертой которой как раз и является искусство быть кратким (*l'art d'être bref*). Вместе с тем интересно, что взгляд французского прозаика целиком совпадает со взглядом Гоголя на эту сторону пушкинского творчества: «Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означать весь предмет... Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина». («Арабески». — Несколько слов о Пушкине).

IV

Во все последующие годы и вплоть до наших дней Пушкин продолжает привлекать внимание зарубежной критики. Нет возможности охватить здесь даже в самых кратких чертах всю литературу о Пушкине¹.

Приведу лишь несколько примеров, иллюстрирующих восприятие Пушкина последующими поколениями западноевропейской критики.

В связи с открытием памятника Пушкину в Москве в венгерской газете „Pester Lloyd“ (1 июня 1880 г.) появилась обширная статья, посвященная Пушкину. Пушкина в Венгрии начали переводить только в 60-х годах, и к 1880-му г. из крупных его вещей были переведены лишь «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Метель», «Барышня-крестьянка». Знакомство с Пушкиным шло в Венгрии главным образом по немецким переводам. Автор упомянутой статьи с сожалением отмечает, что Пушкин так мало известен в Венгрии. Он упрекает в этом отношении и другие страны, где значение Пушкина признано и оценено только в узких литературных сферах. «А. Пушкин, — говорит он, — по своему значению должен стать достоянием всех образованных народов». Подробно рассмотрев все произведения русского поэта, автор приходит к заключению, что творчество Пушкина исключительно самобытно и оригинально. «В самой национальной самобытности Пушкина, — пишет он, — таится для нерусских его великое значение, не говоря уже о том общеевропейском интересе, который представляет его творчество». Общеевропейское значение, заложенное в творчестве Пушкина, позволяет автору статьи возвести русского поэта на недостижимую высоту: «Ни одна литература, — утверждает он, — не может похвалиться личностью, подобной Пушкину, даже в многосторонней германской литературе нет поэта, который мог бы сравниться с ним».

В том же 1880-м г. появилась книга немецкого критика и публициста И. Гонеггера, посвященная специально русской литературе и русской культуре². Книга Гонеггера очень тенденциозна, ибо автор ее не отличался особыми симпатиями к России. Гонеггер упрекал русское общество в духовной пустоте, проистекающей от неорганического перенимания чуждой культуры и забвения собственной. Такое положение делало, по мнению Гонеггера, большинство русских писателей беспочвенными и малосодержательными. И только Пушкина резко

¹ 80-е и 90-е годы особенно обильны литературой о Пушкине, что было связано юбилейными датами 1880, 1887, 1899. Именно в это время имя Пушкина начинает появляться в таких странах, как Бельгия, Венгрия, Испания и др.

² Russische Literatur und Kultur. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik derselben. Von J. J. Honegger. Leipzig, 1880. Пушкину посвящены стр. 176—198.

выделил Гонеггер, ибо Пушкин, по его мнению, умел придать русской жизни действительно национальное содержание и внутренний смысл. Поэтому Пушкин величайший национальный поэт. Но поскольку он, высоко владея поэтической формой, является в то же время зачинателем нового не только для России, но и для всей Европы поэтического течения, — он принадлежит не только русской, но и всемирной литературе. Под новым литературным течением Гонеггер разумеет реализм.

В 80-х и 90-х гг. особенно много работ было посвящено Пушкину в Чехии и Польше. В Польше происходил жаркий спор о байронизме Пушкина, о взаимоотношениях Пушкина и Мицкевича. Зачинщиками этого спора были Спасович, Третьяк и профессор Ягеллонского университета Эдзеховский. В работе последнего «Байрон и его век» (том 2-й, 1897 г.) обращает на себя внимание восторженное отношение автора к лирике Пушкина. «Имя Пушкина, — говорит Эдзеховский, — это синоним света, красоты и высшей прелести. Очарование его лирики насильно проникает в душу, наполняет ее цветами самой чистой красоты, но она неуловима, эта красота, можно только чувствовать ее и молча ею восхищаться». Это очарование пушкинской лирики Эдзеховский объясняет тем, что поэзия Пушкина, отражая в себе боли и радости людские, сумела стать на рубеже между холодным объективизмом Гете и страстным субъективизмом романтиков — Байрона, Мицкевича и др., — объяснение, заставляющее вспомнить взгляд Фарнгагена фон Энзе на значение Пушкина.

Столетие со дня рождения Пушкина, отпразднованное в России, нашло широкий отклик и за границей. Золя назвал пушкинские дни 1899 г. праздником всей цивилизации. Около 3 месяцев имя Пушкина не сходило со столбцов зарубежной печати. В одной только Германии появилось свыше 50 статей, посвященных Пушкину, около 40 статей появилось в Чехии, свыше 30 — во Франции и т. д.

Европейская печать сплела Пушкину огромный венок славословий. Это были не общие места, не юбилейные отписки, не дипломатические любезности «дружественных» держав. Доказывается это хотя бы тем, что официозные, консервативные органы, типа прусской «Крестовой газеты», составляли как раз исключение из общего тона. «Крестовая газета», например, ханжески порицала Пушкина за создание «Евгения Онегина». «Знаменитый «Евгений Онегин», — писала газета, — обличает в авторе низменный уровень понятий, так как он выдвигает героя с душою низкой, глухой к нравственным запросам».

Однако уже тот факт, что «Крестовая газета» называет роман Пушкина знаменитым, показывает, что «Евгений Онегин» получил

в Европе широкую известность. Так оно и было на самом деле, и так было не только с «Евгением Онегиным». Все многочисленные оценки творчества Пушкина, появившиеся в пушкинские дни на Западе, построены не на материале из вторых рук, но показывают, что авторы их хорошо знают творчество Пушкина в полном объеме. Правда, не все произведения Пушкина были оценены ими по достоинству. Так, почти вся западноевропейская критика прошла мимо «Медного всадника», не осознав и не почувствовав величия этой поэмы. Так, проза Пушкина, давно и глубоко оцененная во Франции, ждала еще своей истинной оценки в Германии. Но «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный гость» и «Цыганы» (не говоря уже о лирике) были единогласно (голоса «Крестовых газет» не в счет) признаны шедеврами мировой литературы. Некоторые лирические пьесы Пушкина выдвигались как образцы недостижимого вдохновения. В числе их называли обыкновенно «Пророк», «Поэту», «Чернь», «Воспоминание», «Для берегов отчизны дальней», «Талисман», «Анчар» и т. д. «Нельзя забыть эти два стихотворения, прочтя их хоть раз», — писал, например, Цабель об «Анчаре» и «Талисмане».

Значение Пушкина критика 1899 г. видит в том, что Пушкин создал реалистическую поэзию. Одна из газет («Гамбургский листок», № 18) особенно подчеркивает, что зрелые произведения Пушкина не отмечены ни романтизмом, ни доктринерством; они реалистичны, но реализм их не зависит от злобы дня.

И французская, и английская печать 1899 г. признала мировое значение Пушкина, признала, как выразился один из французских авторов, что Пушкин входит в Пантеон гениев всего цивилизованного мира. Очень любопытна статья в парижском журнале «Revue blanche» (от 15 июня), в которой, помимо общего очерка жизни и творчества Пушкина, был поставлен акцент на большем прогрессивном значении музыки Пушкина по сравнению с музой Байрона. Ибо английский певец в своем протесте и своей духовной изолированности потерял всякую веру в будущее. Пушкин же, который, как и Байрон, видел все пороки цивилизованного общества, никогда этой веры в будущее не терял.

Пражская газета «Politik» в пушкинские дни поместила на своих страницах 10 статей о Пушкине. В передовой (№ 153 от 3 июня), посвященной значению пушкинского творчества вообще и для славянских стран в частности, газета писала так: «Пушкин это солнце, лучи которого согревают весь мир. Эти лучи зажгли и в чешских

сердца свет и счастье, ласковым теплом пробудили к жизни дремлющие ростки на чешской поэтической ниве».

38 лет отделяют нас уже от пушкинских дней 1899 года. Тем больше у нас оснований сказать теперь, что отношение западноевропейской критики к Пушкину в 1899 г. было не юбилейной любезностью. За это время о Пушкине было написано несколько ценных работ, как, например, монография профессора Сорбонны Эмиля Омана¹, вышедшая в Париже в 1911 г. За это время значение Пушкина было оценено и в тех странах, которые раньше едва интересовались им. Так, в Дании переводчик «Евгения Онегина» во вступительной статье к своему переводу (1930) поставил имя Пушкина рядом с именами Шекспира и Гете.

За это время проза Пушкина получила высшее признание и в Германии.

Данью искренней любви к великому русскому поэту явилась большая выставка «Пушкин и его творчество», организованная в 1932 г. в Чехословакии вне всяких юбилейных дат.

И вот, наконец, формула, рисующая отношение к Пушкину западноевропейской критики XX в.: «Новейшее время знает, что Александр Сергеевич Пушкин принадлежит к числу тех бессмертных, первым представителем которых был Гомер, и которые насчитывали в Европе еще лишь имена Данте, Шекспира, Кальдерона и Гете. К этим бессмертным пяти примыкает шестым — Пушкин»².

¹ Emile Hauman. «Pouchkine», Paris. 1911, стр. 233. В этой работе начисто отрицающей байроническое начало в творчестве Пушкина, автор характеризует его как носителя французского духа и французского стиля. Основание для такой характеристики автор находит прежде всего в лаконизме поэзии и прозы Пушкина, в полном отсутствии в них «фразы» («absence de toute cheville»). «Но, — говорит Оман, — каков бы ни был характер его поэзии — русский, французский, или франко-русский — она прежде всего поэзия пушкинская» (стр. 214). Оценивая далее значение Пушкина, Оман формулирует: «Он принадлежит России, но он принадлежит и Франции и всему миру» (стр. 217).

Интересно сопоставить мнение Омана о французском характере стиля Пушкина с мнением Мериме, которое он высказал в письме Соболевскому (31 августа 1849 г.): «Я нахожу, что фраза Пушкина звучит совсем по-французски, я, конечно, имею в виду французский язык XVIII в., так как в настоящее время писать с надлежащей простотой уже не умеют». (А. К. Виноградов. «Мериме в письмах Соболевскому». М. 1928, стр. 100).

² J. v Guentner. „Pouschkin“ (Der Hi pogryv h, Zweites H-ft, München 1923). И. Гюнтер один из крупнейших переводчиков Пушкина на немецкий язык.

П. Н. Берков

ПУШКИН В ПЕРЕВОДАХ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ

Знакомство европейского читателя, не владевшего русским языком, с творчеством Пушкина началось очень рано, во всяком случае не позднее 1821 года. Однако, первыми материалами, дошедшими на Запад, были не переводы произведений молодого поэта, а просто упоминания о нем в обзорах русской литературы в современных немецких и французских изданиях, выходивших в пределах России¹ и вне ее. Собственно же переводы произведений Пушкина появляются с 1823 г. Так, в самом начале этого года появился немецкий перевод отрывка из «Руслана и Людмилы» и эпиграммы «История стихотворца» (последняя без заглавия и имени автора) в книге К. Ф. фон дер-Борга «Поэтические произведения русских». Одновременно с этим немецким переводом тот же отрывок из «Руслана» был напечатан на французском языке в «Русской Антологии», изданной Дюпре-де-Сен-Мором. С этих переводов и начинается обширная и интересная история «западноевропейского» Пушкина².

I

Первоначально переводы произведений Пушкина делались либо иностранцами, жившими в России, преимущественно преподавателями различных учебных заведений, либо — несколько позднее — поэтами дилетантами из аристократических кругов. Значительно позже стали заниматься Пушкиным в качестве переводчиков более или менее крупные литературные деятели Западной Европы — Проспер Мериме, Фр. Боденштедт, Рене Гиль и др., хотя все же подлинно достойных переводчиков Пушкин на Западе не нашел до наших дней.

¹ Можно точно указать, как наиболее раннюю дату, февраль 1821 г., когда в парижских журналах «Энциклопедического Обозрения» (стр. 382) была напечатана заметка о Пушкине.

² В настоящем этюде приведены материалы только о немецких, французских, английских и итальянских переводах.

Если перевод вообще является своего рода толкованием переводимого писателя, то перевод поэта и, главным образом, выбор его произведений для перевода создает уже образ этого поэта, служит выражением понимания данного автора; благодаря этому, выдвигаются одни мотивы его творчества, замалчиваются другие, и в результате почти всегда получается одностороннее освещение дарования поэта. В этом смысле любопытно, что более или менее объективное представление о творчестве (но не о силе дарования) Пушкина в Западной Европе — благодаря переводам — началось тогда, когда (в разное время в разных странах) его стали переводить профессора русской литературы в западных университетах (Тернер, Леже, Лиондэль, Ло Гатто и др.), выбиравшие, в связи с читаемыми ими курсами по истории русской литературы, материал для переводов из Пушкина более разнообразный и ценный. Однако, не будучи поэтами, переводчики эти сделали не очень много.

До того же времени Пушкин в переводах был представлен такими вещами, которые относились, главным образом, к раннему периоду его литературной деятельности и делали его — в восприятии европейского читателя — заурядным романтическим поэтом. Политическая, общественная струя поэзии Пушкина не находила места в переводах его на западные языки: классовая идеология переводчиков — то благонамеренных чиновников, то умеренных и аккуратных буржуа, то, наконец, дилетантов-аристократов — творила из Пушкина последовательно то романтика, то занятого рассказчика-обывателя, то патриотического поэта.

Интерес к Пушкину среди западных читателей распределялся неравномерно как в пространстве, т. е. у отдельных европейских народов, так и во времени. Прижизненные переводы из Пушкина были сравнительно немногочисленны, их известно — на всех европейских языках — около тридцати пяти. Некрологи и статьи о Пушкине в европейской прессе в 1837 году не были сопровождаемы появлением новых или хотя бы переизданных старых переводов: характерной чертой отголосков на смерть поэта был интерес к его личности, к причинам его гибели, а не к его творчеству.

Однако, начиная с 1840-х гг. произведениям Пушкина уделяется большое внимание, главным образом в Германии. Параллельно с увеличением количества переводов, в особенности в связи с торжеством открытия в Москве памятника Пушкину в 1880 г., растет и специально критическая литература о нем, отражающая новое восприятие и трактовку его произведений и, в свою очередь, влияющая на выбор и понимание его переводчиками. Если в прижизненный пе-

риод и в годы, близкие к смерти поэта, для переводов избирались произведения, в которых он выступал, как романтик, как «ученик Байрона», а позднее всего охотнее переводили вещи, отличавшиеся «русской экзотикой», — «Сказки», «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Капитанскую дочку», «Дубровского», — в дальнейшем привлекают внимание философские «маленькие» драмы, «Медный всадник» и др. творения поэта. Наряду с этим интересом к «общечеловеческим» или «космополитическим» произведениям Пушкина углубляется понимание и количественно растут переводы бытописательных вещей поэта.

Особенно достойно внимания безостановочно растущее обилие переводов из Пушкина в последнее время. Интерес к его творчеству развивается по двум направлениям. Во-первых, делается чрезвычайно модным издание произведений Пушкина с иллюстрациями В. Масютина, Нат. Гончаровой, Лебедева, Шукаева и др. В таких изданиях центр тяжести лежит не столько в переводах произведений поэта, сколько в графике, в «русском искусстве», увлечение которым на Западе характерно для первых годов прошлого десятилетия. С другой стороны, обращение к Пушкину, как, впрочем, и к Достоевскому, Лескову и др., является следствием интереса к «русской душе»: проблема Великой Октябрьской Революции, волнующая Западноевропейскую буржуазную интеллигенцию, заставляет ее по-иному, нежели прежде, осмысливать и «Медного всадника», и «Бориса Годунова» и другие произведения Пушкина, в которых видят «бездонные пропасти и тайные изгибы русской народной души».

II

Наибольшей популярностью среди западноевропейских читателей пользуется Пушкин в Германии, где не только имеется огромное количество переводов отдельных его произведений, но где уже почти сто лет назад впервые появилось «собрание сочинений» нашего поэта и где такие «собрания» повторяются вплоть до наших дней. Вообще Пушкин в переводах на немецкий наиболее точен, с известными оговорками полон, художественен. Внимание переводчиков к Пушкину способствовало появлению разных переводов одной и той же вещи. Благодаря этому, большая часть произведений Пушкина получила широкое распространение в немецкой читающей публике, особенно интеллигентской, мелкобуржуазной и демократической. Почти полный Пушкин издан в такой исключительно популярной серии как «Универсальная библиотека» Филиппа Реклама. В ряде других серий —

«Современной библиотеки Вебера», «Народной библиотеки Мейера» и «Народной библиотеки Гессе» — также изданы некоторые, преимущественно прозаические, вещи Пушкина. При жизни Пушкина, почти одновременно с вышеупомянутым фон дер-Боргом, стал печатать свои довольно удачные переводы Александр Вульферт («Кавказский пленник», 1823; Хор девушек из «Руслана и Людмилы», в немецком «Санкт-Петербургском Журнале», 1824, № 1; «Бахчисарайский фонтан», 1826). В 1824 году тот же перевод «Кавказского пленника» с параллельным русским текстом был выпущен литературным дельцом, впоследствии цензором, Ольдекопом; это издание вызвало безрезультатные попытки со стороны Пушкина оградить свои авторские права. Несколько позднее в изданной в Ревеле серии «Русская библиотека для немцев» был напечатан «Борис Годунов» в переводе К. фон Кнорринга (1831). В том же 1831 году был выпущен отдельным изданием анонимный перевод «Клеветникам России», вместе с переводами стихотворений Жуковского и Хомякова, также посвященных Польскому восстанию. То же стихотворение было переведено видным дипломатом бар. Анстетом в том же году, но напечатано оно было лишь в 1908 году.

Последние современные Пушкину немецкие переводы его произведений были сделаны Эр. Герингом (две песни «Руслана и Людмилы», 1833) и поэтессой Каролиной Павловой (отдельные стихотворения, 1834).

Из последующих немецких переводов нашего поэта следует отметить «Избранные произведения Пушкина» в переводе Роб. Липперта (2 т., 1840 г.). Среди довольно удачных переводов (в особенности хорошо получился монолог Пимена в «Борисе Годунове») встречаются ничем не обоснованные отступления от пушкинского текста и сокращения. Так, «Сказка о царе Салтане» превращается у Липперта в «Сагу о царе Сильване и его сыне, рыцаре Гаральде». В переводе «Евгения Онегина» имя Татьяна заменено именем Иоанна.

После Липперта очень много потрудился над переводом как Пушкина, так и других русских поэтов Фр. Боденштедт. Его переводы более точны чем у Липперта, но отличаются некоторой слащавостью. В самом конце шестидесятых годов в издании «Библиографического Института» (Мейера), пользующегося в Германии и вообще в странах с немецким языком огромной популярностью, в серии «Библиотека иностранных классиков» вышел томик переводов Ф. Леве, заключавший только три вещи Пушкина: «Бориса Годунова», «Русалку» и «Сказку о рыбаке и рыбке». Признание Пушкина класси-

ком не искупило, однако, довольно посредственного характера переводов Леве.

Среди переводов последующих десятилетий обращают на себя внимание работы Ф. Ф. Фидлера, известного литературного коллекционера и переводчика русских авторов на немецкий язык, а также яркого пушкинофила, д-ра Алексиса Лупуса (Вольфа).

С 1906 г. начинает выходить девятитомное, еще до сих пор не законченное издание сочинений Пушкина в переводах и под редакцией Иоанна фон-Гюнтера и О. Бела. Такое же многотомное издание было затеяно Т. Коммихау. В послевоенные годы Пушкина усердно переводят, кроме названных лиц, А. Лютер, Рейнгольд фон Вальтер, Александр Элиасберг, Герберт Гернер и др. Большинство новых переводов снабжено иллюстрациями и представляет «роскошные издания».

Наконец, в 1923 г. упомянутое нами издательство Мейера («Библиографический Институт») выпустило под ред. А. Лютера двутомного Пушкина, где собраны лучшие переводы как старые, так и новые, снабженные введениями и примечаниями. Это издание среди западноевропейских одно из лучших.

Развитие интереса к Пушкину в Германии видно из сопоставления некоторых цифр: с 1823 г. по 1914 г. общее число немецких переводов из Пушкина не превышало 250, а за время только с 1917 по 1932 г. оно превысило 50.

Однако после прихода к власти фашистов, с общим одичанием «унифицированной немецкой культуры» в Германии, прекратилась переводческая деятельность с русского языка и, в частности, и из Пушкина. С 1933 года в германских библиографиях не зарегистрировано ни одного перевода из Пушкина. Даже объявленный в 1932 году по подписке перевод «Драматических произведений» Пушкина, предпринятый Генр. фон Гейвелером, не осуществился.

III

«Французский» Пушкин уступает «немецкому» и качественно и количественно. Если исключить переводы Проспера Мериме, довольно близкие к подлиннику и сделанные культурно, хотя и не свободные от анекдотических промахов, прочие, особенно старые, оставляют мало удовлетворительное впечатление.

После Дюпре де-Сен-Мора Пушкина на французский язык переводил Ж. Шопен, впоследствии видный кавказский административный деятель («Бахчисарайский фонтан», вольный перевод, 1826),

Лаво («Цыганы», в московском французском журнале «Северные известия», 1828; «Граф Нулин», «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Полтава» — в том же журнале в 1829 году, все переводы прозаические), И. Репей («Бахчисарайский фонтан», 1830), своеобразно известный журналист и мемуарист В. Бурнашев («Борис Годунов», «Поэту» — во французском журнале «Хорек», 1831, — прозой).

На 1831 год приходится ряд рукописных переводов «Клеветникам России»: С. С. Уварова, впоследствии министра народного просвещения; И. М. Бакунина, посредственного поэта, писавшего, кроме русских стихов, французские, немецкие и итальянские и посвятившего смерти поэта стихотворение «На погребение Пушкина» (в сборнике «На все и время и пора», Спб. 1838); неизвестного переводчика (перевод сохранился в архиве бр. Тургеневых в Институте Литературы). Следует отметить, что перевод Бакунина, пересланный Пушкину Е. М. Хитрово, двоюродной сестрой Бакунина, обычно считается принадлежащим ей. К переводу этого же стихотворения возвратились бар. П. Вревский (1834) и кн. Н. Голицын (1836); последним переводом Пушкин остался доволен, назвав его бесподобным, в то время как к переводу Уварова отнесся иронически, а к присланному Е. М. Хитрово несколько небрежно.

В 1831 году в провинциальном французском журнале «Пропагандист Па-де-Кале» был опубликован прозаический перевод «Полтавы», принадлежащий известному библиографу, ревностному поклоннику Пушкина, С. Полторацкому, который вообще много писал о Пушкине во французских журналах. В последние годы жизни Пушкина были напечатаны переводы Ферри де-Пиньи и Акэна («Русские рассказы», 1833) и ряд стихотворений в антологии, составленной П. де-Жюльвекуром и экзотически озаглавленной «Балалайка» (1837).

В 1846—1847 гг. вышли два тома «Избранных произведений» Пушкина в прозаическом переводе преподавателя словесности в Петербургском Институте инженеров путей сообщения, А. Дюпона. Переводчик отнесся внимательно к своей работе, однако, не обладая художественным чутьем, дал добросовестный, но сухой и невыразительный перевод.

Как романтика воспринял и воспроизвел Пушкина в своих переводах Мериме. Автор «Кармен», несмотря на все свое преклонение перед Пушкиным, перевел, однако, очень немного его произведений: «Пиковую даму», «Цыганы», «Анчар» и «Выстрел». Удачнее всего, и в смысле удержания колорита, и в отношении точности, вышла

«Пиковая дама», несколько раз переиздававшаяся (в последний раз в 1928 г., с цветной ксилографией А. Алексева).

Переводы из Пушкина встречаются у Александра Дюма—отца. Впрочем, трудно считать эти произведения переводами, так как Дюма русским языком не владел; он только обработал выполненные другими лицами переводы, придав им обычную для его литературной манеры подчеркнутую фабулярность и динамичность.

Особое место среди переводов Пушкина на французский язык занимают переводы И. С. Тургенева и Л. Виардо. Они пользовались громадным, но совершенно незаслуженным успехом: дело в том, что И. С. Тургенев, как выяснено, непосредственного участия в переводах не принимал, а только помогал советами Л. Виардо, мужу своей приятельницы, известной певицы Полины Виардо. Выказано было даже предположение, что популярное во Франции имя И. С. Тургенева фигурировало лишь в качестве приманки для доверчивых читателей. Следует отметить, что перевод, например, «Капитанской дочки» выдержал десять изданий.

В отдельную группу следует отнести разновременные переводы из Пушкина на французский язык, принадлежавшие дилетантам, вроде кн. Н. Голицына, кн. Элима Мещерского, Софьи Энгельгардт и др.

В послевоенную эпоху вновь возникает интерес к Пушкину, переводится не только «Борис Годунов» (пять различных переводов), «Сказки» (столько же), «Пиковая дама» (три перевода), но и «Гавриилиада» и др. Подобно немецким послевоенным изданиям, большинство французских переводов последних лет представляют «роскошные» издания, иллюстрированные такими художниками, как Нат. Гончарова, Шукаев, Зворыкин и др. Переводы большей частью анонимные или же принадлежат эмигрантам, вроде Елены Извольской, Шифрина, Марка Семенова и др., ничем не зарекомендовавших себя в литературе.

Интерес к Пушкину во Франции растет. Крупные деятели современной французской литературы, принимают участие в переводах отдельных произведений Пушкина. Перевод «Арапа Петра Великого» был помещен в сугубо литературном журнале «Commerce», где принимали участие избраннейшие французские писатели вроде Поля Валери, Барреса и др.

Самыми лучшими и ценными французскими переводами следует признать переводы проф. А. Лиронделля, собранные им в небольшой изящной книжке «Избранные сочинения Пушкина». Правда, в них чувствуется их школьное происхождение, то, что они предназначены служить иллюстрациями университетских лекций переводчика, но,

несмотря на всю их фрагментарность и неравноценность (перевод сделан «белым» стихом), они по своему значению во Франции соответствуют двухтомному Пушкину, изданному «Библиографическим Институтом».

Из прочих послевоенных переводов из Пушкина следует отметить вышедшую в 1928 году с иллюстрациями Е. Виральта «Гавриилиаду» в переводе Ю. Сидерского, а также сборник стихотворных переводов под редакцией В. Парнака, озаглавленный «Революционные поэмы» (1930).

IV

История «английского», т. е. великобританского и американского Пушкина значительно короче и беднее.

Интерес к русскому поэту среди англичан зародился гораздо позднее, чем у немцев и французов, и не достиг ни в качественном, ни в количественном отношении уровня переводов на немецкий и французский языки. На английском языке нет ничего подобного изданию «Библиографического Института» или Лиронделля. Они сначала делались преподавателями разных учебных заведений, отличаясь теми же достоинствами и недостатками, что и немецкие и французские. Точно так же пробовали свои силы в передаче произведений Пушкина на английский язык разные высокопоставленные дилетанты, преимущественно женщины.

Первый прижизненный перевод Пушкина на английский язык (по одному, не поддающемуся проверке, указанию) относится к 1830 году и принадлежит поэту-слепцу И. И. Козлову; он напечатан в «Новом Ежемесячном Магазине». В 1835 году появляется в Петербурге сохранившийся в библиотеке Пушкина сборник переводных стихов Джорджа Борроу, носящий вычурное название «Таргум, или метрическое переложение с тридцати языков и наречий». (Слово «таргум» — халдейское и означает «перевод»). Из Пушкина здесь переведены «Черная шаль» и «Песня Земфиры» из «Цыган» («Старый муж, грозный муж...»). Тому же переводчику принадлежит вышедший в том же 1835 году и в той же типографии маленький сборник «Талисман А. Пушкина».

Прозе Пушкина у английских переводчиков повезло больше, чем стихам. Так, «Повести в прозе», выпущенные Т. Кином в серии «Популярная библиотека Бона» впервые в 1894 г., выдержали несколько изданий, из которых последнее вышло в 1926 г. Как у немцев и французов, так и в английских послевоенных переводах обращается внимание на «экзотическую» русскую иллюстрацию («Золо-

той петушок» с иллюстр. М. Севиера). Также подвизаются переводчики-эмигранты (Набоков, Хайес, Катков и др.).

В последние годы, кроме прозаических переводов («Пиковая дама», 1929; «Капитанская дочка», в переводе Нат. Доддингтон, 1928 и 1933; три повести, — «Метель», «Станционный смотритель» и «Гробовщик» — в переводе Р. Т. Кэрреля, без указания года), появилась также «Гавриилиада», названная переводчиком Максом Истмэном «Гавриил, поэма в одной песне» (с иллюстрациями Рокуэла Кэнта, 1929).

V

Если переводы из Пушкина на три главнейших европейских языка велись непосредственно с русского, то относительно переводов на итальянский приходится отметить, что они, довольно часто, осуществлялись с какого либо иностранного, главным образом французского перевода. Установить подобные факты помогает транскрипция собственных имен пушкинских персонажей, а нередко и имени самого Пушкина, противоречащая итальянскому правописанию. Правда, это относится к переводам более поздним.

Прижизненные переводы из Пушкина были очень не многочисленны и тоже не все делались с оригинала. Известен перевод «Пророка», принадлежащий графу Риччи (не позднее 1828 года), и «Кавказского пленника» Ант. Роккиджиани (1834); другой перевод той же поэмы, вышедший в 1837 году в Одессе, принадлежал переводчику, скрывшемуся под инициалами Д. Ф. Г.

Уже после смерти поэта, в 1841 году выходят «Четыре крупнейшие поэмы» Пушкина в переводе Чезаре Ботчелла, а в 1844 году в Петербурге «Стихотворения» в переводе Луиджи Мандзини.

Все сказанное ранее о посмертных переводах Пушкина применимо и к итальянским, за исключением разве того, что там в послевоенную эпоху «роскошных» изданий и переводов, сделанных эмигрантами, не появлялось. Немногочисленные ранее (до 1900 г. появилось всего 38 переводов Пушкина), переводы в послевоенную эпоху количественно относительно растут (число их не ниже 15). Нельзя того же сказать о качестве этих переводов. Наряду с добросовестным «ученым» переводом «Евгения Онегина»; сделанным проф. Ло Гатто, встречаются явно халтурные, как, например, помещенный в журнале «Литературные новинки» (№ 4, 1925 г.) перевод некоей Эстер Модильяни — «Почему Мари не повенчалась, хотя должна была венчаться». Он представляет из себя искаженный перевод с французского перевода «Мятели».

Следует отметить вышедший в 1934 году перевод «Сказки о прекрасной царевне и семи богатырях», принадлежащий К. Старнео.

История «западноевропейского» Пушкина не исчерпывается переводами на главнейшие языки. Впрочем, общей картины материалы, касающиеся остальных европейских — за исключением славянских, — народов, не меняют.

А. Б. Модзалевский

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПУШКИНА

Письма Пушкина сравнительно рано обратили на себя внимание. Вскоре после его смерти М. П. Погодин писал 11 марта 1837 г. кн. П. А. Вяземскому: «Хорошо было бы, если бы вы объявили в «Современнике» желание, чтобы все, имеющие у себя письма Пушкина, относились к вам и присылали бы копии для напечатания. Надо сохранить всякую его строку. И так уже мы растеряли сколько!»¹.

Однако, это благое пожелание не было тогда осуществлено. Оно и понятно, если принять во внимание, что письма Пушкина, насыщенные актуальными литературными и политическими высказываниями, не могли быть тогда в условиях цензуры николаевской реакции опубликованы не только полностью, но даже в выдержках. Лица, хранившие у себя его письма и читавшие их в подлиннике, давали им высокую оценку, как замечательному источнику для изучения не только личной биографии поэта, но также его творчества и истории его эпохи. Письма его привлекали к себе простотою своего языка, меткостью и тонкостью суждений, образностью выражений и другими качествами, отличающими вообще художественную прозу Пушкина-писателя. Пушкин жил в эпоху, когда письма еще не утратили, как это стало впоследствии при развитии техники и средств сообщения, того значения непосредственной беседы двух лиц между собою, которое имели письма деятелей XVIII в., привлекавшие этой простотою и непосредственностью самого Пушкина: известно, например, как высоко он ценил письма Вольтера.

По поводу переписки Вольтера с де-Броссом Пушкин писал: «Эти письма, заключающие в себе переговоры торгующихся, и несколько других, писанных по заключении торгова, составляют лучшую часть переписки Вольтера с де-Броссом. Оба друт перед другом кокетни-

¹ Соч. Пушкина, ред. П. О. Морозова изд. «Просвещение», т. II, стр. 499.

чают; оба поминутно оставляют деловые запросы для шуток самых неожиданных, для суждений самых искренних о людях и происшествиях современных. В этих письмах Вольтер является Вольтером, т. е. любезнейшим из собеседников».

В своих письмах Пушкин, подобно Вольтеру, выступает прежде всего как замечательный собеседник. Это качество его корреспонденты высоко ценили и любили, дорожа его письмами. Поэт относился к процессу писания письма, как к большой ответственной творческой работе. Об этом говорят сохранившиеся в большом количестве черновики его писем; они свидетельствуют о большой культуре его писательского труда и, наряду с черновиками его художественных произведений, показывают его исключительное мастерство творца, писателя-профессионала.

Пушкин, без сомнения, сам высоко ставил свои письма. После смерти своего друга А. А. Дельвига он писал М. Л. Яковлеву в 1831 г.: «На-днях пересмотрел я у себя письма Дельвига; может быть, со временем это напечатаем. Нет ли у ней (т. е. у вдовы) моих к нему писем? Мы бы их соединили».

Свою личную переписку Пушкин бережно хранил. До нас дошли почти все полученные им письма от его многочисленных корреспондентов, а также многие черновики его писем к разным лицам. П. А. Плетнев писал В. А. Жуковскому в 1833 г.: «Вы теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену свою по балам»¹. Поэт сохранял не только письма к себе ряда литературных деятелей, но также лиц мало известных в то время, вплоть до писем своей няни Арины Родионовны и своей переписки по хозяйственным делам с управляющим его имением М. И. Калашниковым. Значение писем, как явления литературного и как будущего исторического документа-первоисточника, было несомненно осознано поэтом; вот почему он берег и письма к себе (дружеские, официальные и деловые), как будущий богатейший фактический материал.

Однако, в печать письма поэта проникали медленно, в искаженном цензурно-виде, в отрывках. До нас дошла лишь часть его громадного эпистолярного наследия. За свою недолгую жизнь он написал по приблизительному подсчету около 2 000 писем. К настоящему времени известно лишь 800 писем. Если, как мы видели, ближайšie друзья поэта понимали великое значение пушкинской переписки, то

¹ Соч. П. А. Плетнева, т. III, стр. 524, СПб. 1885.

потребовалось много времени для того, чтобы это понимание внедрилось в сознание более широких литературных кругов. Большие препятствия к опубликованию писем чинили родственники Пушкина, которые противились печатанию его корреспонденции как из-за ложной боязни нарушения семейных тайн, так и из-за боязни предать огласке ряд политических и литературных высказываний поэта, шедших вразрез с утвердившимся в семье консервативным образом мыслей. Родственники не остановились даже перед мыслью «поколотить» И. С. Тургенева за то, что он позволил себе в 1878 г. опубликовать письма Пушкина к жене, обогатившие наследие поэта изумительными по содержанию документами первостепенного биографического и литературного значения и обнажившие отчасти семейный уклад его жизни¹. Тургенев так характеризовал эти письма: «Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком того времени; и уже с одной этой точки зрения его письма достойны внимания каждого образованного русского человека; для историка литературы они — сущий клад: нравы, самый быт известной эпохи отразились в них быстрыми, но яркими чертами»... в этих письмах — как и в прежде появившихся, — так и бьет струею светлый и мужественный ум Пушкина, поражает прямота и верность его взглядов, меткость и как бы невольная красивость выражения»².

За 20 лет до инцидента с И. С. Тургеневым произошла крупная история с опубликованием писем поэта к брату Л. С. Пушкину, умершему в 1852 г. Они напечатаны были в «Библиографических Записках» (в 1858 г.) и причинили неприятности и цензору и редактору журнала.

Однако, письма Пушкина продолжали печататься в различных журналах, сборниках, газетах и постепенно завоевали всеобщее признание. Появилась необходимость собрать их воедино, чтобы представить их в полном объеме. Первое издание писем было осуществлено П. А. Ефремовым в 1882 г. и составило VII том издания сочинений Пушкина, выпущенного под его редакцией; в него вошло 375 писем. В 1887 г. П. О. Морозов в редактируемое им издание Литературного фонда (т. VII) включил уже 491 письмо. В следующее издание Ефремова-Суворина в 1903 г. вошло 617 писем. В издание Морозова («Просвещение»; 1906 г.) включено было также 617 писем. Академическое издание «Переписки Пушкина», под редакцией В. И. Саитова, в 3 томах, 1906—1912 гг., заключало в себе 713 писем. Вышедшие в 1915 г. V и VI томы издания Брок-

¹ «Стасюлевич и его современники», том III, стр. 149.

² «Вестник Европы» № 1, стр. 8, 1878.

гауза-Ефрона, под редакцией С. А. Венгерова, включали уже 733 письма. Наконец, в незавершенное еще отдельное издание писем 1926—1935 гг., под редакцией Б. Л. и Л. Б. Модзалевских (вышли томы I—III), должно войти 800 писем.

Таким образом за последние 55 лет эпистолярное наследство Пушкина обогатилось более чем 400 письмами, т. е. количество известных до 1882 г. в печати писем увеличилось более чем вдвое.

Нет надобности, конечно, говорить о том, что и несовершенства публикации и цензурные пропуски, искажавшие ранее письма, в последнем и единственном пока полном своде писем за 1815—1833 гг., вышедшем после Великой Октябрьской революции, совершенно устранены, и мы располагаем теперь точным текстом всех известных за эти годы писем поэта. Самое разыскание подлинников писем, представлявшее ранее большие трудности вследствие того, что они находились во владении многих частных собирателей и любителей автографов, в настоящее время не представляет затруднений: большинство их хранится в государственных архивах и библиотеках; лишь незначительная часть подлинников утрачена из-за небрежности лиц, ими владевших.

Из писем Пушкина наиболее цельная и обширная переписка его сохранилась со следующими лицами: А. Х. Бенкендорфом, А. А. Бестужевым, кн. П. А. Вяземским, Н. И. Гнедичем, Н. Н. Пушкиной, А. Н. Гончаровым, А. А. Дельвигом, В. А. Жуковским, А. П. Керн, П. А. Осиповой, П. А. Плетневым, М. П. Погодиным, Л. С. Пушкиным, Е. М. Хитрово, П. В. Нащокиным.

Не дошли до нас письма поэта к Е. А. Боратынскому, А. Ф. Вельману, Ф. Ф. Вигелю, гр. М. С. Воронцову и гр. Е. К. Воронцовой, к бар. Е. Н. Вревской, бар. С. М. Дельвиг, Н. М. и Е. А. Карамзиным, Н. И. Кривцову, В. К. Кюхельбекеру, И. П. Липранди, И. П. Мятлеву, А. Н. Оленину, И. И. Пущину, А. Н. и Н. Н. Раевским, Е. Н. Ушаковой и др.

К многим другим лицам, часто и много переписывавшимся с этим, дошла до нас небольшая часть писем, иногда ничтожно малая, если принять во внимание длительность общения с ними Пушкина. К таким адресатам относятся его отец, мать и сестра, П. А. Плетнев, П. А. Катенин, Н. С. Алексеев, А. И. Тургенев, К. Ф. Рылеев, А. Н. Вульф и др.

Значение известных в печати писем поэта, конечно, не равноценно. Наряду с важнейшими письмами к Бенкендорфу, отражающими политические моменты жизни Пушкина и сношения его с правительством, наряду с письмами к кн. П. А. Вяземскому, Н. И. Гнедичу,

А. А. Дельвигу, А. А. Бестужеву, К. Ф. Рылееву, М. П. Погодину, П. А. Плетневу, В. А. Жуковскому, П. А. Катенину, Е. М. Хитрову и др., раскрывающими перед нами все разнообразие литературных, журнальных и общественно-политических интересов поэта и его корреспондентов, — письма его к Л. С. Пушкину, П. В. Нащокину, П. А. Осиповой и др. отражают другую сторону его жизни: взаимоотношения с друзьями, различные жизненные интересы. Письма к жене полны богатейшим материалом о семейном укладе жизни, описаниями происшествий «высшего света», заботами материального и бытового характера; письма к мужу сестры Н. И. Павлищеву и О. И. Пеньковскому наполнены вопросами хозяйственно-материального порядка, связанными с заботами по управлению отцовскими именьями. Однако, каждое из писем, или даже небольших деловых или приятельских записок, представляет неоценимый источник для изучения Пушкина. Вот почему мы так дорожим отрывками разорванных черновигов писем поэта к Геккерену, являющимися ценным материалом для исследования вопроса о предсмертной драме Пушкина.

В настоящее время усилиями советских пушкинистов изучение жизни и творчества Пушкина настолько продвинулось вперед, что в свете новейших исследований многие намеки и недомолвки в письмах поэта, вызванные разными соображениями и в первую очередь боязнью перлюстрации писем, очень широко применявшейся в ту эпоху, теперь становятся нам понятными. Для предыдущих поколений читателей ряд замечаний и высказываний Пушкина, тонкого литератора и политика, оставался неясным и расплывчатым. Из-за неправильного освещения того или иного факта, упомянутого в письмах поэта, происходило иной раз неправильное суждение; суждение это вызывало горячие споры, удивившие спорящих далеко в сторону; утвердившееся мнение, выросшее на основе неправильно понятого факта, спустя много лет, однако, рушилось, если непонятый вначале факт был впоследствии по-новому освещен и объяснен. Никаких объяснений к письмам Пушкина с момента первого их издания не появлялось. Читатель бродил в потемках и каждый раз заново по-своему толковал тот или иной факт переписки поэта. Следующие издания писем ограничивались краткими, мало удовлетворительными примечаниями. Назревала настоятельная потребность такого нового издания писем, в котором не было бы оставлено без объяснения почти ни одного места. Труд несомненно предстояло проделать громадный; работа отпугивала своей величиною.

В дореволюционное время письма Пушкина так и оставались не-

комментированными. Первое комментированное научное издание писем было предпринято покойным Б. Л. Модзалевским, успевшим выпустить в 1926—1928 гг. 2 тома, обнимающих письма за 1815—1830 гг. Грандиозный труд этот составил как бы своеобразную энциклопедию по Пушкину за указанные годы его жизни. Опыт такого издания несомненно оправдал себя, в нем отразился, как в фокусе, многолетний итог изучения Пушкина. Издание принесло огромную пользу делу построения научной биографии Пушкина.

Наличие такого издания, однако, нисколько не разрешило вопроса о массовом издании писем Пушкина, в основном не известных или мало известных советскому читателю. Ни одно послереволюционное издание сочинений Пушкина не включает в себя его письма. Этому назревшему вопросу недавно была посвящена специальная статья Г. А. Гуковского в «Правде»¹. Заостряя внимание советской общественности на необходимости включения писем Пушкина в издание его сочинений, автор статьи правильно оценивает значение писем, как документов первостепенного научного характера и как высокохудожественной эпистолярной прозы Пушкина.

Советский читатель должен, наконец, иметь тексты всех сочинений Пушкина в общедоступном издании его сочинений. Нужно надеяться, что в ближайшее же время этот пробел будет заполнен и новые издания собрания сочинений поэта будут украшены его замечательными письмами.

¹ «Правда», январь 1937, № 7.

Н. И. Мордовченко

В. Г. БЕЛИНСКИЙ В РАБОТЕ НАД ТЕКСТАМИ ПУШКИНА¹

В 1841 г., когда вышли в свет последние три тома первого посмертного собрания сочинений Пушкина, Белинский в своей рецензии на эти три тома писал: «Наконец, издание полного собрания сочинений Пушкина кончено, или, по крайней мере, почти кончено: остаются только материалы для истории Петра Великого, несколько литературных статей и несколько малоизвестных стихотворений, рассеянных по альманахам и журналам. Материалы для истории Петра Великого, долженствующие составить собой целый том (XII) и интересные сколько в историческом смысле, столько и по заметкам руки Пушкина, хоть, может быть, еще и не скоро, но когда-нибудь будут же, бог-даст, изданы попечительною опекою; что же до литературных статей и до малоизвестных стихотворений, не вошедших в одиннадцатитомное издание полного собрания сочинений Пушкина, — их берутся вторично представить вниманию публики «Отечественные записки», — чтоб будущие издатели, или (что было бы лучше для сочинений Пушкина, во избежание поговорицы: у семи нянек дитя без глазу) будущий издатель знал, где взять все остальное, принадлежащее Пушкину и вместе собранное».

Обещание Белинского оказалось невыполненным, но в той же рецензии Белинский, во-первых, приводил полностью два стихотворения Пушкина, невошедшие в первое посмертное издание его сочинений («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу» и «Признание» — «Я вас люблю, хоть и бешусь»), а также «Романс Лауры», вовсе ненапечатанный до 1841 г.; во-вторых, давал перечень целого ряда прозаических и критических произведений Пушкина, также не вошедших в посмертное издание.

Даже беглое ознакомление с рецензией Белинского на последние

¹ Настоящая публикация полностью печатается в первом томе «Литературного архива», издаваемого Институтом литературы Академии Наук СССР.

три тома сочинений Пушкина, издания 1841 г., должно убеждать нас в том, что Белинский сам, или с помощью своих сотрудников, проделал большую работу по пересмотру многих старых журналов и альманахов с целью обнаружения в них произведений Пушкина.

Остается неизвестным, почему же не осуществилась обещанная Белинским публикация пушкинских текстов на страницах «Отечественных записок». Можно думать, что серьезную роль сыграли здесь препятствия цензурно-полицейского порядка, ибо мы знаем ведь, что в цитированной рецензии Белинского цензура не пропустила даже заглавия известного пушкинского памфлета «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», напечатанного в «Телескопе» в 1831 г. 3 августа 1841 г. Белинский писал Н. Х. Кетчеру: «Цензура не пропустила в моей статье о Пушкине заглавие пушкинской статьи «О мизинце г. Булгарина и о прочем». Боясь доносов Погодина и Шевырева, цензор не хочет пропускать ни слова против «Москвитянина». «Аллилуйя! Душа моя, отслужи за меня молебен Иверской — хочу покаяться и пуститься в доносы»¹.

Если в 1841 г. невозможно было провести в печать даже заглавия пушкинской статьи, то, разумеется, не могло быть, конечно, и речи о публикации этой и некоторых других статей Пушкина на страницах «Отечественных записок». Однако, были, вероятно, и другие мотивы, заставившие Белинского задержать обещанную публикацию, а впоследствии и отказаться от нее.

В 1841—43 гг. Белинский еще ждал, что появится в свет новый (двенадцатый) том посмертного издания сочинений Пушкина. Вот что писал Белинский в связи с общей оценкой всех вышедших за четыре года (1838—1841) томов этого издания: «Все известно, что восемь томов сочинений Пушкина изданы после смерти его весьма небрежно во всех отношениях — и типографском (плохая бумага, некрасивый шрифт, опечатки, а иногда и искаженный смысл стихов), и редакционном (пьесы расположены не в хронологическом порядке, по времени их появления из-под пера автора, а по родам, изобретенным бог знает чьим досужеством). Но что всего хуже в этом издании — это его неполнота: пропущены пьесы, помещенные самим автором в четырехтомном собрании его сочинений, не говоря уже о песнях, напечатанных в «Современнике» и при жизни и после смерти Пушкина. Последние три тома сделаны компаниею издателей-книгопродавцев, которые, что могли сделать, как издатели, сделали хорошо, т. е. издали эти три тома красиво и опрятно, но так же

¹ Белинский. Письма, т. II, стр. 258.

неполно, как были изданы (не ими, впрочем) первые восемь томов. Справедливый ропот публики, которая, заплатя за одиннадцать томов сочинений Пушкина шестьдесят пять рублей асс. (сумму, довольно значительную и для книги, хорошо и полно изданной), все-таки не имела в руках полного собрания сочинений Пушкина, — этот ропот, соединенный со столь же дурным расходом трех последних, как и восьми первых томов, и справедливое негодование некоторых журналистов на такое оскорбление тени великого поэта: все это побуждало издателей трех остальных томов сочинений Пушкина обещать отдельное дополнение к ним, в котором публика могла бы найти решительно все, что написано Пушкиным и что не вошло в одиннадцать томов полного собрания его сочинений. А пропущено так много, что из дополнения вышел бы целый том, — и тогда полное собрание сочинений Пушкина состояло бы пока из двенадцати томов. Говорим — пока: ибо в рукописи остаются еще материалы к истории Петра Великого, предпринятой Пушкиным. Говорят, что этих материалов стало бы на добрый том, и только одному богу известно, когда русская публика дождется этого тома... Итак, пока хорошо было бы дожидаться хоть дополнения-то, обещанного издателями трех последних томов. О нем много толковали, и мы даже видели опыты приготовления к этому делу, которое интересовало нас еще и как удобный предлог к началу обещанной нами статьи о Пушкине. Но время шло, а вождеденное дополнение не являлось, и мы, право, не знаем, явится ли оно когда-нибудь; если же и явится, то не потребует ли еще другого дополнения?..»

Долгожданный Белинским XII дополнительный том первого посмертного издания сочинений Пушкина так и не появился в свет. Пушкинские материалы к «Истории Петра Великого», которые особенно интересовали Белинского, полностью не изданы и в настоящее время. Что касается до дополнений к первому посмертному изданию, то Белинский не рассказал нам о том, что он сам вел работу по разысканию и собиранию этих дополнений, и только часть этой работы была отражена в цитированной выше рецензии 1841 г. Целый ряд произведений Пушкина Белинский отыскал в старых журналах и альманахах, но они оказались включенными в собрание сочинений только через много лет, — в 1855 г., а роль Белинского, как собирателя пушкинских текстов, осталась и вовсе неизвестной.

В архиве П. В. Аяненкова, хранящемся в Институте литературы (Пушкинском Доме) Академии Наук СССР, имеется рукописная тетрадь in folio, содержащая в себе стихотворения и статьи А. С. Пушкина и приписываемые ему. На первой же странице те-

Будущая жизнь

(из исписанья №)

Здесь Пушкина погубил. — Он в мире милом,
Об людях, и о нас, и о себе — всегда был,
Не знав ни страха, ни стыда, — одна была душа,
И восторг, и восторг — восторг!

(из исписанья №)

К * * * * *

Вот как-то раз, в один прекрасный,
Меня счастливо коммюне мне попал!
Англичанку вижу, иль бы франца,
Домно в то время всеобщий человек!
Итак, оти прошу — и она садилась,
Итак, прошу оти — и она садилась,
Прими!... Французский табак мне дай,
Не забудайся, иль бы друг!

Об французском, дружелюбном и свободном,
Души свободной — человек иль бы —
Меня надеждой, светлым, иль бы.

И дни мои прекраснейшие
Да пролетают в счастье иль бы!
Прощай... Это же не дело. В оти иль бы
При марше иль бы радимет иль бы,
Счастливую дружбу иль бы!
И пусть... (улыбнулся иль бы?)
Пусть будет счастье иль бы, иль бы!

Минск. 9 июня 1897.

тради неизвестным почерком сделано заглавие: «Выписка сочинений Пушкина, в полном собрании не помещенных». Далее, тем же неизвестным нам почерком переписан ряд стихотворений Пушкина, невошедших в первое посмертное издание его сочинений: «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу», «Признание» (К Ал. Ив. О—й), «Романс Лауры» и т. д. Следует обратить внимание на то, что именно эти три стихотворения, которыми начинается тетрадь, как невошедшие в издание 1838—1841 гг., приводил в цитированной выше рецензии и Белинский. На стр. 39—45 той же тетради мы находим стихотворения Пушкина, записанные самим Белинским.

Учитывая наличие автографа Белинского, представляется несомненным, что тетрадь заполнялась в редакции «Отечественных записок», а работа по разысканию и собиранию пушкинских текстов велась Белинским с помощью неизвестных нам сотрудников. Точная датировка заполнения тетради не поддается определению, но очевидно, что это было в самом начале 40-х гг., когда еще ожидался выпуск в свет XII дополнительного тома издания сочинений Пушкина. От Белинского и его сотрудников тетрадь, вероятно, поступила в редакцию собрания сочинений Пушкина. Об этом свидетельствуют пометки в тетради, сделанные рукою кн. П. А. Вяземского и касающиеся тех произведений, которые составителями тетради были ошибочно приписаны Пушкину. Так, например, запись стихотворения «На смерть князя М. А. Голенищева-Кутузова Смоленского» сопровождается пометкой Вяземского «Эти стихи Алексея Михайловича Пушкина». Очень любопытны пометки Вяземского, касающиеся авторства критических и полемических статей, выписанных в тетради из «Литературной газеты». Составителями тетради Пушкину был приписан ряд статей, автором которых, как оказалось, был сам П. А. Вяземский.

Поскольку XII дополнительный том издания сочинений Пушкина не был осуществлен, постольку и тетрадь с записями текстов Пушкина была не использована. Пролежав, вероятно, много лет, от П. А. Вяземского она перешла к П. В. Анненкову, пока последний не использовал ее в своей работе над подготовкой нового собрания сочинений Пушкина.

Остановимся же на тех записях в тетради, которые сделаны Белинским.

Рукою Белинского переписаны следующие стихотворения, невошедшие в первое посмертное издание сочинений Пушкина:

1. «К Горчакову» («Питомец мой, большого света друг»). Только в 1855 г. стихотворение было включено П. В. Анненковым в собра-

ние сочинений Пушкина. Белинский переписал стихотворение по неизвестному нам списку, причем текст стихотворения в записи Белинского лучше и точнее текста анненковского издания.

2—3. «Эпиграммы». I. «Послушайте! Я сказку вам начну» и II. «Не то беда, что ты поляк». Текст первой эпиграммы переписан Белинским полностью; из второй эпиграммы выписана только начальная строка. Белинский пользовался неизвестным нам списком эпиграмм, или, может быть, воспроизводил их по памяти. П. В. Анненковым в собрание сочинений Пушкина была включена только первая эпиграмма.

4. «Императрице Елизавете Алексеевне» («На лире скромной, благородной»). Белинский пользовался не журнальной публикацией данного стихотворения («Соревнователь просвещения и благотворения» — 1819 г., кн. 10), а неизвестным нам списком. В собрание сочинений Пушкина стихотворение введено было впервые П. В. Анненковым, причем цензурой была извращена седьмая строка: вместо «Я не рожден царей забавить» было напечатано «Я не рожден людей забавить». В записи Белинского текст седьмой строки правильный.

5. «К Орлову» («О ты, который сочетал»). В сокращении и испорченному тексту стихотворение было напечатано еще при жизни Пушкина под заглавием «К***, отсоветовавшему мне вступить в военную службу», — в альманахе М. А. Бестужева-Рюмина «Северная звезда на 1829 г.». По тексту «Северной звезды», стихотворение было перепечатано и в анненковском издании сочинений Пушкина. В записи Белинского несравненно более полный и точный текст, приближающийся к тексту, известному нам сейчас по рукописи.

6. «Блажен кто принял от рожденья». Стихотворение ошибочно приписано Белинским Пушкину. Нам не известен ни автор стихотворения, ни источник записи Белинского.

7. «О ты, которая из детства». Стихотворение ошибочно приписано Белинским Пушкину и отнесено к лицейскому периоду (после записи стихотворения пометка Белинского «Из лицейских стихов»). Под заглавием «Элегия» и за подписью «Ап» данное стихотворение было напечатано в альманахе «Северная звезда на 1829 г.», откуда его и выписал Белинский. Вслед за Белинским Пушкину приписал это стихотворение и Анненков, включивший его в собрание сочинений Пушкина. На самом деле стихотворение принадлежит П. А. Вяземскому (см. «Мнимый Пушкин в стихах»..., СПб, 1903, стр. 4).

Вслед за стихотворением «О ты, которая из детства» Белинский сделал библиографическую ссылку: «Северная Звезда», стр. 305.

Данная ссылка относится, вероятно, к «Северной звезде на 1829 г.». На стр. 305 этого альманаха напечатано послание Пушкина «К Юрьеву» («Любимец ветреных Лайс»). Белинский не выписал послания в тетрадь, вероятно, потому, что оно было уже напечатано в девятом томе первого посмертного издания сочинений Пушкина.

8. «К N. N.» («Любви, надежды, тихой славы»). Знаменитое пушкинское послание, обращенное к П. Я. Чаадаеву, при жизни Пушкина полностью не печаталось. Сокращенный и испорченный текст, с вытравлением всех агитационно-политических строк и без упоминания адресата послания был опубликован в «Северной звезде на 1829 г.» и перепечатан затем Анненковым. Запись Белинского сделана также по тексту «Северной звезды». Однако бесспорно, что Белинский знал «Послание» именно как агитационно-политическое стихотворение. В тексте «Северной звезды» вместо строк

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой —

было напечатано:

Мы ждем с томленьем упованья
Подруги сердцу дорогой.

В записи Белинского последняя строка заменена многоточием, что свидетельствует о том, что он эту строку знал. В «Северной звезде» послание обрывается строкой «Души прекрасные порывы»; последующие строки («Товарищ, верь: взойдет она... и пр.) отсутствуют. В записи Белинского после строки «Души прекрасные порывы» идет строка многоточия. Многоточия, которые делал Белинский, можно объяснить только тем, что переписанный им текст он готовил для печати.

9. «Будущая эпитафия» («Здесь Пушкин погребен! Он с музой молодою!»). Стихотворение выписано Белинским из «Северной звезды на 1829 г.» Ни в первое посмертное издание сочинений Пушкина, ни в анненковское издание оно не вошло.

10. «К ****» («В последний раз в тиши уединенья»). Стихотворение переписано Белинским с перепечаткою текста в «Невском зрителе», 1820 г., кн. 4, где оно было озаглавлено «Кюхельбекеру». Как известно, Пушкин впоследствии переработал это стихотворение и под заглавием «Разлука» оно вошло в издание стихотворений Пушкина 1826 и 1829 гг. Текст второй редакции вошел в первое посмертное издание сочинений Пушкина (т. IV) и был перепечатан затем в анненковском издании. Белинский, следовательно, восставлял первую редакцию стихотворения.

11. «Русскому Геснеру» («Куда ты холоден и сух»). Стихотворение переписано Белинским с первоначального текста в «Опыте русской анфологии», 1828 г. В собрание сочинений Пушкина стихотворение было впервые включено Анненковым.

12. «Там, где древний Качерговский». Эпиграмма переписана Белинским с первоначального текста в «Московском телеграфе», 1829 г., кн. 4. В собрание сочинений Пушкина эпиграмма была впервые включена Анненковым.

Перечисленными стихотворениями исчерпываются записи пушкинских текстов рукою Белинского. Было бы неправильным подходить к этим записям в плане сегодняшних интересов пушкинской текстологии. Для современных текстологических изучений Пушкина записки Белинского не дают нового материала. Значение этих записей в другом. Они расширяют и уточняют наши представления о том круге произведений Пушкина, который был известен Белинскому. Они характеризуют интерес и пристальное внимание великого критика к вопросам разыскания и собирания пушкинских текстов. Недаром ведь заявлял Белинский о своем желании, «чтоб не пропала ни одна строка Пушкина и чтоб люди, которых он называл своими друзьями, или с которыми он действовал в одних журналах, или у которых в изданиях когда-либо и что-либо помещал, — осыявили о каждой строке, каждом слове, ему принадлежащем».

Л. Б. Модзалевский

ПУШКИН — ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

(По материалам Архива Академии Наук СССР).

3 декабря 1832 г. президент Российской Академии А. С. Шишков вошел в Российскую Академию со следующим предложением, внесенным в протокол заседания от того же числа, состоявшегося под его председательством в присутствии членов Академии: гр. Д. И. Хвостова, П. И. Соколова, Я. Д. Захарова, А. С. Никольского, И. И. Мартынова, И. А. Крылова, А. Х. Востокова, В. А. Поленова, П. А. Загорского, кн. П. А. Ширинского-Шахматова, М. Е. Лобанова, П. Н. Мысловского и Н. С. Мордвинова (§ 2):

«Не благоугодно ли будет г.г. членам Академии в положенное по уставу число избрать в действительные члены Академии нижеследующих особ:

1. Титулярного советника Александра Сергеевича Пушкина.

2. Отставного гвардии полковника Павла Александровича Катенина.

3. В звании камергера и в должности директора московских театров Михаила Николаевича Загоскина.

4. Протоиерея Алексея Ивановича Малова.

5. Действ. ст. советника Дмитрия Ивановича Языкова.

Известные в словесности дарования и сочинения их увольняют меня от подробного оных исчисления».

В результате баллотировки оказалось, что Пушкин, Загоскин и Языков получили по 15 избирательных голосов (13 голосов членов Академии и 2 голоса президента), а Катенин и Малов по 13 голосов избирательных и по 2 голоса неизбирательных. Так как, согласно главе VIII статьи 5 Устава Академии, избрание в действительные члены Академии могло считаться состоявшимся лишь после того, как будут получены голоса и от отсутствовавших на заседании чле-

нов Академии, последним были разосланы, 13, 14, 15 и 16 декабря печатные отношения, от имени П. И. Соколова, с извещением о произведенной баллотировке с просьбою «дабы благоволили прислать в Академию свои голоса в особой запечатанной записке». Ответы на это отношение были получены на имя неперменного секретаря Академии от следующих членов Академии: Л. И. Голенищева-Кутузова, И. И. Ястребцова и Я. А. Дружинина (от 13 декабря), А. Н. Оленина и Д. С. Чижова (от 14 декабря), кн. А. Н. Голицына, К. М. Бороздина, С. С. Уварова и А. Ф. Воейкова (от 16 декабря), гр. Д. Н. Блудова (от 17 декабря), митрополита Новгородского и С.-Петербургского Серафима (от 18 декабря), И. И. Дмитриева (от 21 декабря), Н. Н. Новосильцова (от 23 декабря), А. А. Писарева (от 24 декабря) и М. Т. Каченовского (от 27 декабря)¹.

Из перечисленных 15 лиц подали свои голоса в пользу Пушкина 14 человек, причем Д. Н. Блудов сообщил, что из всех кандидатов он избирает только Пушкина, а митрополит Серафим был «согласен на избрание в действительные члены протоиерея Алексея Малова, а на избрание прочих не может дать согласия своего единственно потому, что они ему не известны».

По получении ответов от отсутствовавших на заседании 3 декабря членов Академии состоялись окончательные выборы Пушкина и других кандидатов в заседании 7 января 1833 г. Подсчет полученных голосов дал следующие результаты: Пушкин — 14, Малов — 14, Языков — 13, Загоскин — 13, Катенин — 12. Вместе с прежними (на заседании 3 декабря) это составило: Пушкин — 29 голосов, Загоскин — 28, Языков — 28, Малов — 27, Катенин — 25. Таким образом избрание Пушкина было почти единогласным (все, кроме митрополита Серафима).

Так как по Уставу требовалось наличие не менее двух третей голосов общего числа членов Академии (60), т. е. 40 голосов, а перечисленные кандидаты получили по меньшему числу их, то президент, воспользовавшись 10-м параграфом той же VIII главы Устава, «приложил остающиеся ныне от не полного числа членов избирательные шары и тем пополнил потребное на сей предмет число голосов», почему «собрание, согласно 5-й статье главы VIII Устава, признав выбор вышеозначенных кандидатов в действительные члены Академии окончательным и утвержденным, поручило секретарю Академии, изготовя на сие звание дипломы, представить оные г. Президенту для подписания и потом препроводить оные новоизбранным

¹ Некоторые из этих писем напечатаны М. И. Сухомятиным в его «Истории Российской Академии», т. VII, стр. 79—82, СПб. 1885.

членам при письмах»¹. Диплом на звание члена Академии выдан был Пушкину 13 января 1833 г. за подписью А. С. Шишкова².

Первый биограф Пушкина П. В. Анненков говорит, что «в остальную часть зимы [1833 г.] Пушкин прилежно посещал заседания Академии по субботам: он вообще весьма серьезно смотрел на труды и обязанности ученого сословия, что доказывается и некоторыми статьями его, каковы: «Российская Академия» и «О мнении М. Е. Лобанова»³. В отношении посещения Пушкиным заседаний, как показывают материалы, утверждение это не совсем верно. Пушкин посетил заседания Академии всего 8 раз; 7 раз в 1833 г. (28 января, 4 и 25 февраля, 11 и 18 марта, 13 мая и 10 июня) и 1 раз в 1834 г. (8 декабря); посещение 1834 г. было последним.

П. А. Катенин рассказывает в своих воспоминаниях о Пушкине: «Генваря 7-го 1833-го года мы оба приняты были в члены тогда существовавшей Российской Академии, куда и явились в первый раз вместе; сначала довольно усердно посещал он ее собрания по субботам, но вскоре исключительные толки о Словаре ему наскучили, и он показывался только в необыкновенные дни, когда приступали к выбору новых членов взамен убылых. Я был гораздо исправнее, только до сентября»⁴. Присутствуя на заседаниях, Пушкин был пассивен, не сделал ни одного сообщения и вообще не выступал; по крайней мере в протоколах заседания нет ни одной записи подобного рода. (Причины такого отношения Пушкина к делам Академии вполне понятны и изложены нами ниже). Пушкин участвовал лишь в выборах новых членов (например, 8 декабря 1834 г. при баллотировке С. В. Руссова, подписав в этот же день вместе с другими членами Академии предложение А. С. Шишкова о напечатании за счет Академии «Краткого священного словаря». А. И. Малова)⁵. Один раз он косвенно способствовал ходатайству вдовы А. А. Шишкова об издании его трудов⁶.

¹ «Записки заседаний Академии за 1832 г.», лл. 131 и 131 об.; за 1833 г. л. 2, 2 об. и 3; дело о выборе Пушкина и др. в Архиве Академии Наук СССР, фонд 8; М. И. Сухомлинов, «История Российской Академии», вып. VII, стр. 77—84 и 472, СПб. 1885.

² См. П. В. Анненков, *Материалы для биографии Пушкина*, изд. 2-е, стр. 350, СПб. 1873; диплом, а также официальное извещение об избрании в 1913 г. составляли собственность А. А. Пушкина — см. в «Ниве», № 41 стр. 808, 1913.

³ «Материалы для биографии Пушкина», изд. 2-е, стр. 350, СПб. 1873.

⁴ «Литературное наследство», № 16—18, стр. 639, ср. *ibid.*, стр. 652—653.

⁵ См. М. И. Сухомлинов, *op. cit.*, стр. 83, и «Рукою Пушкина», под ред. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского и Т. Г. Зенгер, стр. 773—775, Л. 1935.

⁶ Подробнее см. в книге И. А. Шляпкина «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина», стр. 93—96, СПб, 1903; «Переписка Пушкина», т. III, стр. 14—15, письмо Н. И. Греча, и в названной книге «Рукою Пушкина», стр. 820—823.

Участвовал ли Пушкин в помощи слависту Ю. И. Венелину, по просьбе М. П. Погодина¹, неизвестно; никаких прямых указаний в делах Академии на это не имеется. То же можно сказать и о письме П. А. Катенина к Пушкину от 8 февраля 1833 г. о праздновании осенью этого года пятидесятилетнего юбилея Академии².

Сохранился еще черновик письма Пушкина к неперемемному секретарю Академии П. И. Соколову от конца мая 1833 г. по поводу избрания сенатора Д. О. Баранова в действительные члены Академии³. Однако это письмо является также свидетельством лишь формального участия его в работах Академии, и притом в самом начале его избрания в Академию. Уже в 1835 г. на избрание в члены ее архимандрита Иннокентия Пушкин никак не отозвался, несмотря на официальное предложение П. И. Соколова, что видно из отметки последнего в деле Академии, хранящемся в Архиве Академии Наук⁴. Статья же Пушкина «Российская Академия», появившаяся в 1836 г. в его журнале «Современник» и посвященная академическому заседанию 18 января 1836 г., на котором Пушкин не присутствовал, написана им по протоколу этого заседания⁵ и стоит совсем в стороне от текущих работ Академии, так же как и статья его о «Мнении М. Е. Лобанова»⁶.

Из немногих высказываний Пушкина об Академии в его дневнике и в письмах можно вывести заключение, что он отрицательно относился как к деятельности Академии в целом, так и к некоторым ее членам и к ее президенту А. С. Шишкову. В атмосфере академической схоластики Пушкину было душно работать вместе с «попами, которыми Шишков набил Академию»⁷. Он вскоре совсем бросил посещать ее заседания, обращаясь иногда к Шишкову лишь за получением пожетонного вознаграждения⁸.

¹ См. его письмо к поэту в «Переписке Пушкина», т. III, стр. 20—21.

² Там же, стр. 5.

³ См. «Письма Пушкина», т. III, под ред. Л. Б. Модзалевского, стр. 92 и 586—587, Л. 1935.

⁴ № 69 за 1835 г.

⁵ Напечатанному под заглавием: «Заседание, бывшее в Российской Академии 18 января 1836 г.» (Экземпляр этого издания с карандашными пометками поэта недавно обнаружен в коллекции А. Ф. Онегина, хранящейся в Институте литературы — Пушкинском Доме — Академии Наук. См. в «Литературном наследстве» № 16—18, стр. 1021).

⁶ Об этих статьях см. в комментариях Н. К. Козмина в т. IX акад. изд. Соч. Пушкина, ч. 2, стр. 760—779, 795—805, 976.

⁷ Выражение Пушкина в его «Дневнике» (издание под ред. Л. Б. Модзалевского, стр. 26 и 242—243. Пг., 1923; ср. московское издание, стр. 535—537, 1923).

⁸ «Переписка Пушкина», т. III, стр. 141; см. также П. И. Барте́нев. «Рассказы о Пушкине», под ред. М. А. Цявловского, стр. 43 и 112, М. 1925.

Интересную характеристику отношения Пушкина к Академии дают отзывы современников; их переписка отражает также впечатление, произведенное на них избранием Пушкина в Академию. Так, кн. П. А. Вяземский писал В. А. Жуковскому 13 декабря 1832 г.: «А знаешь ли, что Пушкин твой брат по Академии? Каков Шишков! И это под стать превращений. Шишков велел сказать Блудову, что он предложил бы и Батюшкова, не будь он сумасшедший»¹. Тот же Вяземский сообщал А. Н. Тургеневу 24 ноября 1832 г.²: «Пушкин единогласно избран членом Академии, но чтобы не слишком возгордился сею честью, вместе с ним избран и Загоскин»³.

На следующий день после первого заседания, на котором присутствовал Пушкин, Вяземский писал Жуковскому (29 января 1833 г.): «Пушкин был на-днях [28 января] в Академии и рассказывал уморительные вещи о бесчинстве заседания. [П. А.] Катенин избран в члены и загорланил там. Они помышляют о новом издании Словаря. Пушкин более всего недоволен завтраком, состоящим из дурного винегрета для закуски и разных водок. Он хочет первым предложением своим подать голос, чтобы наняли хорошего повара и покупали хорошее вино французское»⁴.

По словам П. А. Плетнева, П. А. Катенин произвел «сильную тревогу» в Академии тем, что вступил в спор с П. И. Соколовым по поводу слова «бурка», включавшегося в Словарь русского языка (на заседании 28 января 1833 г.); это сильно «забавляло Пушкина, который также член Российской Академии, и следовательно безденежно даже с барышем монеты в четвертак, может слушать их и глядеть на такую комедию»⁵. Действительно, в протоколе этого заседания записано:

«В нынешнее заседание читано было продолжение 15-го корректурного листа Словаря Российского, вновь Академией издаваемого; также рассматриваемы были замечания, сообщенные некоторыми гг. членами, лист сей предварительно рассматривавшими. Прочитано по слово *Бурка*»⁶.

¹ «Русский Архив» 1900 г., кн. I, стр. 367.

² По вопросу о дате ср. соображения Н. О. Лернера в «Трудах и днях Пушкина», стр. 274, СПб., 1910.

³ «Русский Архив» 1884 г., кн. II, стр. 422; П. И. Баргенов, «Пушкин», кн. II, стр. 54, Соч. кн. П. П. Вяземского, стр. 536—537, СПб. 1893.

⁴ «Русский Архив» 1900 г., кн. I, стр. 369.

⁵ Письмо к В. А. Жуковскому 11 марта 1833 г. в «Русском Архиве» 1875 г., кн. II, стр. 467—468 и Сочинения и переписка Плетнева, т. III, стр. 526—527, СПб., 1885.

⁶ Архив Академии Наук СССР, фонд 8, записки заседаний 28 января 1833 г., § I. См. также М. И. Сухомятов. История Российской Академии. т. VII, стр. 83, СПб. 1885, где приводятся выдержки из протоколов других заседаний.

А. М. Языков писал 1 октября того же года В. Д. Комовскому: «Мы от него [то-есть от Пушкина] первые узнали, что он и Катенин избраны членами Российской Академии и что последний производит там большой шум, оживляя сим сонных толмачей, иереев и моряков. Во второй раз уже дошло до того, что ему прочли параграф устава, которым велено выводить из заседания членов непристойно себя ведущих. Старики видят свою ошибку, но делать уже нечего: зло посреди их; вековое спокойствие нарушено навсегда, или по крайней мере надолго»¹.

Но ни Пушкин, ни Катенин вдвоем не могли сломать прочно утвердившиеся традиции Академии. Пушкин разочаровался в возможности при существовавшей тогда в Академии обстановке проявить свою энергию и оздоровить академическую работу. В своей статье 1836 г. об Академии Пушкин писал, что хотя последняя и принесла «истинную пользу нашему прекрасному языку» и совершила «столь много знаменитых подвигов», ей все же необходимо «ободрить, оживить отечественную словесность»².

Смерть Пушкина была официально отмечена в последнем (14) параграфе протокола заседания Академии 30 января 1837 г.: «Непременный секретарь исполнил печальный долг возвещением о кончине действительного члена Академии Александра Сергеевича Пушкина, последовавшей сего 29 января на тридцать седьмом году от рождения. Собрание, приняв с величайшею скорбью сие печальное извещение, определило: во уважение заслуг, оказанных покойным российской словесности, написать на счет Академии портрет его и поставить в зале собрания»³.

Копия с портрета Пушкина работы О. А. Кипренского была заказана Академией художнику Вишневецкому за триста рублей. В октябре 1837 г. заказ был им выполнен⁴, и портрет приобретен к картинной галлерее Академии. В настоящее время он хранится в Институте литературы (Пушкинском доме) Академии Наук СССР. В последние годы перед закрытием Российской Академии (в 1841 г.) она не вспомнила более о своем гениальном действительном члене и продолжала попрежнему заниматься корректурами словаря русского языка.

¹ «Историч. Вестник» № 12, стр. 537, 1883.

² См. также в Соч. Пушкина под ред. С. А. Венгерова. т. VI, стр. 488—489; рассказ И. П. Сахарова в «Русском Архиве» 1873, кн. II, стр. 960—961, и в статье Л. К. Ильинского в изд. «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, стр. 208.

³ М. И. Сухомлинов, *op. cit.*, стр. 84.

⁴ Там же, стр. 84 и 493 и 494.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
A. S. Bubnov. Géant de la culture russe	1
I. K. Luppou. La vie de A. S. Pouchkine et son oeuvre	10
V. J. Kirpotin. Les conceptions de A. S. Pouchkine	19
P. I. Lebedev-Poljanskij. A. S. Pouchkine dans l'histoire de la pensée sociale russe	36
A. M. Egolin. Le grand poète national	48
J. J. Eiduk. Marx et Engels sur Pouchkine et la littérature russe	62
S. D. Balukhatyj. A. M. Gorky sur Pouchkine	69
A. S. Orlov, de l'Académie. Pouchkine—créateur de la langue russe littéraire	79
V. V. Vinogradov. Pouchkine et la langue russe	88
M. A. Tsjavlovskij. La destinée des manuscrits posthumes de Pouchkine	109
P. S. Popov. Pouchkine historien	128
M. V. Nechkina. Pouchkine et les participants de l'insurrection de décembre 1825	150
D. D. Blagoj. Sur les voies de la composition de la biographie scientifique de Pouchkine	169
N. F. Belchikov. Pouchkine et les démocrates révolutionnaires des 60 ièmes années	178
V. I. Neustadt. Pouchkine et l'opinion des critiques de l'Europe occidentale	199
P. N. Berkov. Les traductions des oeuvres de Pouchkine dans les pays de l'Europe occidentale	220
L. B. Modzalevskij. L'héritage épistolaire de Pouchkine	230
N. I. Mordovchenko. Le travail de Belinskij sur les textes de Pouchkine	236
L. B. Modzalevskij. Pouchkine—membre de l'Académie russe .	245



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. С. Бубнов. Гигант русской культуры	1
И. К. Луппол. Жизнь и творчество А. С. Пушкина	10
В. Я. Кирпотин. Мироззрение Пушкина	19
П. И. Лебедев-Полянский. Пушкин в истории русской общественной мысли	36
А. М. Егolin. Великий народный поэт	48
Я. Ю. Эйдук. Маркс—Энгельс о Пушкине и русской литературе.	62
С. Д. Балухатый. А. М. Горький о Пушкине.	69
Акад. А. С. Орлов. Пушкин—создатель русского литературного языка.	79
В. В. Виноградов. Пушкин и русский язык.	88
М. А. Цявловский. Судьба рукописного наследия Пушкина.	109
П. С. Попов. Пушкин как историк	128
М. В. Нечкина. Пушкин и декабристы.	150
Д. Д. Благой. На путях к научной биографии Пушкина.	169
Н. Ф. Бельчиков. Пушкин и революционные демократы 60-х годов.	178
В. И. Нейштадт. Пушкин в оценке западно-европейской критики.	199
П. Н. Берков. Пушкин в переводах на западно-европейские языки.	220
Л. Б. Модзалевский. Эпистолярное наследие Пушкина.	230
Н. И. Мордовченко. В. Г. Белинский в работе над текстами Пушкина.	236
Л. Б. Модзалевский. Пушкин—член Российской Академии.	245

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Непременный секретарь акад. *Н. П. Горбунов*

Ответственный редактор
акад. *Н. П. Горбунов*

Зам. отв. редактора *В. М. Гальперин*
Отв. секретарь *Б. А. Шпаро*

Силует на обложке акад. живописи *Е. Е. Лансере* (из акад. изд. соч. А. С. Пушкина)

Выпускающий *Х. А. Костаньян*

Сдан в набор 3—14/II 1937 г.

Подписан к печати 9—15/II 1937 г.

Формат 72×110 см. 15³/₄ печ. л. и 3 вклейки; 40 т. зн. в п. л. Тир. 10 000 экз.

Главлит Б-7669

Набрано в 1-й тип. Военгиза

Отпечатано в 15 тищ. ОГИЗ треста „Полиграфкнига“, Москва, Малая Дмитровка 18